This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Я. П. ПОЛОНСКАГО.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

ИЗДАНІЕ

Ю. А. Полонской.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Р. Голике, Троицкій пер., д. № 18—20.
1886.

Я. П. ПОЛОНСКІЙ.

ПОЭМЫ, ПОВѢСТИ и СТИХОТВОРЕНІЯ.

Келіотъ.—Мими.—Собаки.—Лѣсныя чары.—«Вложи свой мечъ».—Делибаштала.—Квартира въ татарскомъ кварталѣ.—Тифлисскія сакли.—Два стихотворенія.

ИЗДАНІЕ
Ж. А. Полонской.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Р. Голике, Троицкій пер., д. № 18—20.
1886.

Келіотъ.

(Посвящ. графу А. К. Толстому.)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Въ тѣ приснопамятные дни,
Когда духъ Греціи сродни
Былъ духу Байрона, когда
Корсаровъ вольныя суда,
Дыша войной за край родной,
Облагородили разбой;
Когда, отъ Эты до Аѳинъ,
Повсюду слышенъ былъ одинъ
Народный кличъ: свобода! Въ дни
Патріотизма и рѣзни,
Въ Эгейскомъ морѣ, по волнамъ,
Шелъ къ ѳессалійскимъ берегамъ
Одинъ корабликъ.
Подгонялъ
Его не бурный валъ, не шквалъ,—
За нимъ бѣжалъ, за нимъ лился
Сверкающій, лазурный валъ;

Попутный вѣтеръ надувалъ
Заштопанные паруса;
Скакала пѣна за рулемъ
И разсыпалась жемчугомъ.
Слѣдя за этимъ кораблемъ,
Ты не замѣтилъ бы на немъ
Ни мѣдныхъ пушекъ, ни людей:
На палубѣ его одни
Кули бѣлѣлися въ тѣни
Полунависнувшихъ снастей.
Одна фигура на кормѣ
Лѣниво двигалась въ чалмѣ—
На знойномъ солнцѣ, босикомъ,
Она ворочала рулемъ.

И шелъ корабль, и много днемъ
Судовъ встрѣчалъ онъ; флагъ его
Не безпокоилъ никого:
Онъ былъ купеческій, на немъ
Арабской буквы завитокъ
Ласкалъ эгейскій вѣтерокъ.

II.

Но день потухъ и ночь, звѣздясь,
Въ прозрачномъ воздухѣ зажглась;
Уже заплатъ на парусахъ
Не видно,—спущенъ мирный флагъ,
За то, за бортомъ корабля,
При дымномъ свѣтѣ фитиля,
Пройдись вдоль палубы—замѣть,
Какъ блещетъ сталь, какъ свѣтитъ мѣдь.
Сойди въ каюту—на скамьяхъ,
И за столомъ, и на коврахъ,

Не паликары ли сидятъ?
На ихъ косматыхъ головахъ
Мелькаютъ фески; ихъ нарядъ,
Ихъ лицъ античныя черты
Напоминаютъ сыновей
Эвбеи,—полудикарей,
Готовыхъ Греціи служить—
Быть патріотами и слыть
Корсарами, грозой морей,
Поборниками старины,
Врагами мира и луны.

Ихъ шеи голы, стройный станъ
Прикрылъ походный доломанъ;
Изъ-за цвѣтного кушака
Торчитъ кинжала рукоять,
Чтобъ мускулистая рука
Могла на сердцѣ отдыхать;
Ихъ ружья длинны, и курка
Узорнаго кремень взведенъ
На первый взводъ, и вбитъ патронъ
Въ тяжелый штуцеръ:—
Сердцу ихъ
Въ сраженьѣ дорогъ каждый мигъ;—
Недаромъ въ эту ночь они
Былые вспоминаютъ дни:
Ихъ лица мрачны—и на нихъ
Лежитъ печать страстей такихъ,
Что если бъ ты вглядѣлся въ нихъ—
Ты Байрона бы оправдалъ:
Поэтъ великій понималъ,
Что, безъ подобныхъ сорванцовъ,
Элладѣ не стряхнуть оковъ.

III.

Въ прозрачно-синей темнотѣ
Мигаютъ звѣзды въ высотѣ;
Вдали чуть видны выси горъ,
Кой-гдѣ зубчатый ихъ узоръ
Въ бездонномъ сумракѣ едва
Обозначаетъ острова.
На вахтѣ, съ саблею кривой,
Усатый ходитъ часовой;
Не по-турецки онъ одѣтъ,
На немъ чалмы восточной нѣтъ
Вотъ онъ нагнулся—лампы свѣтъ
Вдоль обнаженной полосы
Скользнулъ по саблѣ и усы
Позолотилъ—и на компасъ
Онъ смотритъ; вотъ двухъ черныхъ глазъ
Сверкнули искры—жадный взоръ
Проникъ въ синѣющій просторъ:
—«Что тамъ за чортъ!»
И, увидавъ,
Въ какихъ-нибудь двухстахъ шагахъ,
На шевелящихся волнахъ,
Мотающійся, какъ рукавъ,
Какой-то парусъ (рыбака,
Быть можетъ, парусъ), въ два прыжка
Проворно онъ спустился внизъ,
И надъ каютою повисъ,
И хрипло крикнулъ: капитанъ!
Въ каютѣ звякнулъ ятаганъ,
Ружье столкнулося съ ружьемъ;
Вотъ, со стола стаканъ съ виномъ

Слетѣлъ и хрустнулъ подъ ногой;
Раздался шорохъ, но такой,
Какой-то мягкій и глухой,
Какъ будто звѣрь бѣжалъ лѣсной
Не по травѣ, а по доскамъ.
Ползутъ матросы по снастямъ,
И паликары поднялись.
Ихъ лица страшны...
«Берегись!»
Раздался голосъ: «Кто такой?
Ужели съ этой скорлупой
Намъ воевать? Эй, рулевой!
Держи лѣвѣй, топи его!
Шпіонъ онъ, больше ничего!»

IV.

Догнали лодку паруса,
И вотъ, багоръ въ нее впился.
Вотъ перегнулись черезъ бортъ,
Фонарь спустили. «Эй, ты, чортъ!»
Отвѣта нѣтъ, лишь парусъ бьетъ
По вѣтру влажнымъ полотномъ,
Какъ птица раненымъ крыломъ.
И греки разглядѣли ботъ,
Увидѣли при свѣтѣ звѣздъ
На черномъ флагѣ бѣлый крестъ.
—Какъ! флагъ аѳонскихъ рыбаковъ
Въ такой дали отъ береговъ!—
И видятъ клефты не гребца,
Не рыбака, а чернеца.
Канатъ, весло, соломы пукъ,
Цыновка мокрая—на ней

При фонарѣ всего виднѣй
Сухія кисти желтыхъ рукъ,
На грудь сложенныя крестомъ:
Монахъ какой-то вверхъ лицомъ
Лежитъ, какъ нищій, босикомъ;
Онъ въ рясѣ, но безъ кушака,
И ни скуфьи, ни клобука,
Ни покрывала нѣтъ на немъ.

Два храбреца къ нему сошли,
Еще живымъ его нашли,
И не прошло пяти минутъ—
Монаха подняли на ютъ;
А ботъ рѣшили потопить,
Чтобъ онъ въ обманъ не смѣлъ вводить,
Чтобъ онъ не пойманъ былъ врагомъ,
Чтобъ толковъ не было о немъ...

Монахъ на палубѣ лежитъ,
Глаза раскрыты, ротъ раскрытъ.
И гдѣ онъ? Что вокругъ него?—
Не понимаетъ ничего.
Судя по темнымъ волосамъ,
По бородѣ и по усамъ,
Блестящимъ, мягкимъ, безъ сѣдинъ,
Еще онъ молодъ и на лбу
Еще глубокихъ нѣтъ морщинъ;
Но онъ, какъ мумія въ гробу,
И желтъ, и сухъ, и недвижимъ.
И что это случилось съ нимъ?!

Быть можетъ, онъ монастыремъ
Или своимъ духовникомъ
На дальній мысъ какой-нибудь

Былъ снаряженъ за тростникомъ;
Но къ ночи буря стала дуть,
И потерялъ онъ въ морѣ путь;
Быть можетъ, рыбу онъ ловилъ,
Какъ вдругъ недугъ его сломилъ,
Упали руки и весломъ
Ужь онъ не могъ владѣть; потомъ
Плоть, изнуренную постомъ,
Домучилъ голодъ.
Ничего
Не говорилъ онъ. У него
Ввалились щеки, цвѣтъ лица
Напоминаетъ мертвеца.
И паликары вкругъ него
Сошлись угрюмою толпой
И шепчутся между собой:
Кто онъ, колдунъ или святой?
И что съ нимъ дѣлать? Можетъ быть,
Всего вѣрнѣе утопить...
Такъ суевѣрному уму
Страшнѣе призракъ мертвеца,
Чѣмъ смерть въ бою, въ чаду, въ дыму —
Смерть отъ булата и свинца.

V.

Вотъ двое сутокъ протекло,
Все такъ же знойно и свѣтло
Вставало солнце, та же тѣнь
Звѣздистая смѣняла день;
Но въ эти сутки небольшой
Корабль «Ахиллъ» (на видъ такой

Невинный) сжегъ турецкій бригъ,
Потомъ, подъ утро, онъ настигъ
Съ пшеномъ альбанскія суда,
Напалъ, разбилъ ихъ—
И слѣда
Отъ побѣжденныхъ въ морѣ нѣтъ.
Одинъ виновникъ этихъ бѣдъ
Не можетъ скрыть слѣда побѣдъ:
И въ людяхъ страшный недочетъ,
И парусовъ недостаетъ,
И говорятъ: въ боку проломъ,
А въ трюмѣ течь,—и, какъ больной,
Онъ подвигается съ трудомъ,
Чтобъ какъ-нибудь дойти домой,
Къ своимъ пещеристымъ скаламъ,
И до поры укрыться тамъ.
Но что за дѣло! Злой «Ахиллъ»
Своихъ враговъ перехитрилъ,
И если раненые мрутъ—
Живые славу ихъ поютъ
И пьютъ на палубѣ вино;
И между ними рѣшено,
Что ими пойманный монахъ
Корабль ихъ спасъ отъ пущихъ золъ,
Что туркамъ онъ глаза отвелъ,
Что онъ своей молитвой страхъ
На непріятеля навелъ,
Что онъ съ Аѳона принесенъ
Какимъ-то чудомъ, и спасенъ
Отъ голода и отъ акулъ,
Отъ бурь и отъ турецкихъ дулъ.
Да здравствуетъ святой Аѳонъ!

И, точно,—на другой же день
Уже очнувшійся монахъ
Привсталъ на койкѣ, точно тѣнь
Изъ ада,—съ ужасомъ въ глазахъ,
Съ невнятной рѣчью на губахъ.
Онъ былъ измученъ, загрязненъ,
Оборванъ, и какъ бы сквозь сонъ,
Какъ пьяный на чужомъ пиру,
Какъ на проклятую игру
Больной фантазіи своей,
Глядѣлъ на снасти и людей.

Сухарь водой запивъ, онъ сѣлъ
И прослезился, и запѣлъ
Молитву...
Но, когда за нимъ
Вдругъ пушка грянула и гулъ
Пошелъ отъ выстрѣловъ, и дымъ
Пороховой какъ бы дохнулъ
Ему въ лицо; когда съ ружьемъ,
Какъ левъ разбуженный стрѣлкомъ,
Влетѣлъ на вахту паликаръ
И палъ отъ выстрѣла въ ребро,
И захрипѣлъ; когда ядро
Рвануло воздухъ и ударъ
Прошелъ два борта,—онъ вскочилъ,
Онъ широко глаза раскрылъ,
Перекрестился и пошелъ,—
И палубы смолистый полъ
Отъ залповъ вздрагивалъ подъ нимъ;
А онъ, какъ смерть, невозмутимъ,
Сложивши руки на груди,
Остановился на виду

И словно смерти ждалъ: приди,
Приди, возлюбленная, жду!..
Потомъ уже глаза его
Не выражали ничего:
Ни страхъ, ни злобу, ни печаль—
Безстрастье страшное!.. Ему,
Казалось, ничего не жаль:
Пусть все задохнется въ дыму
И въ этомъ пламени! Пусть онъ
На части будетъ разнесенъ,—
Всему и всѣмъ одинъ конецъ!
Пусть грозный судія—Отецъ
Небесный—участь ихъ рѣшитъ,
И неподвижно онъ стоитъ,
И на побоище глядитъ.
При яркомъ заревѣ ночномъ
Онъ всѣхъ дивитъ своимъ лицомъ.
Такъ, на старинныхъ образахъ
Изъ копоти вѣковъ порой,
Въ темно-коричневыхъ чертахъ,
Выглядываетъ ликъ святой,
И въ постъ, и въ праздникъ при свѣчахъ,
Такой же строгій и нѣмой.
И каждый, глядя на него,
Въ себѣ, казалось, ощущалъ
Несокрушимости закалъ,
Его безстрашьемъ укрощалъ
Біенье сердца своего,
И вновь выхватывалъ кинжалъ,
И жегъ, и грабилъ, и кричалъ,
Не то команду повторялъ,
Не то командовалъ...

Итакъ,

Благополучно все прошло:
Пять катеровъ на дно пошло,
А бригъ горѣлъ, какъ снопъ, и мракъ
Ночной до облаковъ краснѣлъ,
И «Ахиллесъ», хоть и скрипѣлъ,
Какъ инвалидъ, но съ боевой
Добычей шелъ-таки домой,
Къ роднымъ, пустыннымъ берегамъ,
Къ своимъ пещеристымъ скаламъ...
И мусульманамъ заданъ страхъ,
И живъ таинственный монахъ.

VI.

Уже темнѣетъ синій сводъ,
Чуть дышитъ бездна синихъ водъ,
Надъ ней не вѣтеръ дышитъ—зной;
И все же темный валъ морской,
Кой-гдѣ у блѣдно-золотой
Зари заимствуя отливъ,
Несется съ пѣною на рифъ,
И рифъ, какъ гребень смытыхъ скалъ,
Назадъ отбрасываетъ валъ...
За рифомъ—бухта. Пролѣзалъ
Въ ту бухту доблестный «Ахиллъ»,
Искусный лоцманъ завозилъ
Впередъ канатъ и провѣрялъ
Его дорогу между скалъ.
И шелъ онъ медленно, и вотъ,
Когда уже небесный сводъ,
Какъ бы темнѣющая степь,
Звѣздъ огоньками вспыхнулъ, цѣпь

Желѣзная, гремя, на дно
Пошла за якоремъ. Давно
Нетерпѣливыя сердца,
Какъ дѣти малыя отца,
Кораблика ждали, и толпой
Сбѣжались нà берегъ морской,
Крича и радуясь, что онъ
И не разбитъ, и не сожженъ.

И той же ночью, при звѣздахъ,
Съ Аѳона пойманный монахъ
На островъ вышелъ. Сразу онъ
Замѣченъ былъ и окруженъ
Толпою стариковъ, дѣтей
И женъ, встрѣчающихъ мужей.
Но, вотъ, у бухты, надъ водой,
Раздался чей-то тихій вой...
Чу!..—«со святыми упокой»
Поютъ... (Знакомый сердцу гласъ!)
Раздвинулась, перекрестясь,
Толпа... Вотъ факелы зажгли
И клефты съ берега въ кусты,
Безъ плача и безъ суеты,
Двѣнадцать труповъ пронесли
Съ обстрѣленнаго корабля,
Чтобъ приняла ихъ мать-земля.

Монахъ дрожалъ, хоть и тепла
Была земля; ночная мгла
Его знобила; онъ былъ босъ,
И втайнѣ тронутый до слезъ,
Пѣлъ: «со святыми упокой!»
И шелъ къ могиламъ за толпой...

VII.

Уже корабль, какъ инвалидъ,
Слегка накренившись, стоитъ
И слышно, какъ топоръ стучитъ,
И вотъ уже котелъ кипитъ.
А въ томъ котлѣ смолу варятъ—
Лѣчить бока его хотятъ.

Песокъ и скалы... Вдоль одной
Скалы, волнистой бороздой,
При свѣтѣ солнечныхъ лучей,
Ползутъ клочки сѣдыхъ тѣней.
Внизу есть впадина; надъ ней,
Насупясь выступомъ своимъ,
Коптится мраморъ,—это дымъ
Выходитъ изъ пещеры, но
Онъ въ щель выходитъ, какъ въ окно.
Покатъ въ пещеру узкій входъ,
Онъ вглубь по мрамору идетъ,
Какъ бы ступеньками. И вотъ,
Изъ темной впадины сперва
Мелькнула въ профиль голова,
Пунцовый фесъ и рукава,
И ожерелье изъ монетъ,
Потомъ рубашка и бешметъ,—
И стройная, во цвѣтѣ лѣтъ,
Изъ полутьмы на яркій свѣтъ
Выходитъ женщина. У ней
Глаза безъ блеска, безъ лучей,
Какъ тьма кромѣшная; они,
Въ непроницаемой тѣни
Ея рѣсницъ, на свѣтъ глядятъ

Сурово; пристальный ихъ взглядъ
И эта поступь говорятъ
Открыто, дерзко, что она
И неприступна, и сильна;
Что ей, быть можетъ, ни по чемъ,
Когда сквозь дымъ дождитъ свинцомъ,
Стоять у знамени съ ружьемъ;
Что ни по чемъ ей со свѣчей
Сойти въ подвалъ пороховой
И вмѣстѣ съ крѣпостцой взорвать
Одолѣвающую рать,
Чтобъ тѣла своего не дать
На посмѣяніе врагамъ.
Судя по легкости, съ какой
Она несетъ надъ головой
Амфору, даже по глазамъ,
Никто, никто не скажетъ вамъ,
Что эта женщина—раба,
И что подчасъ ея судьба
Не весела. Не за водой
Она идетъ въ свой погребъ: тамъ,
Въ тѣснинѣ скользкой и сырой,
Изъ кипарисовыхъ досокъ
Есть дверь. На ней виситъ замокъ,
А за висячимъ тѣмъ замкомъ—
Боченокъ съ греческимъ виномъ.

Лишь побѣдитель могъ послать
Ее въ тотъ погребъ, лишь герой
Смѣлъ приказать ей въ этотъ зной
Покинуть люльку и спѣшить
Вина въ амфору нацѣдить.
Недаромъ же онъ серебромъ

Украсилъ грудь ея. Она,
Его невольница-жена,
Спитъ на подушкахъ, за ковромъ,
Который добылъ онъ мечемъ;
На всемъ, что въ даръ онъ ей принесъ,
Есть капли крови, капли слезъ.
И что же? вражеская кровь
Съ ея враждой миритъ любовь.
Добыча есть—жена глядитъ
Ему въ лицо, жена молчитъ;
Добычи нѣтъ—по-женски мститъ,
Качаетъ люльку и поетъ:
«Пора въ походъ, пора въ походъ!
«Въ ножнахъ—кинжалъ, въ ружьѣ—свинецъ,
«Не заживайся, молодецъ!
«Ужь бусурмановъ корабли
«Опять расхаживать пошли.
«Эй! осмотри свои курки!
«Эй! не заржавѣлъ ли кинжалъ!
«У насъ ни хлѣба, ни муки.
«Пока былъ слабъ, пока былъ малъ,
«Ребенокъ грудь мою сосалъ;
«Теперь корми его, отецъ!
«Спѣши же въ море, молодецъ:
«Тамъ изверги родной земли
«Про насъ добычу припасли...
«Бери ее, вези домой!»
И снова ноетъ и поетъ:
«Пора въ походъ, пора въ походъ!
«Не заживайся, милый мой!»

VIII.

Въ пещеру клефты собрались,
Подкрашенный шафраномъ рисъ
Похваливаютъ да ѣдятъ;
Подушки смяты, и сидятъ
Они на коврикахъ цвѣтныхъ
И пьютъ вино, и жесты ихъ
Размашисты и горячи,
И ужь никто ихъ не учи:
Все знаютъ эти усачи:
И что султанъ, и гдѣ войска,
И чья теперь Дунай рѣка,
И скоро ли царь Николай
На этотъ бусурманскій край
Опять пошлетъ свой грозный флотъ
Или Балканы перейдетъ?
Они все знаютъ напередъ
И такъ же смѣло, какъ собой,
Распоряжаются судьбой.

. . . . . .

IX.

Душа жь разбитая, порой,
Невольно подъ конецъ борьбы
Становится рабой судьбы.
Кто скажетъ намъ, какой судьбой
Несчастный, бѣдный келіотъ,
Который женщинъ не видалъ
Тринадцать лѣтъ, теперь попалъ
Въ страну, гдѣ запрещенный плодъ
Ни для кого не запрещенъ,

Гдѣ смѣетъ дѣвушка ходить
Къ старухѣ тайно ворожить,
Гдѣ храбрецы боятся женъ,
И гдѣ ревнивая жена
Изъ осторожности вѣрна—
Вѣрнѣй булата, хоть и онъ,
Коли не въ мѣру закаленъ,
Плашмя ударясь о гранитъ
Иль мраморъ, можетъ быть разбитъ.
Въ страну, гдѣ легче умереть—
Съ лица земли себя стереть,
Чѣмъ три недѣли быть святымъ
Или подвижникомъ такимъ,
Какихъ творитъ святой Аѳонъ.
Въ Аѳонѣ міръ похороненъ,
А тутъ сей міръ во всей красѣ
И безобразіи. Тутъ всѣ
Семейно связаны одной
Патріотической рѣзней.
Не будь ни турокъ, ни войны,
Со всѣхъ сторонъ окружены
Волнами моря, можетъ быть,
Имъ было бъ трудно мирно жить;
Они бы подняли рѣзню,
Чтобъ только пищу дать огню,
Который тлѣетъ въ ихъ крови
Для ненависти и любви.
Куда теперь пойдетъ монахъ
Отъ искусителей? Куда
Бѣжитъ онъ, какъ подавитъ страхъ
Соблазна, избѣжитъ суда
Пугливой совѣсти своей?
И если молодъ,—отъ страстей

И грѣшныхъ помысловъ куда,
Куда бѣжитъ онъ?
Вотъ лѣсокъ
Раскидистый. Онъ недалекъ
Отъ мыса; кажется, кругомъ
Такъ тихо, дико такъ,—съ трудомъ
Туда подняться можно. Тминъ,
Акація, плющи, жасминъ
И лавры,—вмѣстѣ все сплелось,
Нависло; лепестками розъ
Трава усѣяна. Аскетъ,
Ты любишь ли природу?—Нѣтъ;
Она—соблазнъ, въ ней—бѣсъ, она,
Какъ плоть, грѣхомъ заражена!
— Такъ не входи ты въ эту сѣнь...
Здѣсь ароматы; яркій день
Сквозитъ, и золотится мохъ
Руины; говорятъ, здѣсь богъ
Какой-то въ рощѣ обиталъ.
Не Аполлонъ ли?—Между скалъ
Торчатъ колонны, изъ травы
Глядитъ отбитой головы
Загадочная красота...
Въ полураскрытыя уста
Набилась пыль... Вся голова —
Намекъ на страстность божества
И холодъ силы; вонъ лежитъ
Торсъ вѣчно юный; тѣнь дрожитъ
На немъ и шевелится свѣтъ;
Душистый воздухъ здѣсь согрѣтъ
Боговъ дыханьемъ; въ теплой мглѣ
Скользятъ ихъ тѣни по землѣ,
Деревья шорохъ слышатъ ихъ...

Не Пиндара ль священный стихъ
Былъ здѣсь пропѣтъ когда-то? Вотъ,
Зефиръ, и тотъ какъ бы притихъ
И слушаетъ: кто тамъ поетъ?...
Здѣсь иногда—соблазнъ иной—
Здѣсь, при звѣздахъ, когда въ кустахъ
Горятъ на тминѣ свѣтляки,
А старыхъ мраморовъ куски
Бѣлѣютъ въ мѣсячныхъ лучахъ,—
Случайно иногда пройдутъ
Двѣ стройныхъ тѣни и мелькнутъ
На нихъ двѣ фески... и сольютъ
Онѣ уста, — хоть горныхъ струй
Журчанье и не выдастъ ихъ
Подчасъ нескромный поцѣлуй.
Клефтъ—полюбовникъ, клефтъ—женихъ
Не въ силахъ и подозрѣвать,
Что ихъ любовь придетъ мѣшать
Молитвамъ къ небу возлетать...
Бѣги, монахъ, изъ рощи: здѣсь
Пахучихъ листьевъ этихъ смѣсь
И даже шорохъ птицъ ночныхъ
Рождаютъ призраки. Отъ нихъ
Ты не спасешься ни крестомъ,
Ни заклинаньемъ, ни постомъ.
Куда жь дѣваться? Островъ дикъ,
Но населенъ и не великъ.
Взойдешь ли на гору—подъ ней,
Изъ-за оливковыхъ вѣтвей
Карнизъ виднѣется—жилье,—
Безъ рамъ окошки—и бѣлье,
Развѣшенное на вѣтру,
Колышется; а поутру

Выходитъ женщина; со сна
Полуодѣтая, она
Закидываетъ локоть свой,
Поводитъ въ сторону рукой
И гребнемъ водитъ вдоль волосъ—
Вдоль перепутавшихся косъ.
Или садится на порогъ,
Гдѣ продуваетъ вѣтерокъ,
Чтобъ грудь свою ребенку дать,
И лѣнится, не хочетъ встать,
Когда проходитъ мужъ. Въ окнѣ
Ея сестра, а въ сторонѣ—
Мальчишка, голый, какъ амуръ,
По садику гоняетъ куръ
И машетъ гибкою лозой,
Воображая, что герой...

Вотъ, поперекъ одной скалы,
Надъ бездной, гдѣ кричатъ орлы,
Идетъ тропинка, и монахъ
По ней шагаетъ.—Берегись!
Вдругъ слышенъ крикъ въ шести шагахъ—
И нѣчто болѣе, чѣмъ страхъ,
Спираетъ грудь. Съ проводникомъ
На мулѣ дѣвушка верхомъ
Спускается; на стремена
Пригнула ноги, и видна
Нога въ чулкѣ. И жмется онъ
Къ скалѣ, взволнованъ, пораженъ,
Какъ будто грѣшный снится сонъ,—
И тощая его рука,
Къ груди прижатая, слегка
Дрожитъ.

А на него глядятъ
Ея глаза. Наивный взглядъ,
Но поразительный: она
Глядитъ въ упоръ, удивлена...
— Какъ худъ! А ну, какъ это онъ?
Тотъ, что съ Аѳона занесенъ,
Тотъ самый, что не ѣстъ, не пьетъ—
Одной молитвою живетъ?
Неужто это тотъ монахъ
Кириллъ, что въ битвахъ невредимъ
И на враговъ наводитъ страхъ?..

И долго, долго недвижимъ
Стоитъ, какъ бы лишенный силъ,
Къ скалѣ прижавшійся Кириллъ.

X.

Какъ ни былъ дикъ и не широкъ
Скалистый этотъ островокъ,
Все жь люди, близкіе къ звѣрямъ, —
Не звѣри обитали тамъ.
А тамъ, гдѣ люди, тамъ молва
По-своему всегда права.
И толковала молодежь,
Что келіотъ не только босъ
И блѣденъ, и простоволосъ,
Но и нисколько не похожъ
На тѣхъ монаховъ и поповъ,
Что изъ немногихъ городовъ
Къ нимъ заѣзжали съ острововъ
Обдѣлывать свои дѣла.
И вслѣдъ затѣмъ молва пошла,
Что онъ почти не ѣстъ, не пьетъ,

Что духомъ Божьимъ онъ живетъ;
Что онъ, аѳонскій келіотъ,
Молитвой островъ ихъ спасетъ
Отъ лихорадокъ, отъ чалмы,
Отъ водныхъ бурь и отъ чумы.

Въ тѣ приснопамятные дни
Учились грамотѣ они
По требнику, и никакихъ
Не знали книгъ они иныхъ:—
Чему жь дивиться, что для нихъ
Смиренный, молодой аскетъ
Облекся въ легендарный свѣтъ?

. . . . . .

XI.

И жены клефтовъ посылать
Къ Кириллу стали, кто скуфью,
Кто обувь мужнину, кто звать
Его сталъ въ скромную свою
Божницу.
И бѣднякъ Кириллъ
За все Творца благодарилъ,
Скуфью насаживалъ на бровь,
Давно израненныя въ кровь,
Сухія ноги обувалъ;
Но явно встрѣчи избѣгалъ
Съ островитянками:—встрѣчалъ
Однихъ мужей ихъ, и ему
Они доставили пилу,
Досокъ, гвоздей и, говорятъ,
Уже помочь ему хотятъ

Устроить келью на горѣ
Въ какой-то каменной норѣ.

Теперь пора, Кириллъ! вставай
Во всеоружіи! вѣщай
Слова Христа. Зажги въ ночи
Свѣтильникъ свой! Какъ отъ свѣчи
Къ свѣчѣ огонь передаютъ
И свѣтомъ заливаютъ храмъ,
Такъ, можетъ быть, и къ ихъ сердцамъ
Твои слова огнемъ сойдутъ.
Скажи имъ, какъ изъ вѣка въ вѣкъ
Проходитъ Богочеловѣкъ
И слышитъ вопли все одни
И тѣ жь: «распни его, распни!»
Какъ для него и въ наши дни
Бичи готовы, да тюрьма,
Да крестъ тяжелый. Говори,
Что, несмотря на алтари,
Въ душѣ ихъ пребываетъ тьма,
Что міръ растлился и гніетъ,
Что брата братъ не узнаетъ,
Что ложь вѣнчаетъ только ложь,
Что всюду царствуетъ грабежъ,
И что война ихъ за родной
Очагъ похожа на разбой,—
Скажи имъ что-нибудь, пока
Готовы слушать.
Но Кириллъ
Какъ будто былъ безъ языка—
Не возражалъ и не училъ;
Духъ Божій отъ его лица
Не вѣялъ въ буйныя сердца

Ужель онъ былъ, какъ церкви сынъ,
Не колоколъ, а лишь одинъ
Осколокъ колокола...

XII.

—«Ей, Господи, вспомоществуй!
Ей, Господи, не осуди!
Палящій огнь страстей задуй
Въ моей тоскующей груди...
Куда бѣжать мнѣ, Боже мой,
Изъ міра, проклятаго мной,
Изъ міра красоты и грезъ,
Изъ міра суеты и слезъ?
Ты заградилъ мои пути
Къ спасенію. Куда идти?—
Не вѣдаю. Меня мутитъ
Сомнѣніе, меня кружитъ
Мірскихъ суетъ круговоротъ.
Иду ли въ горы—грѣхъ идетъ,
Иду ли къ морю—грѣхъ плыветъ.
Въ долину ли сойду—и тамъ
Грѣховный міръ своимъ грѣхамъ
Уже не вѣритъ и не ждетъ,
Что страшный день суда грядетъ..
Ей, Господи! со всѣхъ сторонъ
Я этимъ міромъ окруженъ.
Нѣтъ у молитвы прежнихъ крылъ!..
Непослушаньемъ отравилъ
Я душу и грозитъ мнѣ адъ.
Ужь цѣпи адовы гремятъ,
И красный жупелъ предо мной

Клокочетъ и течетъ рѣкой,
И всплески вѣчнаго огня
Какъ будто брызжутъ на меня.
Кто я? постриженный чернецъ,
Клятвопреступникъ и бѣглецъ.
Прощай, Аѳонъ! прости, Аѳонъ!»

Такъ плачется Кириллъ.
Вотъ, онъ
На взморье къ вечеру пришелъ—
Пустыннымъ берегъ онъ нашелъ
И смотритъ: красенъ небосклонъ
И солнца заходящій ликъ
Изъ сизой тучи, какъ языкъ
Горящій. Сизая волна
Какъ бы огнемъ окроплена.
Вдали, чернѣя, рифъ лежитъ,
Онъ массу пѣны шевелитъ,
И сотни бѣлыхъ птицъ надъ ней,
Какъ рой встревоженныхъ тѣней,
Колеблютъ крылья. Чаекъ крикъ
Далекъ, пронзителенъ и дикъ:
Заря блеститъ на ихъ крылахъ.
И мрачно вдаль глядитъ монахъ.
Его лицо озарено,—
Зарею свѣтится оно;
А за спиною на отвѣсъ
Скалы упала тѣнь; какъ бѣсъ,
Надъ нимъ нагнулась и стоитъ,—
Его движенья сторожитъ.

XIII.

Какъ дымный факелъ, гаснетъ день;
Вдругъ новая подходитъ тѣнь
И спрашиваетъ: «это ты?»
Кириллъ, глаза раскрывъ, глядитъ—
Предъ нимъ какой-то клефтъ стоитъ.
Онъ узнаетъ его черты,
Но кто сей мужъ—не помнитъ онъ,
И суевѣрно пораженъ
Суровымъ этимъ пришлецомъ,
Его глазами и лицомъ
И ростомъ. (Бѣсу ни по чемъ
Принять какой угодно видъ).
Кириллъ испуганно глядитъ,
Молитву шепчетъ.
— «Не узналъ?!
Ему съ упрекомъ клефтъ сказалъ.
— А были вмѣстѣ на одномъ
И томъ же кораблѣ. Сукномъ
Оторваннаго рукава
Тебѣ я ноги теръ, въ тотъ часъ,
Когда, весь мокрый, ты едва
Дышалъ, какъ сычъ, на всѣхъ косясь».
— «О, искушенье! Узнаю...
Пробормоталъ ему Кириллъ,
— Прости, что не благодарилъ!..»
И если бъ клефтъ не удержалъ,
Къ нему бы въ ноги онъ упалъ.

— «Давно, давно ужь я хотѣлъ
Найти тебя, да все не смѣлъ.

Уйми ты лютую мою
Тоску—проклятую змѣю,
Меня сосущую, уйми!
Или ужь, чортъ меня возьми!
Убей!»
Кириллъ, перекрестясь,
Взглянулъ на клефта—у него
Изъ черныхъ, хищническихъ глазъ,
Гдѣ промелькнула, какъ гроза,
Отчаянная мысль, слеза
Катилась, хмурый ликъ его
Дышалъ надменностью, а станъ
Сгибался:—боль душевныхъ ранъ
Его коробила.
— «Чего
Ты отъ меня пришелъ искать?
Спросилъ Кириллъ.—Я утѣшать
Тебя не въ силахъ, ибо самъ
Не вѣдаю, какъ примирить
Мнѣ душу съ Господомъ...»
— «Не намъ,
Не намъ бы это говорить,
Святой отецъ. Твоимъ мольбамъ
Богъ свыше внемлетъ; но и ты
(Моей душевной черноты
Я отъ тебя не утаю)
Прослушай исповѣдь мою
И наложи эпитимью,
Или пошли къ святымъ горамъ
На покаяніе. И тамъ
Останусь я и постригусь.
Послушай же: какой вѣдь вздоръ,
Подумаешь... и что жь!—съ тѣхъ поръ,

Какъ голодомъ я уморилъ
Турчанку эту и зарылъ
Вотъ тутъ, гдѣ мы стоимъ, въ песокъ—
Тоска меня сшибаетъ съ ногъ.
Она преслѣдуетъ меня
Съ заката до восхода дня.
Спать не могу я... на меня
Находитъ ужасъ! А была
Магометанка и росла
Въ семьѣ, незнающей Христа,
И не было на ней креста!..»

Мертвецъ не можетъ умереть—
Монахъ не могъ бы поблѣднѣть
Лишь потому, что блѣденъ былъ,
Какъ призракъ, какъ жилецъ могилъ.
Онъ только клефту прошепталъ:
— «Отъ голоду?!—Тебя послалъ
Самъ Богъ, чтобъ ты напомнилъ мнѣ
Мой грѣхъ. Смотри, гроза идетъ—
И небо темное въ огнѣ
То промелькнетъ, то пропадетъ.
Такъ совѣсть иногда изъ тьмы
Грѣховной свѣтитъ намъ, и мы
Дрожимъ и видимъ, что скользимъ
Надъ страшной бездной, и хотимъ,
Закрывъ глаза, къ кому-нибудь
Съ любовью броситься на грудь,
Иль душу словомъ освѣжить...
Разсказывай, какъ уморить
Ты могъ турчанку? Соблазнить
Она пришла...»
— Нѣтъ, это я—

Я соблазнитель... Для меня
Она покинула сераль;
И, право, не было ей жаль
Съ такимъ отечествомъ навѣкъ
Разстаться; я же человѣкъ
Отважный—мастеръ отмыкать
Чужія двери, подкупать
Рабынь и евнуховъ. Она
(Купца бейрутскаго жена)
Переодѣтая ушла
Со мною въ море. И была
Моя Зюлейка такъ смѣла,
Какъ будто на морѣ росла,
Въ семействѣ клефтовъ; не пугалъ
Её попутный, бурный валъ,
Который день и ночь качалъ
Каикъ *) нашъ...
И ее тайкомъ
Сюда привезъ я, и въ мой домъ
Привелъ и взаперти держалъ;
Никто не вѣдалъ, что въ моемъ
Дому есть дверка и подъемъ
Въ одну пещеру съ небольшимъ
Отверстіемъ въ щели межъ скалъ,
Откуда падалъ свѣтъ. Цвѣтнымъ
Ковромъ солому я устлалъ,
Цвѣтныхъ подушекъ набросалъ.
И вѣрь мнѣ, съ этой кладовой
Она сроднилась, какъ со мной.
Гарема бъ я не пожелалъ

*) *Каикъ*—рыбацкій ботъ.

Султанскаго, такъ услаждалъ
Я съ нею жизнь мою; она
Была, какъ гурія, стройна
И у нея до самыхъ пятъ
Висѣли косы; только взглядъ
Ея былъ нѣжности такой
Исполненъ, кроткой и нѣмой,
Что я, звѣрь грубый, даже злой,
Бывало, ощущалъ не разъ
Вліянье кроткихъ этихъ глазъ:
Сталъ меньше пить я,—пересталъ
Дразнить народъ, не бушевалъ;
Но никогда не забывалъ
Я запирать ее, когда
Ходилъ работать на суда,
На сходку или на дѣлежъ.
Бывало, пробирала дрожь
Меня при мысли, что замкнуть
Я дверь забылъ и что она
Не вытерпитъ и у окна
Покажется, чтобъ хоть взглянуть
На Божій свѣтъ иль хоть вздохнуть
Смолистымъ запахомъ лѣсовъ.
Какъ узница, и безъ оковъ,
Въ плѣну любви, давно она
Была и солнца лишена.
Лишь въ поздній часъ, когда серпомъ
Блеститъ луна, я съ ней тайкомъ
Всходилъ на кровлю».
— «И грѣшилъ?»
Вздохнувъ, спросилъ его Кириллъ.
— «Не знаю я, была ль грѣхомъ
Любовь безумная моя.

Не совѣсть мучила меня —
Опасность...»
— «И ты, братъ, молчалъ
На исповѣди о такой
Грѣховной связи?»
— «Заѣзжалъ
Къ намъ попъ, и я ему сказалъ
Сперва, что я его убью,
Коль тайну выдастъ онъ мою,
Потомъ открылся...
. . . . . .
. . . . . .
Наконецъ,
Чамбулъ! *) вдругъ изъ конца въ конецъ
По островку промчалась вѣсть,
Что на корабль намъ надо сѣсть
И плыть къ Коринѳу... Шлютъ за мной;
Но ты не знаешь, что войной
У насъ не шутятъ. Я не рабъ—
Остаться могъ бы; но когда бъ
Остался — о! меня бъ сочли
Измѣнникомъ родной земли,
Я бабой, трусомъ бы прослылъ,
Когда бъ ружья не зарядилъ.
Нѣтъ, я не могъ нейти!
Три дня
Тревога мучила меня,—
Я колебался, я страдалъ.
Давно ли я воображалъ,
Что страсть моя такой же шквалъ—

*) *Чамбулъ*—турецкое слово, значитъ—кличъ на войну.

Пришелъ—ушёлъ—какъ не бывалъ,
И что уляжется волна,
Какъ будто тоже и она
Забыла, что такое шквалъ.
Я думалъ, страсть моя прошла;
Напротивъ, бѣшена и зла,
Какъ бы боясь предсмертныхъ мукъ,
Она прихлынула, и - вдругъ
Въ послѣднiй день, въ прощальный день
Я сталъ безчувственъ, какъ кремень,
Какъ будто сердце порвалось
Отъ ревности и тайныхъ слезъ;
Лишь бѣдный мозгъ мой мысли жгли
И до безумья довели.
Я думалъ,—что́ *ей* предстоитъ,
Хотя бъ и не былъ я убитъ?
Взять на корабль—нельзя: законъ
Неумолимъ; когда идемъ
Сражаться въ море, нашихъ женъ
На корабли мы не беремъ;
А мнѣ она и не жена:
Жена невѣрнаго она—
Магометанка!...

Сатана—

И тотъ едва ли спрячетъ днемъ
Такой товаръ.—Мы жь не веземъ
Добычи,—ѣдемъ не домой...
Что, если закричатъ: долой!
Иль: подѣлись-ка, братъ, такой
Добычею, пока она
За бортъ не выброшена. А!?
Что скажешь? Леденѣла кровь
При мысли, что моя любовь

Позоромъ кончиться должна.
Положимъ, думалъ я, она,
Оставшись дома, не уйдетъ;
Но кто ей пищу принесетъ?
Былъ старый другъ одинъ—убитъ;
Есть у меня своякъ,—виситъ
Рука на перевязкѣ, но
Болтунъ, гуляка онъ,—смѣшно
Мнѣ было бъ и вообразить,
Что будетъ даромъ онъ кормить.
А что съ ней сдѣлаетъ народъ,
Когда она сама уйдетъ?
Ее распутной назовутъ,
За ней мальчишки побѣгутъ,
Дразнить, щипать ее начнутъ,
Не подадутъ куска ей... Да,
И такъ, и эдакъ—все бѣда!
Ночь майская была душна,
И въ духотѣ спала она,
Когда принесъ я ей вина,
И молока, и сухарей,
Когда въ послѣдній разъ на ней
Остановилъ я взоръ свой. Былъ
Часъ третій утра; свѣтъ бродилъ
По изголовью. Пѣнье птицъ
Чуть было слышно; отъ рѣсницъ
И отъ густыхъ ея бровей
Чернѣлись полукруги. Грудь
Дышала такъ, какъ будто ей
Сонъ страшный снился, а дышать
Мѣшали демоны. Она
Была, какъ лилія, блѣдна:—
На собственной своей косѣ

Она, во всей своей красѣ,
Лежала навзничь... Я не смѣлъ
Въ послѣднiй разъ облобызать
Ей грудь и плечи, и—не могъ
Ни прикоснуться, ни у ногъ
Ея прилечь, ни зарыдать.
И помню, какъ я поблѣднѣлъ,
Когда два раза проскрипѣлъ
Мой ключъ въ заржавленномъ замкѣ,
И какъ потомъ въ моей рукѣ
Онъ очутился... Я не смѣлъ
Минуты медлить... Громко пѣлъ
Пѣтухъ, когда я замыкалъ
Мой домъ снаружи. Помню, да,
Я сдѣлалъ все, что чортъ тогда
Мнѣ подсказалъ, и въ этотъ день
Невозмутимъ былъ, какъ кремень.

Прошло два мѣсяца. Ей-ей!
Средь вражьихъ стѣнъ, садовъ, полей,
Въ бою, въ дыму, руки моей
Ни женскiй вопль, ни крикъ дѣтей
Не останавливалъ. Я былъ,
Какъ тигръ, свирѣпъ и лютъ—косилъ
Мой ятаганъ все, что встрѣчалъ.
Клянусь, я смерти самъ алкалъ!
И что жь? Вернулся я назадъ
Съ одной царапиной!
Не радъ
Я былъ добычѣ.—Дней такихъ,
За груды слитковъ золотыхъ,
Я бъ не желалъ переживать.
Къ себѣ домой я шелъ, какъ тать,

На страшный судъ.—Зной этихъ скалъ
Мнѣ въ душу холодъ навѣвалъ,
Я цѣпенѣлъ, безъ слезъ рыдалъ.
Я отперъ двери и—упалъ.

Оскаливъ зубы, подъ скалой
Сидѣлъ трупъ женщины, нѣмой,
Ужасный! Надъ самимъ собой
Усилье сдѣлалъ я, чтобъ встать,
И мнѣ хотѣлось убѣжать;
Но я—я вынесъ этотъ смрадъ,
И въ ночь глухую, точно кладъ,
Засунувъ трупъ ея въ мѣшокъ,
Унесъ и здѣсь зарылъ въ песокъ
Съ тѣхъ поръ, какъ ночь лишь настаетъ,
Я слышу стоны... кто-то бьетъ
Иль бьется въ дверь, гдѣ заперъ я
Однѣ подушки. И житья
Съ тѣхъ поръ мнѣ нѣтъ. Одинъ Аѳонъ
Моя надежда»...
Кончилъ онъ
И на колѣни палъ. Кириллъ
На плечи клефта опустилъ
Свои ладони.

XIV.

Ужь гудѣлъ
Тяжелый громъ надъ моремъ, пѣлъ
Надъ ними голосъ бури; но
Обоимъ было все равно:
Отъ силы вѣтра защищалъ
Ихъ съ сѣвера рядъ голыхъ скалъ;

Рифъ разбивалъ во всю длину
Завихрившуюся волну,
И только шумъ къ нимъ долеталъ.
Кириллъ, хоть онъ и уловлялъ
Въ томъ шумѣ шумъ бѣсовскихъ крылъ,
Но не боялся ничего:
Онъ вѣрилъ: съ головы его
И волоса не пропадетъ
Безъ воли Божьей; желіотъ
Не бурь боялся—думъ своихъ,
Страстей, мечтаній молодыхъ;
Онъ мысль невольную свою
Гналъ, какъ эдемскую змѣю—
Да не смутитъ, да не введетъ
Во искушеніе,—и вотъ,
Кто́ бъ это ждалъ! въ недобрый часъ
Десятки, сотни змѣй за разъ!
Недаромъ былъ онъ потрясенъ:
Внимая исповѣди, онъ
Недаромъ слухъ свой напрягалъ:
Онъ, замирая, жадно ждалъ
Подробностей;—къ его мечтамъ
Такъ льнуло все, чего онъ самъ
Не испыталъ,—воскресла вновь
Въ соблазнъ одѣтая любовь.

. . . . . .

Недаромъ клефта нашъ Кириллъ
И обнялъ, и заговорилъ
Такъ тихо, грустно:
— «Брате мой!
Узнай, ты видишь предъ собой
Клятвопреступника; мой грѣхъ
Ужаснѣе, страшнѣе всѣхъ

Твоихъ грѣховъ; ни въ небесахъ,
Ни на землѣ мнѣ мѣста нѣтъ:
Нарушенъ вѣчный мой обѣтъ...
Я проклятъ. Чувствую впотьмахъ
Твой изумленный, жгучій взглядъ,
Но погоди... Останься, братъ,
Дай высказаться... можетъ быть,
Обоимъ намъ не замолить
Своихъ грѣховъ,—дай хоть сроднить
Мнѣ душу грѣшную мою
Съ твоей душой; не утаю
Я отъ тебя ни прошлыхъ дней,
Ни думъ тяжелыхъ, ни страстей.

XV.

«Я молодость свою провелъ
На скатѣ въ Джелигинскій долъ,
Въ Балканахъ. Помню я, моя
Простая, мирная семья
Любила грамоту. Дѣтей
Не мало на скамьѣ своей
Отецъ мой выучилъ читать,
Къ Отцу небесному взывать,
Родной земли не забывать.
Къ несчастью, у меня была
Сестра Олимпія; росла,
Какъ говорится, не по днямъ...
И, не въ укоръ другимъ цвѣтамъ,
Такъ пышно отъ весеннихъ грозъ
Вдругъ расцвѣла, что намъ пришлось

Скрывать ее отъ вражьихъ глазъ,
Какъ драгоцѣнность, какъ алмазъ.
Но красоты не спрячешь,—нѣтъ!
Она сама спѣшитъ на свѣтъ,
И, какъ подсолнечникъ, глядитъ
Туда, гдѣ солнышко блеститъ.
Нашъ бѣлый домикъ, на бѣду,
Съ рѣки далеко виденъ былъ,
И хоть листвой окно прикрылъ,
Свое крылечко пріютилъ
На самомъ, такъ сказать, юру;
Такъ, можетъ быть, мою сестру,
Въ густые прячась тростники,
Злодѣи видѣли съ рѣки.
Туда жь, я помню, за водой
Сходили, пестрою толпой,
Юницы позднею порой,
Аукаясь съ моей сестрой;
Въ числѣ подругъ моей сестры
Была одна... до сей поры
Я не забылъ ея черты...
То были первыя мечты,
Ребяческія грезы... но
Все это было такъ давно,
Что, кажется, и не понять,
Какъ могъ я сладко такъ страдать.

Я помню, въ нашемъ Санджакѣ *)
Разбои были. По рѣкѣ
Ходила стража. Но пока
Еще Всевышняго рука

*) *Санджакъ*—турецкая провинція—губернія.

Хранила домикъ нашъ. Какъ вдругъ
На всю семью нашелъ испугъ:
Паша къ отцу прислалъ сказать,
Что если хочетъ онъ продать
Ему въ гаремъ родную дочь,
Онъ раскошелиться не прочь.
Старикъ мой вознегодовалъ:
Онъ на Экзарха уповалъ,
И чтобъ спасти законъ и честь,
Рѣшился дочь свою отвесть
И скрыть въ стѣнахъ монастыря;
Но прежде чѣмъ взошла заря,
Я связанъ былъ, отецъ убитъ,
Сестра исчезла. Слѣдъ копытъ
Терялся около рѣки,
Тамъ, гдѣ ломились тростники—
Слѣда другого не нашли.
Я бросился къ пашѣ, къ вали *).
Хотѣлъ въ Стамбулъ идти пѣшкомъ,
Но, признанный клеветникомъ,
Забитъ въ колодки и потомъ,
Не разъ побитый палачемъ,
Какъ рабъ, помилованъ! Съ трудомъ,
Ступая на ноги, кой-какъ
Обороняясь отъ собакъ,
Изъ Сливенъ я прибрелъ домой;
Но только матери родной
Я не засталъ: она сошла
Съ ума и утопилась. Домъ
Мой опустѣлъ и жизнь кругомъ
Притихла.

---

*) *Вали*—губернаторъ.

Я такого зла
Не вынесъ. Міръ свои дѣла
Проклятыя мнѣ сталъ являть
Во всей позорной наготѣ.
Не за себя я сталъ страдать—
За всѣхъ... Въ сердечной простотѣ
То я надѣялся, что край
Славянскій нашъ—царь Николай
Освободитъ когда-нибудь,
То самъ сбирался въ дальній путь,
Туда, въ Россію, гдѣ хоть звонъ
Колоколовъ не воспрещенъ.
То думалъ я, что месть таить
Въ душѣ—еще не значитъ мстить.
И вотъ, отъ злобы самъ не свой,
Два пистолета подъ полой
Пронесъ я черезъ Кадыкой *);
Хотѣлъ коня себѣ купить
И стать киседжіемъ **), но плоть
Борьбы не вынесла. Господь,
Знать, посѣтилъ. Я заболѣлъ...
Больной однажды я сидѣлъ
Въ лѣсу, въ тѣни большихъ дубовъ,
И думалъ: Боже! Вѣдь враговъ
Религіи моихъ отцовъ
Не меньше этихъ комаровъ,
Что въ этой теплотѣ сырой
Снуютъ столбами надо мной!
Ладонью комара убить—

---

*) *Кадыкой*—названіе ущелья, гдѣ проходятъ караваны.

**) *Киседжій*—разбойникъ въ одиночку, безъ шайки, нападающій только на турокъ.

Убить ихъ сотню, можетъ быть,
Что значитъ? Въ дубнякахъ родныхъ
И ярахъ меньше ль будетъ ихъ?!
Къ чему послужитъ месть, когда
Богъ терпитъ зло? Вѣдь въ день суда
Послѣдняго, когда падутъ
И эти горы,—пропадутъ
Невѣрные, въ тартарары
Съ бѣсами, свергнутые въ адъ,
Посыплются, какъ комары,
Которымъ крылья подпалятъ,—
Въ тотъ день что́ скажетъ Царь царей
О мести суетной моей?
И воротился я домой,
И день, и ночь, полубольной
И одинокій, сталъ читать
Чети-Минеи, повторять
Каноны, пѣть ихъ наизусть.
Домишко нашъ сталъ тихъ и пустъ;
Лишь мнѣ въ окно все тотъ же кустъ
Цвѣтками бѣлыми кивалъ,
И тѣмъ же запахомъ встрѣчалъ
Меня въ часъ утренній. Никто
Не посѣтилъ меня, за то
Видѣнья стали посѣщать:
Я помню ночь—явилась мать,
Перекрестила и ушла.
А иногда и духи зла
Меня пугали—звукъ цѣпей
Я слышалъ въ комнатѣ моей
И содрогался. Не дивись,
Я думалъ, мнѣ легко спастись,
Я думалъ, до конца моей

Ничтожной жизни мало дней
Ужь остается. Озаренъ
Надеждой видѣть Божій рай,
Стремился я въ завѣтный край,
Въ пустыни, на святой Аѳонъ.

XVI.

«И пробрался я на Аѳонъ,
И тамъ навѣки постриженъ
Великимъ постриженьемъ. Но,
Въ гордынѣ духа моего,
Въ себя я вѣрилъ. Не смирясь,
Не трепеща, въ тотъ страшный часъ,
Когда предъ алтаремъ налой
Поставленъ былъ, а предо мной
Невидимо всталъ самъ Христосъ,
Я громко клятву произнесъ
Возненавидѣть этотъ міръ,
Какъ бы вступить въ небесный клиръ;
Всѣмъ сердцемъ Бога возлюбя,
Отречься самого себя.
Но чистымъ быть, но уповать,
Что ангелы сойдутъ принять
Земного странника въ свою
Присноблаженную семью,
И въ то же время, по землѣ
Влачась и погрязая въ злѣ,
О женщинѣ не грезить... О!
Повѣрь мнѣ, друже, не легко!..
Не смѣя услаждать очей

Зазорной наготой своей *),
Я равнодушно замѣчалъ,
Какъ я увялъ и отощалъ.
Меня отецъ бы не узналъ,
Мать испугалась бы меня,—
Такъ за годъ измѣнился я.
Но вѣрь, не страшно увядать
Тому, кто вѣритъ въ благодать,
Чья цѣль не жить, а умирать,
Чья смерть, подъ тяжестью креста,
Есть въ рай отверстые врата —
И все-таки я былъ здоровъ;
Бывало, три охапки дровъ
Я на спинѣ съ окрестныхъ горъ
Носилъ на монастырскій дворъ,
И если даже уставалъ,
Свою усталость презиралъ.
Труднѣй мнѣ было побороть
Ночныя грезы. Видно, плоть
Въ сѣтяхъ грѣховныхъ сатаны
Сама собой рождаетъ сны...
Пробывъ семь лѣтъ въ монастырѣ,
Однажды, на крутой горѣ,
Пустую келью я нашелъ
И соблазнился, поддался
Внушеньямъ бѣса: перешелъ
Въ нее спасаться. Начался
Сподвижническій подвигъ мой
Тяжелой, медленной борьбой
Съ природой и съ самимъ собой.

---

*) Аѳонскіе иноки никогда не купаются и даже не мѣняютъ бѣлья, изъ опасенія видѣть наготу свою.

XVII.

«Но нѣтъ! того и разсказать
Немыслимо, что наполнять
Приходитъ душу чернеца
Пустынножителя. Конца
Нѣтъ искушеньямъ! Страшно, братъ,
Стоять на полдорогѣ въ адъ,
На полдорогѣ въ рай.
Цвѣтокъ,
Пѣвунья-птичка, мотылекъ,
Козявка—могутъ поперекъ
Твоей молитвы камнемъ лечь
Иль, закруживъ твой умъ, увлечь
Его въ предательскую тьму
Вопросовъ: какъ? да почему?
Да для чего? И что ни шагъ —
Соблазнъ, соблазнъ!..
А Божій врагъ
Твой каждый помыслъ сторожитъ,
Изъ тьмы, какъ хищный звѣрь, глядитъ
Тебѣ въ глаза, не то свиститъ,
Не то хохочетъ. Мнѣ не разъ
Зрачки его зеленыхъ глазъ,
Какъ два огня, въ недобрый часъ
Мелькали... И тогда, смутясь,
Въ тоскѣ, въ слезахъ, я съ горъ сходилъ,
На дальній звукъ *клепалъ* иль *билъ* *),
Въ ту Киновію, въ тотъ придѣлъ,
Гдѣ я впервые возымѣлъ

*) *Клепало*—чугунная доска; *било*—деревянная. Они употреблялись на Аѳонѣ вмѣсто колоколовъ, которые въ то время были запрещены турецкимъ правительствомъ.

Желаніе постричься. Да,
Я не безъ трепета туда
Входилъ, средь писанныхъ столбовъ,
Цвѣтныхъ лампадъ и образовъ;
Игуменъ строгій тамъ готовъ
Всегда былъ выслушать мое
Раскаянье.
—«Нѣтъ, братъ Кириллъ,
Онъ мнѣ однажды говорилъ,—
Ты молодъ, и твое житье
Пустынное тебѣ не впрокъ,
Не возмечтай!»
И я у ногъ
Его обильно слезы лилъ,
И ранней старости просилъ
У Господа.
Потомъ не разъ
Случалось мнѣ, въ недобрый часъ,
Чтобъ злобу думъ моихъ унять,
Къ полудню келью покидать;
Нарочно въ самый жаркій день
Я уходилъ и, словно тѣнь,
По кручамъ знойно-сѣрыхъ скалъ
Вплоть до заутрени блуждалъ,
И волновался, и сгоралъ
Желаньемъ какъ-нибудь найти,
Да въ келью къ ночи принести
Тотъ самый цвѣтъ, что на Аѳонъ
Былъ ангелами занесенъ.
Какъ мы, монахи, любитъ онъ
Тѣ неприступныя мѣста,
Гдѣ нѣтъ ни травки, ни куста,
Ни человѣческихъ слѣдовъ:

Растетъ онъ возлѣ облаковъ,
Надъ бездной: — одиноко тамъ,
Прижавшись къ каменнымъ скаламъ,
Онъ райскимъ розаномъ цвѣтетъ
И ароматъ свой нѣжный льетъ.
Мы увядаемъ; но отъ лѣтъ
Не увядаетъ этотъ цвѣтъ —
«*Цвѣтъ Богородицы*».
Повѣрь,
Что я завидую теперь
Біенью сердца, дрожи той
Смертельно сладостной, съ какой
Я доставалъ его рукой,
Вися надъ бездной. Видно, Богъ
Меня отъ смерти приберегъ,
Чтобъ испытатъ, насколько я
Отрекся міра.

XVIII.

«Какъ дитя
Безпутное, какъ блудный сынъ,
Покинувшій отца, одинъ
Съ растеньемъ возвращался я
Въ свой скитъ, часу въ четвертомъ дня,
И, помню, странная во мнѣ
Безпечность родилась. Вполнѣ
Довольствуясь самимъ собой,
Сверкающею тишиной,
И бездной моря голубой,
И рано сорваннымъ цвѣткомъ,
Оглядывался я кругомъ
И въ умиленье приходилъ...

Какъ вдругъ мой взоръ остановилъ
Одинъ предметъ. Не изумись,
Что я, съ вершины глядя внизъ,
Не понялъ: каменный карнизъ
Уступа страшно былъ высокъ;
Внизу, на берегу, песокъ
Казался узкой полосой;
Съ нимъ рядомъ бѣлою каймой
Шла пѣна; и внизу одно
Въ глаза мнѣ бросилось пятно:
Мелькая, двигалось оно,
Перебѣгало, и потомъ,
Бѣлѣлось долго на одномъ
И томъ же мѣстѣ.
Вѣсъ хитеръ,
Онъ подстрекнулъ меня,—и съ горъ
Спустился я по самый край
Пучины. Ну, теперь узнай,
Что было... Слушай!
Подхожу
Спокойно, медленно, гляжу—
И что же вижу?! не звѣрекъ,
Не птица... На горючъ песокъ
Склонилась дѣвочка; она
Дрожитъ, почти обнажена,
Ея ноженки знойный день
Палитъ. Земля накалена,
И вотъ, подъ сѣрый камень, въ тѣнь
Она головку прячетъ.
Братъ!
Клянусь тебѣ, когда бы адъ
Покинувъ, грозный сатана,
Гремя, сверкая, мнѣ предсталъ,—

Меня бъ онъ меньше испугалъ,
Чѣмъ эта дѣвочка... Едва
Не вскрикнулъ я. Песокъ, трава,
Лазурь, каменья,—все слилось,
Въ груди дыханье занялось,
Похолодѣли губы. Вѣрь,
Во мнѣ проснулся дикій звѣрь;
Но звѣря ужасъ обуздалъ,
Я зубъ на зубъ не попадалъ.
Читая: «Да воскреснетъ Богъ!»
Словъ выговаривать не могъ.
И самъ не знаю, почему
Я думалъ: призракъ—обниму—
Онъ пропадетъ, и надо мной
Бѣсъ нахохочется. Постой,
Перекрещу! Авось, она
Разсыплется. Сгинь, сатана,
Не искушай!
Худа, блѣдна,
Рубашкой станъ свой обмотавъ,
Пескомъ запачканный рукавъ
Съ другимъ связавши рукавомъ,
Она привстала, босикомъ
Пошла ко мнѣ навстрѣчу, и,
Должно быть, мутные мои
Глаза горѣли или я
Такъ былъ похожъ на мертвеца,
Что это бѣдное дитя,
Въ испугѣ, съ моего лица
Очей раскрытыхъ не сводя,
Остановилось...
Наконецъ,
Я слышу:

—«Такъ, святой отецъ,
Перекрести меня! Скажи,
Гдѣ нахожусь я? Укажи,
Куда идти мнѣ... Боже мой,
Сама не знаю, что со мной!?
На кораблѣ дремала я
И, сброшенная съ корабля,
Упала въ море... Помню громъ...
Но что случилось съ кораблемъ—
Куда дѣвался мой отецъ?!
Вчера на палубѣ свинецъ
Топилъ онъ, пули выливалъ.
И ночь тиха была; Аѳонъ
Вершинами, какъ бы сквозь сонъ,
На мѣсяцѣ былъ виденъ... вдругъ—
Вообрази ты мой испугъ!—
Едва затеплился востокъ,
Очнулась я... гляжу—песокъ
И горы... а мое бѣлье
Изорвано... я голодна
И жажду; но горька волна
Солёная...»
— Дитя мое!
Хотѣлъ сказать я... и не могъ;
Я видѣлъ прелесть стройныхъ ногъ,
Царапину у одного
Колѣна, черные глаза,
Большіе, грустные. Слеза
Меня прошибла. Ничего
Не могъ я вымолвить; отвыкъ
Я, преждевременный старикъ,
Отъ нѣжныхъ, ласковыхъ имянъ.
Мнѣ показалось—я стою

На рубежѣ родныхъ Балканъ,
И въ ней ребенкомъ узнаю
Сестру погибшую мою.
И вотъ, какъ бы мгновеннымъ сномъ
Я позабылся,—въ отчій домъ
На сѣверъ былъ перенесенъ,
Опять былъ молодъ и влюбленъ,
Опять въ окошко мнѣ кивалъ
Махровый кустъ и напѣвалъ
О прошломъ робкій голосокъ,—
И я наслушаться не могъ.

Я наслаждался и страдалъ,
Хотѣлъ остаться и бѣжать—
Бѣжать, куда глаза глядятъ;
Я видѣлъ ангела и адъ;
Казалось, начиналъ терять
Способность здраво размышлять,
И въ то же время разсудилъ
Довольно здраво, что-де былъ,
Должно быть, взрывъ,—взрывъ корабля,
Что прошлой ночью видѣлъ я.
Недаромъ, въ воздухѣ ночномъ,
Дымъ, засвѣтившійся клубкомъ.
Такъ вотъ что значилъ этотъ громъ,
Тогда какъ не было кругомъ
Ни облачка, и при лунѣ
Все было ясно въ вышинѣ
И тихо на морѣ! Она,
Конечно, Богомъ спасена
И, на рубежъ святой земли,
Къ намъ на Аѳонъ принесена
Съ тѣмъ, чтобъ и мы ее спасли.

XIX.

«Ужь было ей тринадцать лѣтъ *),
Уже и грудь, и плечи... Нѣтъ!
Ты не отшельникъ—надо мной
Ты насмѣешься... Красотой
Богатъ вашъ островъ,—вѣрно-бъ, ты
Въ ней не нашелъ ни красоты,
Ни прелести. Но вспомни, братъ,
Что и мышьякъ почти не ядъ
Для тѣхъ, которые къ нему
Привыкли. Сердцу моему,
Отвыкшему отъ женскихъ лицъ,
Какъ отъ лучей во тьмѣ темницъ
Подземныхъ отвыкаетъ глазъ,
Несчастная, на этотъ разъ,
Казалась райскимъ существомъ,
Какимъ-то чудодѣйнымъ сномъ,
Которымъ бредилъ я... Съ трудомъ
Заговорилъ я и дрожалъ,
Какъ тать, который посягалъ
Святыню обокрасть и вдругъ
Отъ образа пришелъ въ испугъ.

Какъ ни была она блѣдна,
Испугана и смущена,—
Я видѣлъ, какъ была она
Какъ бы обрадована тѣмъ,
Что я еще не вовсе нѣмъ

*) На Востокѣ 12—13 лѣтъ дѣвушки уже выходятъ замужъ.

И что на языкѣ родномъ
Заговорилъ я—землякомъ
Ей оказался...
Да, знакомъ
Мнѣ съ дѣтства былъ тотъ бережокъ,
Тотъ густолиственный лѣсокъ,
Та хата, гдѣ она росла.
Я вспомнилъ, мать ея была
Въ гостяхъ у матери моей,
И, какъ сестрѣ, повѣдалъ ей,
Куда она занесена,
И гдѣ, и почему она
Въ ущельѣ спрятаться должна.
Сказалъ ей,—Господи, прости!—
Что я хочу ее спасти,
Что есть родникъ, но далеко,
Къ нему пробраться не легко:
Насъ могутъ встрѣтить, и тогда—
Соблазнъ, смятеніе, бѣда!
Что лучше къ ночи я одинъ
Къ ней принесу воды кувшинъ,
Плодовъ и хлѣба.
И въ залогъ
Я ей оставилъ все, что могъ
Оставить, розовый цвѣтокъ—
«Цвѣтъ Богородицы».
Косясь
На женскій обликъ, торопясь,
Я съ ней простился и взбѣжалъ
На крутизну, и тамъ упалъ,
И такъ до вечера лежалъ
Безъ памяти.

Къ осьми часамъ,
Я къ монастырскимъ воротамъ
Съ дороги вправо своротилъ,
Шатался, плакалъ и твердилъ:
«Ей, Господи! Не искушай,
Спаси! погибнуть мнѣ не дай!
Ей, Господи! иль отврати
Лицо твое, или прости!»

XX.

«И вотъ ночь пала на Аѳонъ;
Соборъ былъ настежь отворенъ,
Мнѣ виденъ былъ недвижный рядъ
Неугасаемыхъ лампадъ;
Ручныхъ кадильницъ тонкій дымъ
Благоуханіемъ своимъ,
Казалось, наполнялъ весь дворъ,
И съ четками, потупя взоръ,
Изъ темныхъ келлій въ Божій храмъ
Сходились старцы. По плитамъ
Шуршали мантій ихъ хвосты.
На ихъ наплечьяхъ при лунѣ
Мелькали бѣлые кресты;
Какъ тѣни въ дымной тишинѣ,
На паперть, мимо проходя,
Они мнѣ кланялись, и я
Имъ низко кланялся.
Потомъ,
Хоть я и не былъ новичкомъ,
Какимъ-то смутнымъ, страннымъ сномъ
Мнѣ сталъ казаться этотъ дворъ.

Огни и мѣсяцъ, хриплый хоръ,
И въ блескѣ мѣсячныхъ лучей
Вдали поющій соловей...
У изгороди я срывалъ
Каштаны, смоквы, точно кралъ,
И клалъ за пазуху.
Потомъ,—
Потомъ куда, бишь, я пошелъ?!
Ахъ, да! да, помню, я тайкомъ
Пошелъ въ пекарню, гдѣ нашелъ
Трапезаря. Онъ навзничь спалъ,
И тощимъ тѣломъ занималъ
Дубовый, невысокій ларь;
Бумажный крашеный фонарь
Висѣлъ надъ нимъ и освѣщалъ
Его расплюснувшійся носъ,
Ротъ, подбородокъ безъ волосъ
И впадины закрытыхъ глазъ.
Я помню, иноковъ не разъ
Онъ голосомъ своимъ смущалъ—
Не говорилъ онъ, а пищалъ
По-бабьи. Сказывали, онъ
Былъ евнухомъ, потомъ крещенъ.
Потомъ сбѣжалъ къ намъ на Аѳонъ
И сталъ послушникомъ. Его
Никто монахомъ не считалъ,
Онъ рѣдко церковь навѣщалъ.
Игумну вѣрнымъ былъ рабомъ,
Истопникомъ и пекаремъ.
Въ душѣ я чувствовалъ къ нему
Чуть не вражду, а потому,
Когда на исповѣдь ходилъ,
Не разъ у ногъ его просилъ

Простить невольный грѣхъ.
И вотъ
Я разбудилъ его, онъ всталъ;
Я пить спросилъ, онъ замычалъ
И часть вина, смѣшавъ съ водой,
Мнѣ подалъ въ кружкѣ жестяной.
Когда жь я жажду утолилъ,
Я, поклонившись, попросилъ
Его мнѣ уступить одинъ
Изъ тыквы рѣзанный кувшинъ.

Все это, братъ, я не спроста
Продѣлывалъ! Я, братъ, хитрилъ!
Вотъ, къ родникамъ, за ворота
Я тихо вышелъ. Монастырь
Уже остался за горой,
Уже таинственный пустырь
Лежалъ во мглѣ передо мной,
Уже я шелъ,—шелъ, братъ, *туда*!—
Какъ вдругъ надъ этой свѣтлой мглой
Звѣзда изъ тверди голубой
Упала огненной браздой.
Я содрогнулся.—Такъ съ небесъ
Когда-то палъ проклятый бѣсъ,
И я такъ въ эту ночь паду.
И я, злосчастный, самъ иду—
Самъ жажду гибели своей!
О! будь заступницей моей,
Честнѣйшая всѣхъ херувимъ,
Святая дѣва!
И томимъ
Предчувствіемъ, невольно я
Остановился. Плоть моя

Уже была распалена
Той соблазняющей мечтой,
Что безсознательно со дна
Души моей сама собой
Всплывала.
И вернулся я
Опять къ стѣнамъ монастыря,
Кувшинъ покинулъ у воротъ,
И думалъ: пусть хоть ночь пройдетъ,
Хоть ночь! Авось, мнѣ въ эту ночь
Господь поможетъ превозмочь
Всѣ похотѣнія мои...
Тогда, быть можетъ, и любви
Онъ не поставитъ мнѣ въ укоръ.
И съ этой вѣрой я въ соборъ
Направился; прошелъ въ придѣлъ,
Гдѣ я постригся, и не смѣлъ,
Не могъ глядѣть на образа;
Мнѣ чудилось—за мной слѣдятъ
Ихъ очи, въ душу мнѣ глядятъ;
И вотъ, надвинувъ на глаза
Накидку, я молиться сталъ.
Всю ночь къ молитвѣ напрягалъ
Я грѣшный духъ мой и взывалъ:
Ей, Господи!... И такъ страдалъ,
Такъ убивался!
Предо мной
Виталъ все тотъ же роковой
Прелестный образъ,—звалъ, стоналъ,
Очами чудными сверкалъ,
Сверкалъ лилейной наготой.
Напрасно жаркой головой
Къ холоднымъ мраморнымъ плитамъ

Я припадалъ. Увы! и тамъ,
На этомъ каменномъ полу,
Казалось, къ моему челу
Не мраморъ льнетъ—ея рука
Холодная,—а у виска
Лепечетъ голосокъ: «Вставай!
Я жажду, жду! спѣши, спасай!»
И я, клянусь, боролся... Но
Уже бѣлѣется окно,
Пѣтухъ поетъ; вотъ отошла
Всенощная. Заря взошла.
И я въ алтарь вошелъ, и палъ
Къ ногамъ игумна, зарыдалъ
И на духу все разсказалъ,
Все разсказалъ, что видѣлъ я,
Что слышалъ я, что испыталъ,
И что испытываю я...

XXI.

«Въ землетрясенье, въ гулъ и громъ,
Когда мы передъ алтаремъ
Стояли и когда престолъ
Былъ сдвинутъ и качался полъ,
Я помню, нашъ игуменъ былъ
Невозмутимъ. Онъ причастилъ
Всю братію и ожидалъ
Спокойно смерти. Не видалъ
Въ его лицѣ я никогда
Ниже-малѣйшаго слѣда
Тревожной думы. Въ первый разъ
Едва я началъ мой разсказъ,

Въ его расширенныхъ зрачкахъ
Мучительный прочелъ я страхъ.
Онъ сталъ блѣднѣе мертвеца;
Онъ не дослушалъ до конца
И глухо мнѣ проговорилъ:
«Кириллъ, ты страшно согрѣшилъ!
Я тридцать лѣтъ здѣсь—и Аѳонъ
Ни разу не былъ оскверненъ.
Не только женскою стопой—
Ея подобіемъ. Кириллъ!
Не Богъ, а дьяволъ попустилъ
Такой соблазнъ! Скажи, какой
Тяжелою эпитимьей
Искупишь ты свой грѣхъ? Иди
И затворись! Не выходи
Изъ скита своего лѣтъ пять,
Чтобъ плоть грѣховную распять,—
Чтобъ могъ вернуться ты опять
На путь спасенья твоего».

И только—больше ничего
Онъ не сказалъ; благословилъ,
Вздохнулъ, потомъ лицо закрылъ
Руками, точно на его
Невозмутимое чело
Мое страданье перешло.
И отошелъ, чтобъ не слыхать
Моихъ рыданій.
Что сказать
На это? И поцѣловать
Его руки я не успѣлъ!
Судъ Божій надо мной гремѣлъ;
Я былъ на казнь приговоренъ,

И, положа земной поклонъ
Передъ налоемъ, вышелъ вонъ,—
И какъ до скита моего
Дошелъ—не помню ничего...

XXII.

«Годамъ у Бога счету нѣтъ.
Что значитъ пять иль десять лѣтъ.
Вся мѣра жизни для того,
Кто кромѣ Бога своего
Не ищетъ въ мірѣ ничего?
А я... такъ палъ, такъ изнемогъ!
Трехъ сутокъ вынести не могъ!
Сталъ колебаться въ вѣрѣ, сталъ
Припоминать все, что читалъ,—
И возмутился, возропталъ!
Покинулъ скитъ, забылъ свою
Великую эпитимью,
Слова игумна,—все забылъ!...
Воды въ кувшинъ свой нацѣдилъ,
И не успѣло солнце встать,
Пошелъ *туда,* пошелъ спасать
Ее—дитя моей мечты.
Малютки блѣдныя черты,
Овѣянныя алой мглой,
Уже мелькали предо мной;
Я видѣлъ шелкъ ея косы
Въ алмазахъ утренней росы,
Я видѣлъ дѣвственную грудь
Въ одеждѣ, тканой изъ лучей,—
И я все шелъ скорѣй, скорѣй...

Уже извилистый мой путь
Спускался подъ гору, уже
Я сталъ шагать по той межѣ,
Гдѣ море синее съ землей
Цѣлуются, какъ братъ съ сестрой,
Уже разсыпчатый песокъ
Сталъ прилипать къ подошвамъ ногъ.
Вотъ близко, думаю, и вдругъ—
Вообрази ты мой испугъ.
Мой ужасъ... Вижу, не *она*—
Уродъ навстрѣчу мнѣ идетъ—
Онъ, этотъ евнухъ!.. Вижу, ротъ
Искривленъ, на губахъ видна
Усмѣшка адская... Скелетъ
Такъ улыбаться можетъ,—нѣтъ,
Голодный волкъ, когда онъ золъ
На пастыря и вдругъ набрелъ
На падаль Въ фартукѣ онъ былъ
И несъ лопату,—былъ онъ радъ
Чему-то, и зловѣщій взглядъ
Его мнѣ ясно говорилъ:
— Эге, эге! отецъ Кириллъ,
Такъ вотъ каковъ ты, братъ!... идешь
Къ голубкѣ! воду ей несешь!
Не опоздалъ ли?.
Гдѣ онъ былъ?
Куда ходилъ? Я не спросилъ—
Я и спросить не въ силахъ былъ.
Во мнѣ все замерло. Мелькнулъ
Лопаты кованный конецъ,
Я видѣлъ, что къ нему прильнулъ
Песокъ, и вотъ онъ, наконецъ,
Исчезъ. Растопленный свинецъ

Какъ бы прожегъ меня, гора
Легла мнѣ на сердце.
Вчера
Недаромъ ночью у дверей
Пустынной келліи моей
Я слышалъ шорохъ, слышалъ вздохъ,—
Я понялъ все; но я не могъ,
Не могъ остановиться... Знать,
Такъ было на моемъ роду
Написано... И вотъ искать
Упрямо я иду, иду
Вдоль берега, вдоль горъ, вездѣ
Ищу ее, зову... Нигдѣ,
Нигдѣ!! Я исшагалъ,
Обшарилъ всѣ уступы скалъ.
Всѣ щели, впадины,—кричалъ
Какъ полоумный, цѣловалъ
Ея слѣды, чуть замѣчалъ
Ихъ признакъ на морскомъ пескѣ.
Нигдѣ!—Въ отчаяньи, въ тоскѣ,
Я, наконецъ, вообразилъ,
Что трапезарь ее зарылъ.
Но гдѣ? Клянусь! когда бъ я зналъ,
Гдѣ трупъ зарытъ, я бъ откопалъ
Мое дитя... Злодѣи мы!
Бездушныя исчадья тьмы!
Ей отъ плодовъ своей земли
Крупицы даже не могли,
Не захотѣли удѣлить,
Не пожалѣли, не спасли!
Я начиналъ съ ума сходить,
Я бредилъ. Наконецъ, у ногъ
Нашелъ, ей отданный въ залогъ

Спасенья, розовый цвѣтокъ—
«Цвѣтъ Богородицы». Въ песокъ
Полузарытый, онъ лежалъ;
Его я поднялъ и прижалъ
Къ моей груди. Казалось мнѣ,
Онъ также плачетъ по веснѣ
Своихъ печальныхъ дней, что онъ
Ея слезами окропленъ,
Что онъ измятъ, и что на немъ
Есть капли крови.
И кругомъ
Я поводилъ глазами—и
Ее въ лазоревой дали
Искалъ среди лазурныхъ струй
На горизонтѣ. Поцѣлуй
Ея воздушный слышалъ я
И слышалъ ропотъ: «Такъ меня
Ты спасъ, несчастный человѣкъ!
Да будь же проклятъ ты вовѣкъ!»

Я къ ночи въ монастырь пришелъ,
И что ужь тамъ языкъ мой плёлъ,
О чемъ кричалъ иль бормоталъ,
Какіе тексты приплеталъ
Къ моимъ рѣчамъ, чѣмъ возмутилъ
Всю братію, чѣмъ оскорбилъ
Отца игумена?—о, братъ!
Клянусь, не помню.
Да и врядъ,
Хотя бъ и помнилъ, повторить
Возможно то, что пережить
Два раза невозможно...

XXIII.

«Да,
Я не смирился и тогда,
Когда пришли меня связать,
И, можетъ быть, суду предать,
Затѣмъ, чтобъ въ цѣпи заковать.
Какъ обуянный духомъ зла,
Я рваться сталъ и бушевать,
И сила демона вошла
Въ мой бренный остовъ, напрягла
Мой каждый мускулъ; я, какъ бѣсъ,
На драку съ братьями полѣзъ...
. . . . . .
И вырвался, и побѣжалъ,
И очутился за стѣной
Въ одномъ подрясникѣ, босой
И безъ накидки. Я дрожалъ,
Бѣжалъ и падалъ, и опять
Спѣшилъ безъ памяти бѣжать,
Какъ будто цѣлый легіонъ
Духовъ, видѣній, весь Аѳонъ
Гнался за мной, и какъ ужь я
Попалъ на пристань—ты меня
Не спрашивай! Казалось мнѣ,
Съ горъ, словно туча при лунѣ,
На выростающемъ конѣ,
Какой-то темный великанъ
Растетъ и скачетъ, и арканъ
Забрасываетъ, и свиститъ,
И слышу я, земля дрожитъ,
Копыта звякаютъ. То былъ,

Быть можетъ, стукъ *клепалъ* и *билъ*,
А мнѣ казалось... И назадъ
Испуганный бросалъ я взглядъ,
Какъ вдругъ—о, ужасъ! предо мной
Пучина двигается. Стой!
Я слышу голоса въ кустахъ,
Огни мелькаютъ въ фонаряхъ,
А предо мною на волнахъ
Пустой колышется каикъ.
И я,—хоть прыгать не привыкъ,
Я былъ у мачты, подъ крестомъ,
И парусъ поднялъ, и весломъ
Махнулъ и поплылъ.
И потомъ,
Не помню, скоро ли въ себя
Пришелъ я,—помню только я,
Что прежде, чѣмъ глаза раскрыть,
Я ничего сообразить
Еще не могъ. Меня качалъ,
Укачивалъ журчащій валъ,
И долго я воображалъ,
Что эта утлая ладья—
Родная колыбель моя;
Что я еще дитя, и сплю
И сладко грежу, и люблю
Малютку блѣдную мою,
Съ очами полными огня,
Ту самую, которой я
Душистый подарилъ цвѣтокъ.
Но вотъ прохладный вѣтерокъ
Съ волны повѣялъ мнѣ въ лицо:
На мачтѣ скрипнуло кольцо,
Накренясь, хлопнулъ надо мной

Неприкрѣпленный парусъ мой,
И я глаза мои раскрылъ,
За бортъ рукою ухватилъ,
Хотѣлъ вскочить, но боль въ костяхъ
Почувствовалъ и дрожь въ рукахъ;
Казалось, я едва дышалъ,
И все-таки кой-какъ привсталъ.

Какъ бы на золотѣ горя,
Надъ моремъ теплилась заря,
Сверкали волны впереди,
Темнѣли волны позади,
И мой каикъ нырялъ, какъ челнъ
И кромѣ неба, кромѣ волнъ,
Да кромѣ флага моего
Ужь я не видѣлъ ничего.
И силился припоминать...
И долго я не могъ понять,
Зачѣмъ аѳонскій келіотъ
Куда-то по морю плыветъ.

XXIV.

«Но вотъ взошло свѣтило дня—
И все внезапно вспомнилъ я,
И ужаснулся... Видитъ Богъ,
Хотѣлъ вернуться и—не могъ.
Я думалъ, близокъ нашъ Аѳонъ.
Я видѣлъ, какъ изъ синихъ волнъ
Встаетъ онъ каменнымъ шатромъ,
Какъ бы въ туманѣ голубомъ:
Но тщетно слабою рукой
Я за весло хваталъ—меня

Весло не слушалось,—и я,
Разбитый, утомленный, сталъ
Читать отходную и ждать—
Вотъ, вотъ, меня догонитъ шквалъ—
И я, добыча сатаны,
Погибну жертвою волны,
Или не нынче—завтра, въ зной,
Съ открытой, знойной головой,
Съ печатью ада на челѣ,
Умру отъ жажды. Можетъ быть,
Не въ синемъ морѣ, не въ землѣ,
На суднѣ трупъ мой будетъ гнить.
И какъ на падаль, мнѣ на грудь
Слетится птицъ крикливый рой,
И въ цѣломъ мірѣ, Боже мой!
Едва ль найдется кто-нибудь
Меня въ молитвахъ помянуть.
Я умиралъ и, наконецъ,
Какъ страшный грѣшникъ, какъ бѣглецъ,
Я умеръ бы; но вы меня
Нашли и подняли, и я
Существованіе мое
Влачу, какъ будто не свое—
Чужое. Міромъ окруженъ,
Я тщетно на святой Аѳонъ
Стремлюсь и тѣломъ, и душой;
Но отъ меня онъ заслоненъ
Какъ бы незримою рукой
Всевышняго... Его святынь,
Его мощей, его пустынь
Я недостоинъ».
Такъ Кириллъ
Разсказъ свой кончилъ. Облегчилъ

Онъ этимъ душу или нѣтъ?
Яснѣе ли на Божій свѣтъ
Взглянулъ?—не знаю. Но Кириллъ
И самъ едва ли понималъ,
Какъ изумилъ онъ, какъ смутилъ,
Въ какомъ хаосѣ покидалъ
Онъ душу Деспо (такъ звался
Тотъ клефтъ, который на Аѳонъ
Стремился такъ же, какъ и онъ).

Гроза прошла; ужь занялся
На горизонтѣ новый день
И съ тѣнью обнялася тѣнь,
И обѣ тѣни безъ слѣда
Пошли по острову. Куда?—
Кириллъ съ преступникомъ вдвоемъ
Свои шаги направилъ въ домъ—
Въ тотъ самый домъ, гдѣ подъ ключемъ
Есть дверь дубовая, ковромъ
Завѣшанная, а за ней,
На влагѣ смятыхъ простыней,
Гніютъ подушки и грызетъ
Ихъ мышь голодная, а сводъ
Пещеры все еще хранитъ
Тотъ мертвый духъ, который мститъ.

. . . . . .

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Межъ темныхъ волнъ и золотой
Передразсвѣтною звѣздой
Ложится розовая мгла;
Спитъ клефтовъ мирный островокъ;
А тамъ, надъ моремъ, вѣтерокъ
Несетъ, скосивши на востокъ,
Судовъ турецкихъ вымпела.

Вглядѣвшись въ розовую мглу,
Обычный сторожъ на валу
Не вѣритъ заспаннымъ глазамъ:
«Куда? Зачѣмъ?... Ужели къ намъ?...»
И долго взоромъ онъ слѣдитъ,
Какъ лавируютъ корабли;
И вотъ, размашисто бѣжитъ,
Не видя подъ собой земли,—
Бѣжитъ и будитъ рыбарей
Среди развѣшанныхъ сѣтей,—

И корабельныхъ мастеровъ
Онъ будитъ около судовъ,
Крича: Османовъ корабли!
Османовъ корабли пришли!
И далеко пронесся крикъ:
Въ дома, въ пещеры онъ проникъ,
И дрогнули сердца мужей,
Не за себя—за участь женъ;
Встревоженный сбѣгаетъ сонъ
Съ ихъ мягко постланныхъ ковровъ...
—Гдѣ?... Что?... Огня... Живѣе!.. Гей!..
И вотъ, срываются съ гвоздей
Стволы тяжелыхъ штуцеровъ...
Вскочили женщины,—со сна
Перепугалась не одна,
Вотъ, выбѣгаютъ босикомъ,
Карабкаются по скаламъ,
И озираются кругомъ;
Рубашки ихъ, то здѣсь, то тамъ,
Вздуваются, какъ паруса,
Прильнули складки къ ихъ ногамъ,
И разметались волоса;
Но въ это утро, въ этотъ часъ,
Ихъ пропускаютъ мимо глазъ,
Растрепанныхъ, полунагихъ,
Никто не замѣчаетъ ихъ.

Врагъ у дверей—заклятый врагъ!..
Тревога, бѣготня,—и вотъ,
Семейный позабытъ очагъ.
По всѣмъ ущельямъ гулъ растетъ.
Одинъ попрежнему поетъ

Пѣтухъ—для одного его
Заря и—больше ничего...

II.

Вотъ солнце пронизало мглу,
Чтобъ посвѣтить добру и злу,
И міръ его восходу радъ,
И волны весело блестятъ,
А къ островку, по лону водъ
Скользя, подъ парусомъ идетъ
Турецкій боевой фрегатъ;
За нимъ—два брига и корветъ.
Собрались клефты на совѣтъ...
И вотъ ужь къ нимъ ядро летитъ,
Скачками волны бороздитъ
И исчезаетъ въ пѣнѣ водъ:—
Такъ, съ недомчавшимся ядромъ,
Ударилъ громъ—турецкій громъ...

III.

Рѣшились турки отомстить
Отважнымъ клефтамъ: окружить,
Войти, нагрянуть, захватить,
Убитыхъ уши посолить,
Живыхъ въ Стамбулъ препроводить
На казнь, въ колодкахъ и цѣпяхъ,
Женъ изнасиловать въ глазахъ
Мужей, въ виду у матерей
Предать позору дочерей,
На пики насадить дѣтей;

И чтобъ изъ мести вышелъ толкъ,
Они послали чуть не полкъ,
Сорокапушечный фрегатъ
И много ядеръ и гранатъ.

IV.

Предъ осажденнымъ островкомъ
Стоитъ фрегатъ и мечетъ громъ;
Клубясь, растетъ надъ моремъ дымъ,
И бомбы съ рокотомъ летятъ...
И что же? островъ невредимъ:
Паденьемъ, взрывами гранатъ
Одинъ тростникъ кой-гдѣ измятъ,
Кой-гдѣ песокъ прибрежный взрытъ;
И, какъ орудья ни гремятъ,
Никто не раненъ, не убитъ.
И вотъ, на высадку рѣшась,
Садятся турки въ катера
И машутъ веслами. *Ура!*
Ура! изъ-за своихъ засадъ
Имъ клефты весело кричатъ.
Давно прошелъ ихъ первый страхъ,
И, какъ на выстрѣлъ въ камышахъ
Задѣтый пулею кабанъ,
Впередъ бѣжитъ Деспо Стефанъ,
Въ надеждѣ разрядить свое
Тяжеловѣсное ружье.
Вотъ, по песку за нимъ идетъ
Кириллъ, аѳонскій келіотъ;
При видѣ этихъ кораблей
Онъ вспомнилъ родины своей

Страданья, домъ свой на юру,
Отца убитаго, сестру
Въ гаремѣ стараго паши,—
Все вспомнилъ, и отъ всей души.
Забывъ монашескій обѣтъ
(Не знать друзей, не знать враговъ),
Онъ мстить за родину готовъ;
Недаромъ старый пистолетъ
Онъ стиснулъ: старая мечта
Ему твердитъ, что месть свята
За поруганіе Креста,
За бѣдную свою семью,
За участь жалкую свою.
Недаромъ грозенъ онъ лицомъ:
Славянскій духъ проснулся въ немъ.
Дыша воинственнымъ огнемъ,
Откинувъ пыльный капишонъ,
Босой, на камнѣ онъ стоитъ
И, какъ Стефанъ, со всѣхъ сторонъ
Открытый, на́ море глядитъ,
И хоть устами шевелитъ,
Едва ли понимаетъ онъ,
Въ тревогѣ за исходъ борьбы,
Слова святой своей мольбы.

V.

Но катера плывутъ съ трудомъ;
Изъ нихъ два-три, попавъ на рифъ
И тамъ объ камни дно разбивъ,
Уже качаются вверхъ дномъ:
Другіе повернули вспять,

И начинаютъ выплывать
Тѣла изъ пѣны, и опять
Въ ту жь пѣну силою волны
Зарытыя, разможжены...
Два трупа въ желтыхъ башмакахъ
У рифа въ каменныхъ зубахъ
Увязли...
А Деспо оретъ:
«Вонъ феска красная плыветъ!..
Того гляди, что подожжетъ
Всѣ наши лодки, всѣ суда...»
«Куда плывешь? ..» «Сюда, сюда!...»
. . . . . .

VI.

Зубчатый кряжъ подводныхъ скалъ
Врагамъ проходу не давалъ;
И кто жь безъ лоцмана найдетъ
Волнами спрятанный проходъ?
Здѣсь скачутъ волны въ перебой,
Широкой пѣнясь полосой,
А тамъ отвѣсною стѣной
Утесы каменной пятой
Уходятъ въ волны, и такой
Межъ трещинъ ихъ шумитъ прибой,
Что турки хоть и обошли
Имъ ненавистный островокъ,
Въ него проникнуть не могли,—
Имъ не помогъ святой Пророкъ;
И ядра, и гранаты ихъ
Для скалъ высокихъ и крутыхъ

Казались мячиками,—громъ
Ихъ мѣдныхъ пушекъ раздражалъ
Одно лишь эхо.
Простоялъ
Два дня, двѣ ночи ихъ фрегатъ.
И со стыдомъ ушелъ назадъ;
За нимъ, поднявши вымпела,
И вся ихъ сила уплыла.
И вотъ, въ пещерахъ, у иконъ,
Гдѣ вмѣсто вербъ давно торчатъ
Тѣ вѣтви пальмъ, что изъ страны
Невѣрныхъ къ нимъ занесены
Съ холмовъ Сіонскихъ, ужь горятъ
Лампадки, свѣчи зажжены,
И попъ,—единственный ихъ попъ,
Какъ и они сердечно радъ:
И куритъ ладанъ, и поетъ
Молебны; помнитъ онъ едва
Молитвъ завѣтныя слова,
Но въ книгу смотритъ; и никто
Не знаетъ, что сѣдой старикъ
Давно читать по ней отвыкъ.
За то всѣ молятся, за то
Имъ богъ поэзіи даетъ—
Не мало праздничныхъ ночей!

VII.

На чудной родинѣ своей
Народъ среди садовъ и скалъ
По старинѣ запировалъ
Подъ музыку морскихъ валовъ.
Неустающихъ въ тишинѣ

Невозмутимыхъ вечеровъ
Ласкать извивы береговъ:
При ослѣпительной лунѣ,
У рощи, гдѣ руины спятъ,
Гдѣ горные ключи журчатъ,
Трещатъ смолистые костры;
Кругомъ раскинуты ковры,
И чашъ серебряныхъ чеканъ
Блеститъ, и женщины, свой станъ
Спрямляя, медленно идутъ
По всѣмъ тропинкамъ и несутъ
Изъ темныхъ погребовъ своихъ
Кувшины и надъ головой
Красиво подпираютъ ихъ
Концами пальцевъ. Подъ горой,
Гдѣ гуще тѣнь, и круче скатъ,
Кой-гдѣ навстрѣчу къ нимъ спѣшатъ
И свѣтятъ факелы; и вотъ,
Островитянокъ хороводъ
Кругомъ обходитъ, и вино
Руками ихъ обнесено,—
И веселъ пиръ...
Часы бѣгутъ:
Одни кричатъ, другіе пьютъ...
Но, чу!.. за рощею—тимпанъ,
Гитары, бубны... хоръ поетъ,
Хоръ приближается... и вотъ,
Изъ-за басовъ, какъ бы смычокъ,
Волшебный, женскій голосокъ,
Стыдливо, робко, нѣжа слухъ,
Дрожитъ и тянется, и вдругъ
Могучій, страстный, молодой
Все покрываетъ:

«Милый мой!
Приди, приди!.. Луна зашла...
Приди! Мастику я зажгла!....»
И чуткія по берегамъ
Тѣснятся тѣни:—много тамъ
Поджатыхъ ногъ и покрывалъ,
И бѣлыхъ рукъ, и опахалъ,
И жемчуга, и янтарей,
И бляхъ серебряныхъ...
«Приди!..»
Трепещетъ въ воздухѣ, въ груди ..
Лишь дѣти шепчутся порой,
Припавъ усталой головой
Къ шальварамъ смуглыхъ матерей;
Лишь паликаръ, къ плечу своей
Красавицы лицо склоня,
Ей шепчетъ: полюби меня...
И страстной музыки полна,
Она дрожитъ, она блѣдна:—
«Ахъ! если хочешь быть любимъ...
Будь и въ любви неустрашимъ!...»
. . . . . .
Но этихъ шашней молодыхъ
Не замѣчаютъ старики
И ухмыляются; у нихъ
Въ губахъ дымятся чубуки,—
Имъ сладокъ мягкій ихъ дымокъ;
Любовь не тѣшитъ ихъ давно,
Милѣй имъ старое вино....
Такъ безмятежно островокъ
Проводитъ ночь...
Одинъ Стефанъ
Деспо, угрюмъ, быть можетъ, пьянъ,

Быть можетъ, горемъ обуянъ,
Далеко бродитъ.
Лишь одинъ
Монахъ Кириллъ, какъ сирота,
Въ тѣни развѣсистыхъ вершинъ,
У розмориннаго куста,
Стоитъ поодаль;—явно онъ
Видѣньемъ ночи пораженъ.
Ужели, мыслитъ келіотъ,
Ихъ Богъ за это проклянетъ!
Когда же женскій голосокъ
Запѣлъ «приди, приди!» Кириллъ
Невольно руки опустилъ,
Чуть не заплакалъ: онъ не могъ
Не вспомнить голоса своей
Сестры Олимпіи, и змѣй
Завистливый въ груди его
Зашевелился отъ того,
Что не забылъ онъ ничего
Изъ тѣхъ первоначальныхъ дней...
И тяжело вздыхаетъ онъ:
Да... это... это... не Аѳонъ!...

VIII.

Проходятъ мѣсяцы и дни,
И вотъ, какъ бы изъ колеи
Обычной выбитъ келіотъ;
Поздоровѣлъ онъ, сталъ смуглѣй,
И не чуждается людей,
И даже дружество ведетъ
Съ Стефаномъ Деспо; взглядъ его
Ужь не пугаетъ никого;

Но онъ ужасенъ всякій разъ,
Когда, не опуская глазъ,
Въ горахъ встрѣчаетъ онъ одну
Высокогрудую жену;
У ней въ глазахъ огонь и мгла,
У ней въ лицѣ горитъ заря,—
И, ничего не говоря,
Она какъ будто поняла,
Какую страсть таитъ монахъ:
Недаромъ на ея губахъ
Улыбка тонкая дрожитъ,
Когда, спокойная на видъ,
Она съ младенцемъ на груди
Проходитъ мимо.
Никому
Кириллъ не скажетъ, что ему
Еще все слышится: «приди,
Приди! Мастику я зажгла!..»
Но дума темная съ чела
Его не сходитъ, и въ глазахъ
Порой мелькаетъ тотъ же страхъ,
И снова, тяжело дыша,
Уходитъ онъ, какъ бы спѣша,
Куда-то въ горы, можетъ быть,
Чтобъ кровь свою угомонить,
Чтобъ рѣзкій воздухъ высоты
Угомонилъ его мечты.

IX.

И недовѣрчивый народъ
Сталъ наблюдать, сталъ толковать,
Зачѣмъ аѳонскій келіотъ,
Такой на видъ святой, ведетъ

Такую дружбу съ тѣмъ, кто пьетъ,
Буянитъ и мутитъ народъ,—
Съ Стефаномъ Деспо?—Отчего
Онъ вѣчно съ нимъ иль у него?!
И слухъ идетъ, что по ночамъ
У Деспо въ домѣ слышенъ гамъ
И дикій хохотъ, словно тамъ
Себѣ гнѣздо нечистый свилъ.
Неужели отецъ Кириллъ
Свое призванье позабылъ?

X.

Среди семейной тишины,
Полуденныхъ жаровъ, ночей,
Попоекъ, ссоры безъ войны,
Съ борьбой безъ тысячи смертей,
Не уживались клефты;—имъ
Пороховой былъ нуженъ дымъ,
Какъ пища, какъ вино, какъ сонъ,
Какъ праздникъ; иначе они
Страдали скукой:—сплетни женъ
Ихъ развлекали; были дни,
Когда они изобрѣтать
Готовы были всякій вздоръ,
Чтобъ осуждать, подозрѣвать,
Хитрить, судить и долгій споръ
Вести о томъ, кто правъ, кто нѣтъ...
(Таковъ и нашъ хваленый свѣтъ!..)

. . . . . .

Но вдругъ все встрепенулось, вдругъ
По островку пронесся слухъ,
Какъ нѣкій благодатный громъ,

Въ засуху брызнувшій дождемъ.
Откуда слухъ, и кто занесъ
Его на островъ? Сей вопросъ
Забытъ, не нуженъ, потому
Что всѣ повѣрили ему,
И, восторгаясь, говорятъ:
—Вы слышали?.. Ты слышалъ, братъ?...
Уже Адріанополь взятъ,
Балканы пройдены, Стамбулъ
Дрожитъ и русскихъ въ гости ждетъ...
Такъ иногда событій гулъ
Изъ одного въ другой народъ,
Какъ электричество, течетъ
И шевелитъ сердца.
—Чамбулъ!
Опять военный кличъ,—опять
Спѣшатъ корабликъ снаряжать.
Пестритъ народомъ Чумный валъ:—
Чугунъ, и пушки, и кули
Везутъ и тащатъ, и металлъ
Блеститъ на солнцѣ, и съ земли
На палубу проведены
Подмостки, и засмолены
Бока фелукъ и корабля.
Такъ съ моремъ сходится земля,
Съ войною—миръ, и такъ порой
Душа расходится съ душой:
Женихъ съ невѣстой молодой,
Съ дѣтьми—родитель, мужъ—съ женой.

XI.

То былъ воинственный порывъ,
И клефты выбрали вождя;
И, всѣхъ на сходку пригласивъ,
Вождь сталъ имъ говорить:—Судя
По всѣмъ событіямъ, должны
Мы всѣ теперь желать войны,
Но мы покуда подождемъ.
—Не нужно ждать... чего тутъ ждать!
Вскричалъ Деспо и сталъ ворчать.
—Молчи, Деспо, коли не пьянъ!
Но улыбнулся капитанъ
И продолжалъ:—мы подождемъ,
Переговоры заведемъ
И будемъ дѣйствовать не врозь...
Авось, зашевелится Критъ,
Авось, аѳинскій сибаритъ,
Чтобъ послѣ плакать не пришлось,
Пришлетъ намъ золота,—авось,
Могучій, православный царь
Въ Софіи древній нашъ алтарь
Велитъ къ веснѣ возстановить
И тамъ молебенъ отслужить
За то, что Богъ благословилъ
Не распроклятую луну,
А крестоносную войну,—
И въ насъ надежды поселилъ:
Такъ, если свалится Султанъ,
Для православныхъ христіанъ,
Для эллиновъ и для славянъ,
Начнется мудрость только тамъ,

Гдѣ мудрости священный храмъ
Принадлежитъ и имъ, и намъ.
Такъ говорилъ онъ, и въ глазахъ,
На всемъ лицѣ его въ рубцахъ,
Сквозь синеву пороховыхъ
Обжоговъ и бровей сѣдыхъ,
Сквозила хитрость: онъ, какъ грекъ,
Былъ прозорливый человѣкъ,
Зналъ Каподистрія, Райко *),
Подъ знаменами ихъ стяжалъ
Извѣстность, видѣлъ далеко...
(Не видѣлъ то, что̀ близко)—зналъ,
Что рискъ опасенъ, и мечталъ
Архипелагъ и всѣ суда
Пиратовъ (имъ же нѣтъ числа)
Сперва сплотить и ужь тогда
Идти грозой,—но не въ Босфоръ,—
Къ ущельямъ Македонскихъ горъ,
На Оссу и на Салоники.—Да,
Да, говорилъ онъ, вотъ куда
Должны мы двинуться! Сто разъ
Промѣримъ, чтобъ отрѣзать. Вотъ
Что я хотѣлъ сказать.
Народъ
Поспорилъ съ нимъ и, разойдясь,
Сталъ выжидать.

XII.

Стефанъ Деспо, ты, какъ на грѣхъ,
Остался съ носомъ: больше всѣхъ
Ты жаждалъ битвы, каждый день
Одолѣвалъ свою ты лѣнь,

*) Русскій, сражавшійся за Грецію. — О немъ упоминается въ романѣ «Дешевый городъ».

Ходилъ на пристань, не рычалъ,
Не спорилъ, только обнажалъ
Свой плотный торсъ, чтобъ какъ-нибудь
Изъ мѣди вылитую грудь
Дыханьемъ моря освѣжить;
Ты на спинѣ кули таскалъ,
Какъ Геркулесъ, ты помогалъ
Родной корабликъ снарядить;
Ты думалъ, ты мечталъ, въ бою
Не нынче, завтра, можетъ быть,
Не подвигъ, чудо совершить
И тѣмъ покончить жизнь свою.
И вдругъ—отсрочка! Для чего?
И ты хотѣлъ поднять народъ;
Но ты не взбунтовалъ его,
Напротивъ, твой бранчивый ротъ
Замазали насмѣшкой; ты,
Палимый местью и стыдомъ,
Ушелъ домой, залить виномъ
Отважныя свои мечты,
Свое презрѣнье, злость на всѣхъ,
Тоску и—тотъ ужасный грѣхъ,
Который Богомъ не прощенъ
И смертными не отомщенъ.
И мыслишь ты, что на Аѳонъ
Тебѣ дорогу заградилъ
Самъ Богъ, что бѣдный келіотъ,
На-что̀ былъ чистъ и святъ, и тотъ
Своимъ разсказомъ остудилъ
Твои стремленья. Ты узналъ,
Что и подвижники грѣшатъ,
И что вездѣ грозитъ намъ адъ;
Что, тѣло бренное сваливъ,

Ты не уйдешь, братъ, отъ него,
Какъ и отъ тѣла своего
Ты не уйдешь, пока ты живъ.
Что жь остается? Все забыть,
Все истребить и пить, пить, пить.
Спасибо, бѣдный келіотъ,
Какъ братъ, какъ другъ, не отстаетъ,
И самъ твердитъ, что онъ съ тобой
Навѣки связанъ той рукой,
Которая толкаетъ въ адъ.

XIII.

Стефанъ Деспо подъ утро спитъ.
Кириллъ проснулся. Тусклый видъ
Стеклянныхъ чашъ и видъ стола
Въ монахѣ совѣсть шевелитъ:
Вчера забыться онъ хотѣлъ
И слушалъ брань, и мясо ѣлъ,
И много пилъ.
Но ужь давно
Въ душѣ имъ было рѣшено,
Что онъ погибъ; что не волна,
Не вѣтеръ грозный,—сатана
Воздвигъ гоненье на него
И моремъ перенесъ его
Туда, гдѣ торжествуетъ плоть,
Гдѣ не найдетъ его Господь
И не услышитъ.
И влекло
Его отчаянье на зло.
Но страшно страсти разнуздать
Тому, кто ихъ привыкъ держать

Всю жизнь въ тяжелыхъ кандалахъ;
Ужасно, своротивъ съ пути,
Одолѣвать то стыдъ, то страхъ,
И въ сѣти къ женщинамъ идти
И биться въ ихъ сѣтяхъ.
Теперь,
Ожесточенный, онъ глядѣлъ
На занавѣшенную дверь
И молча думалъ:
Буду смѣлъ,
Достану ключъ и поутру,
Когда уйдетъ онъ, отопру
Сію пещеру, сей подвалъ,
Съ какой-то щелью между скалъ.
Что́ за бѣда, что мой Степанъ—
Заклятый врагъ магометанъ,
Покинулъ тамъ и заморилъ
Ту плоть, которую любилъ,
Ту плоть, что́ въ образѣ жены
Была орудьемъ сатаны.
Воображаю, какъ она,
Лицомъ бѣла, душой черна,
Всѣмъ тѣломъ ластилась къ нему,
До боли цѣловалась съ нимъ;
И такъ онъ страстно былъ любимъ,
Такъ счастливъ былъ, что эту тьму
Грѣховную за рай небесъ
Не уступилъ бы никому...
И каково попуталъ бѣсъ!
Теперь за дверью слышитъ онъ
То женскіе шаги, то стонъ,
То нѣжный плачъ.
Безумецъ онъ!

И слушалъ, ждалъ и—ничего!
Когда-то не боялся онъ
Проклятой красоты,—и вотъ,
Боится, что къ нему войдетъ
Мертвецъ проклятый! а чего
Его бояться!!
Можетъ быть,
Смердящій духъ его спасетъ
Меня отъ сладострастныхъ сновъ,
Отъ сладкозвучныхъ голосовъ,
Чтó, напѣвая про любовь,
Мнѣ день и ночь волнуютъ кровь...
—Спасетъ, спасетъ!... Кого спасать?...
Ужь поздно!... Стоило начать,
Чтобъ въ адъ, на все махнувъ рукой,
Идти дорогою прямой....
Уже корабликъ снаряженъ,
И уплывутъ мужья безъ женъ,
И другъ мой Деспо уплыветъ....
Онъ мнѣ оставитъ этотъ гротъ....

XIV.

Свѣтъ утра проникалъ едва
Въ ту горницу, гдѣ голова
Кирилла въ стѣну уперлась,
И безъ скуфьи, на этотъ разъ
Косматилась, какъ грива льва;
Чернѣясь, до полу висѣлъ
Конецъ накидки; въ полумглѣ
Мелькали четки на столѣ;
На грязной лавкѣ чуть желтѣлъ

Босой ноги его носокъ;
Еще Стефанъ Деспо храпѣлъ;
Но келіотъ уже не могъ
Забыться сномъ; онъ цѣлый часъ
Не могъ отвесть тяжелыхъ глазъ
Отъ этой двери, что́ ведетъ
Въ заповѣдной, проклятый гротъ.
При тусклыхъ сумеркахъ утра,
Глядѣлъ онъ на узоръ ковра,
На щель, на петли, на замо́къ,
Какъ будто тамъ, за дверью той,
Былъ кто-то близкій и родной,
И хоть грѣшна была мечта,
Похолодѣвшія уста
Порой шептали: Спасе мой!...
Порой неясной головой
Дерзалъ онъ мыслить,—задавалъ
Вопросы,—Бога искушалъ
И инстинктивно прозрѣвалъ
Въ мытарствахъ жизни путь иной.
И весь онъ вздрагивалъ порой,
Какъ будто палецъ ледяной
Вдоль по спинѣ его блуждалъ.
Вдругъ...
Что́ это?
Кириллъ привсталъ
Отъ ужаса.... и сердце въ немъ
Вдругъ замерло, и волоса,—
Какъ будто вѣщимъ вѣтеркомъ
На нихъ повѣяла гроза,—
Зашевелились.
Въ томъ углу,
Гдѣ щели двери запертой

Ковромъ прикрыты, на полу
Стоитъ турчанка:
Красотой
Недвижной, темной и нѣмой.
Мерцаетъ ликъ ея; рука
У золотого пояска,
Въ крови и пятнахъ (искусалъ
Ее не голодъ ли, въ тотъ часъ,
Когда ея разсудокъ гасъ,
И пламень жизни догоралъ
Въ разбитомъ сердцѣ, какъ елей
Въ забытой лампѣ), и темна
Ея коса; еще темнѣй
Ея рѣсницы; мракъ очей—
Невыразимый; взоръ открытъ;
Въ немъ точкой огненной сквозитъ
Безсмертье....
Въ ужасѣ глядитъ
Кириллъ, и видитъ: рядомъ съ ней,
Еще стройнѣй, еще блѣднѣй,
Другая шевелится тѣнь,
И томной полунаготой
Мелькаетъ, какъ передъ зарей
На горизонтѣ смутный день,
Или, вѣрнѣй, какъ лунный свѣтъ—
На бѣломъ мраморѣ.
Глядитъ
Кириллъ и думаетъ, что спитъ
И видитъ страшный сонъ; но нѣтъ,
Не спитъ онъ и не страшный сонъ
Онъ видитъ.
Та, которой онъ
Не могъ помочь, не смѣлъ помочь,

Въ ту сокрушительную ночь,
Когда царилъ надъ нимъ Аѳонъ,—
Та дѣвочка, которой онъ
Въ залогъ спасенья далъ цвѣтокъ,
Изъ-за которой проклятъ онъ,
Которой онъ забыть не могъ,—
Опять стоитъ, какъ бы въ-очью,
И также наготу свою
Прикрыла рванымъ рукавомъ
Рубашки, также босикомъ,
Съ царапиною на одномъ
Колѣнѣ....
Но зачѣмъ она
Ему предстала не одна?
Зачѣмъ съ турчанкою вдвоемъ?!
И мысли путаются въ немъ...
И хочетъ онъ спросить: зачѣмъ?
Но блѣденъ, недвижимъ и нѣмъ,
Онъ на турчанку смотритъ, ждетъ,
И чудится ему, вотъ-вотъ,
Она сейчасъ произнесетъ
Имъ ожидаемый упрекъ.
Грознѣе стала темнота
Ея очей, ея зрачекъ
Сталъ ярче, алыя уста
Полураскрытыя хотятъ
Заговорить,—они дрожатъ,
Какъ будто вѣчную печать
Молчанья силятся сломать....
Какъ вдругъ, все спуталось: черты
Ея восточной красоты,
Рука и поясъ золотой
Потускли, и мохнатый край

Ковра (каймы его узоръ)
Сталъ виденъ за ея спиной,
Какъ за туманомъ....
И свой взоръ
Кириллъ невольно перенесъ
На образъ дѣвушки.... Видалъ
Бѣсовъ онъ.... но подобныхъ грезъ
Ему еще не снилось.
Въ немъ
Проснулась жажда заклинать
Видѣнье Господомъ Христомъ,
Хоть что-нибудь ему сказать...
И слышится ему: «прости,
Жди примиренья на пути
Къ Аѳону». . . . . .
Тщетно напрягалъ
Онъ слухъ свой: голосъ прозвучалъ,
Какъ бы въ пустынѣ, и заглохъ,
Какъ вѣтра мимолетный вздохъ.
Таинственныя звѣзды глазъ
Потухли, тихо поднялась
Она, и руку подняла
И, какъ прозрачный дымъ, ушла.
Куда? въ какія страны?! но
Кто будетъ спрашивать?...

XV.

Въ окно
Уже сіялъ горячій день,
Оконной занавѣски тѣнь
Ужь колыхалась на полу,

А онъ—онъ все еще въ углу
Сидѣлъ и думалъ.
Вѣрилъ онъ,
Что это былъ не бредъ, не сонъ,
И даже не игра бѣсовъ,
Не дьявольское навожденье; да,
Онъ вѣрилъ, ибо никогда
Ни отъ кого не слышалъ онъ
Обычныхъ намъ ученыхъ словъ:
«Галлюцинація», «законъ
Оптическій», «рефлексы».... Онъ
И не повѣрилъ бы уму,
Такъ этотъ умъ былъ въ немъ забитъ,
Запутанъ, сдавленъ, не развитъ,
Направленъ съ дѣтства на одну
И ту же мысль—спасать свою
Трудолюбивую семью,
Спасать свой домъ, свою страну,
Сей вѣчно подневольный край;
И если неоткуда ждать
Спасенья,—все забыть, бѣжать,
Спастись отъ духа злобы,—въ рай
Уйти изъ ада жизни; да,
Уйти безъ слезъ и безъ слѣда,
Какъ узникъ подъ эгидой тьмы
Уходитъ изъ своей тюрьмы
Въ непроходимые лѣса,
Куда одни лишь небеса,
Заглядывая, кажутъ путь;
Въ тотъ край, гдѣ можно отдохнуть
Отъ рабства, грабежа, цѣпей
И отъ неправедныхъ судей....
Его знобило.... выступалъ

Холодный потъ; онъ не страдалъ,
Онъ только силился понять
Все то, что́ силились сказать
Ему два духа, эти два
Живыхъ когда-то существа,—
Двухъ вѣръ, двухъ націй, двухъ племенъ,
Отъ фанатизма христіанъ
(Такихъ, какъ Деспо и какъ онъ)
Погибшихъ, и, увы, для нихъ
Прекрасныхъ, близкихъ, дорогихъ...
. . . . . .
Жужжали осы, жукъ гудѣлъ,
А Деспо все еще храпѣлъ;
Былъ и во снѣ свирѣпъ лицомъ,—
Весь потный, съ сжатымъ кулакомъ,
И спящій, онъ глядѣлъ бойцомъ.
Но, чу! шаги... идутъ, кричатъ,
Колотятъ въ дверь:
— Вставай, Стефанъ!
Тебя зоветъ нашъ капитанъ.
Да не съ тобой ли келіотъ?
Онъ и его къ себѣ зоветъ.
— Кто тамъ? кричитъ Деспо,—сейчасъ!
И туша съ лавки поднялась.

XVI.

Идетъ и думаетъ Стефанъ:
А! понимаю, капитанъ
Сердитъ и дать мнѣ нагоняй
Намѣренъ,—дескать, негодяй,

Какъ смѣешь ты шумѣть, орать,
Мою политику ругать,
И какъ дерзаешь ты, свинья,
Прохожимъ кукиши казать?
На это что̀ отвѣчу я?
На это что̀ ему скажу?
Да ничего. Пойду, напьюсь,
И набуяню, докажу,
Что никого я не боюсь
И никого не уважаю. Нѣтъ!..
Постой!.. Я дамъ ему совѣтъ,
Скажу ему: положимъ, я
Такой-сякой, буянъ, свинья,
Но терпѣливъ ты, такъ сказать,
Благоразуменъ, любишь ждать—
И подожди теперь... Когда
Объявленъ будетъ намъ походъ,
Тогда ты можешь безъ суда,
Безъ всякихъ, такъ сказать, хлопотъ,
Меня повѣсить;... а теперь
Ты подожди!.. я вольный звѣрь,
Я птица вольная,—скорѣй
Себя позволю изрубить,
Чѣмъ покориться и не пить...
И тяжело ступалъ Стефанъ
Межъ сѣрыхъ камней, по травѣ,
И у Стефана въ головѣ
Съ похмелья былъ еще туманъ.
А солнце ярко и тепло
Сіяло; моря длинный валъ,
Крутясь, дробился, какъ кристаллъ,
Иль какъ зеленое стекло;
Кой-гдѣ лиловыя отъ скалъ

Ложились тѣни по пути,
Гдѣ въ рытвинахъ могли расти
Алоэ, кинамонъ, шалфей,
Кусты колючихъ дикихъ розъ,
И даже бусы для дѣтей
Изъ Богородицыныхъ слезъ.
За Деспо слѣдомъ шелъ Кириллъ;
Онъ былъ задумчиво унылъ,
Зачѣмъ зовутъ его—не зналъ,
Не спрашивалъ, не унывалъ,
Не волновался... весь онъ былъ
Своимъ видѣньемъ поглощенъ:
Боялся смыслъ его понять,
Боялся Бога вопрошать...
Да придетъ царствіе Его!
Да будетъ въ мірѣ власть Его!..

XVII.

Вождь клефтовъ грузно отдыхалъ,
Полусидѣлъ, полулежалъ
На шкурѣ барса, на полу;
То въ мѣдный тазикъ выбивалъ
Изъ трубки сѣрую золу,
То усъ поглаживалъ сѣдой
Лѣнивой, жесткою рукой
Съ отбитымъ пальцемъ; тишина
Была кругомъ; но не темна
Была пещера, виденъ былъ
Въ углу старинный образокъ
(Съ мечемъ Архангелъ Михаилъ),
Въ другомъ углу мучной мѣшокъ,
Пила, походный котелокъ,

А вдоль стѣны, какъ серебро,
Стволы мелькали, для вина
Стояли кубки, для пшена
Посуда, словомъ, все добро—
Добыча жизни боевой
Была видна ему, дѣльцу,
Политику и храбрецу.
И хвалится онъ простотой,
И не усатый часовой
Съ ружьемъ и саблею кривой
Сидитъ у входа въ гротъ—одна
Старуха; можетъ быть, она
Была подругой и рабой
Вождю, въ дни славы молодой,
И бережетъ его покой
Въ дни устарѣвшей славы; но,
Что́ бъ ни было, она давно
Сидитъ у входа. Кто идетъ,
Всѣхъ окликаетъ,—и прядетъ,
Сѣдой кивая головой.
Но вотъ, она съ своей скамьи
Привстала,—какъ щитомъ, рукой
Прикрыла слабые свои
Глаза и—струсила:
Стефанъ
Деспо, какъ нѣкій великанъ,
Шелъ съ пистолетами, съ лицомъ
Свирѣпымъ, а за нимъ Кириллъ
Зловѣщей тѣнью подходилъ,
Чернобородый, съ блѣднымъ ртомъ,
Въ измятой рясѣ, босикомъ...
- Что́ за фигура? Эка страсть!—
Старуха перестала прясть,

Отбросила веретено
И побѣжала доложить.
— «Ага! разбойники! Давно
Я поджидаю ихъ—впустить!»
И усмѣхнулся капитанъ.

XVIII.

Пыхтя, вошелъ къ нему Стефанъ,
И келіотъ ему поклонъ
Отвѣсилъ низкій, поясной,
Смиренный, но не подлый; онъ
Такъ безкорыстенъ былъ душой,
Что вслѣдъ за гибкою спиной
Не преклонялъ души своей.
И вотъ, привѣтствуя гостей,
Хозяинъ приказалъ имъ сѣсть,
Велѣлъ старухѣ имъ поднесть
По чаркѣ стараго вина
И подогрѣтаго пшена,
И даже меду съ имбиремъ,—
Поговорилъ о томъ, о семъ,
И наконецъ сказалъ:—Друзья!
Затѣялъ дѣло я одно;
Но тайны требуетъ оно,
Ума, терпѣнья. Долго я
Соображалъ, кого бъ избрать
На подвигъ сей, кого бъ послать,
Кто не обманетъ ни меня,
Ни Бога, ни честной народъ;
Кто не боится ничего,
Ни бурь, ни ядеръ, и пойдетъ

Одинъ на чорта самого,
И порѣшилъ, что ты таковъ,
Стефанъ Деспо.
Деспо расцвѣлъ.
Кириллъ очнулся.
— Наливай,
Стефанъ; не церемонься, братъ...
И ты, отецъ Кириллъ, вкушай,
Что́ Богъ послалъ.
Я очень радъ,
Что ты въ горахъ покинулъ скитъ,
Тамъ по ночамъ зѣло знобитъ,
И если къ Богу ближе, то
Не очень... можетъ быть, верста—
Другая—что́ за высота!..
Но я хотѣлъ сказать не то,
А вотъ что... Ты, отецъ Кириллъ,
Должно быть, Богу угодилъ,
И если бреннымъ тѣломъ хилъ,
То духомъ бодръ: недаромъ мнѣ
Приснился сонъ, и мнѣ во снѣ
Какой-то царь (хозяинъ вралъ,
Онъ сна такого не видалъ),
Какой-то царь повелѣвалъ,
Чтобъ я послалъ тебя, Кириллъ,
Въ святыя горы, на Аѳонъ,
И чтобъ ты Деспо проводилъ.

И поднялъ голову Кириллъ,—
Всѣмъ тѣломъ встрепенулся онъ.
— Меня! онъ вскрикнулъ—на Аѳонъ!
Въ святыя горы! для чего!?
И онъ едва не досказалъ
Въ порывѣ сердца своего,

Какъ изъ Аѳона онъ бѣжалъ
И, вѣроятно, проклятъ, но
Подумалъ:—то, что́ рѣшено
На небесахъ, перерѣшать
Не мнѣ...
И началъ развивать
Хозяинъ мысль свою, сказалъ,
Что русскій духъ и русскій штыкъ
Такъ далеко на югъ проникъ,
Что всюду, гдѣ поруганъ Крестъ,
Гдѣ Оттоманскою ордой
На церковь наложенъ арестъ,
Гдѣ христіанскою слезой
И кровью каждый уголокъ
Земли пропитанъ,—весь Востокъ,
Все христіанство поднялось,
Что вѣра подавила страхъ,
И страхъ исчезъ,—что даже тамъ,
Въ Аѳонѣ, на святыхъ горахъ,
По скитамъ и монастырямъ,
Опять броженье началось,—
Какъ бы отъ Бога пронеслось
Дыханье бурное,—что вѣсть
Къ нему дошла, что тысячъ шесть
Монаховъ (больше, если счесть)
Готовы на врага возстать,
Что если порохъ имъ послать
Да ружья, то такая рать
Могла бы смѣло помогать
И Грекамъ и Славянамъ,—и
Отважныхъ клефтовъ корабли.
Въ одинъ соединившись флотъ,
Къ веснѣ на помощь къ нимъ пойдутъ,

Кавалу приступомъ возьмутъ,
Солунь... Морею... но должны
Монахи знать, что до весны
Имъ это слѣдуетъ скрывать,
И что расчетъ вѣрнѣй меча.
«Нѣтъ, мечъ вѣрнѣе», сгоряча
Подумалъ Деспо, но смолчалъ.
Неукротимый сей нахалъ
И пьяница уже внималъ
Почтительно и, положивъ
Одну ладонь себѣ на грудь,
Былъ, какъ послушникъ, молчаливъ,
И, какъ ребенокъ, радъ былъ въ путь
Опасный ринуться; ужь онъ
Узналъ, что моремъ на Аѳонъ
Доставить порохъ долженъ онъ,
Остаться тамъ недѣли три
И обойти монастыри...
Но ни храбрецъ Деспо Стефанъ,
Ни велемудрый капитанъ,
Мечтая о такой войнѣ,
Ни разу не были въ странѣ,
Гдѣ аскетизма духъ царитъ.
Кириллъ объ этомъ лучше зналъ,
Но вѣрилъ въ чудо и молчалъ.

XIX.

И вотъ, Деспо почти не пьетъ,
Забылъ свой домъ, чуть не живетъ
На пристани; то, подбочась,
Сердито смотритъ, какъ смолятъ,
Чернятъ, скрѣпляютъ и снастятъ

Готовый для него барказъ,
Двухъ-парусный, почти гребной,
Турецкой кровью политой.
То онъ съ матросами сидитъ
На палубѣ, какъ удалой
Пиратъ, и хрипло говоритъ:
— Какой-то вѣтеръ Богъ намъ дастъ?
Не слишкомъ ли тяжелъ балластъ?
Какъ лучше обойти имъ рифъ,
И какъ высокъ морской приливъ?
Онъ явно въ духѣ: всякій разъ
Трунитъ, когда Кириллъ, трудясь
До поту, тощій и босой,
Своею сгорбленной спиной
Таскаетъ тяжести.
Едва ль
Кто понимаетъ, какъ ему,
Кириллу, жаль, что никому
Не нуженъ онъ, какъ страшно жаль
Ему разстаться съ островкомъ.
Печаль его была не та ль
Когда-то юная печаль,
Когда впервые отчій домъ
Онъ покидалъ?
Иль онъ не тотъ
Отшельникъ, юный келіотъ?
Неужели ему сталъ милъ
Архипелага уголокъ,
Гдѣ онъ никакъ найти не могъ
Чего искалъ: утраты силъ—
Уединенья.
Да, Кириллъ
Уже не тотъ; онъ полюбилъ

Скалистый островъ, этихъ горъ
Зубчатыхъ каменный узоръ,
Пещеры, дворики, сады,
Тропинки отъ дверей къ дверямъ,
И даже—даже тѣ слѣды,
Которые ведутъ къ ключамъ
Каскадистымъ, куда порой
Островитянки за водой
Идутъ съ кувшинами. Великъ
Былъ первый искусъ; но привыкъ
Онъ каждый день встрѣчать черты
Здоровой женской красоты
И даже думать, что она
На радость Богомъ создана.

XX.

Готовъ барказъ, и настаетъ
Канунъ отплытья. Келіотъ
Голодный, чтобъ тоску унять,
Идетъ по острову блуждать,
И странно: каждому цвѣтку,
Пугливой птичкѣ, мотыльку,
Извилистому ручейку,
Травѣ и камешкамъ,—всему,
Всему онъ, какъ ребенокъ, радъ!
Какъ жаденъ слухъ, какъ жаденъ взглядъ,—
Какъ дивно все! Цвѣтокъ ему
Киваетъ,—шепчется ручей,
И птичка издали въ кустахъ
Ему поетъ: сюда, скорѣй
Сюда, сюда бѣги, монахъ!
И мотылекъ,—какъ будто ждетъ,

Чтобъ онъ поймалъ его,—раскрылъ
Два лепестка двухъ чудныхъ крылъ,
Пурпурныхъ, съ крупной бирюзой,
Съ жемчужинами и каймой,
Прилипъ къ цвѣтку, самъ сталъ цвѣткомъ,
И убаюканъ вѣтеркомъ.
Вѣдь это все уже не разъ
Видалъ Кириллъ, зачѣмъ же онъ
Ни разу не былъ такъ влюбленъ
Въ природу?
Но, всему дивясь,
Всѣмъ наслаждаясь, келіотъ
Какъ будто смутно сознаетъ,
Что для него недостаетъ
Чего-то... но чего же ждать?—
Чего?!. и хочется рыдать...
Какъ мальчикъ—трогателенъ онъ.
Какъ взрослый—жалокъ и смѣшонъ.
Но кто идетъ? Ужель она.
Та чародѣйка, та жена,
Которой онъ встрѣчать не могъ
Безъ трепета, чей темный взоръ
И яркій, огненный зрачекъ,
Изъ-подъ густыхъ рѣсницъ, въ упоръ
Глядитъ въ глаза ему, и въ немъ
Читаетъ все, что́ онъ таитъ,
Томимый страхомъ и стыдомъ,
И съ нимъ улыбкой говоритъ,
Какъ будто дразнитъ.
Боже мой!
Куда она въ тѣни сырой,
Между оврагомъ и скалой,
Несетъ ребенка въ пеленахъ,

И, не сводя съ него очей,
Его колышетъ на своей
Груди, какъ любящая мать?
Пошелъ навстрѣчу ей Кириллъ
И тихо съ ней заговорилъ:
— Дай мнѣ ребенка подержать.
Красавица не поняла,
Зачѣмъ ему ребенокъ! Страхъ,
Что онъ вампиръ, а не монахъ,
Вдругъ промелькнулъ у ней въ очахъ;
Вся поблѣднѣвъ, она плотнѣй
Къ груди разстегнутой своей
Прижала сонное дитя,
Его прикрыла рукавомъ,
И стала въ полуоборотъ,
И смотритъ исподлобья, ждетъ,
Что́ будетъ...
— Ѣду я, прощай,
Сказалъ Кириллъ.—Дай испытать,
Что́ значитъ на рукахъ держать
Дитя... Чего боишься? Знай,
Тебя любить не смѣлъ я, но
Ребенка твоего давно
Люблю...
— Его ты любишь? да?!..
Перекрести его.
И вотъ,
Согбенный, блѣдный келіотъ
Перекрестилъ его.
— Куда
Ты уѣзжаешь?
— На Аѳонъ.
Ей стало стыдно, что монахъ

Вампиромъ показался ей
(Злымъ мертвецомъ, что́ у дѣтей
Высасываетъ кровь), и страхъ
Уже смѣшонъ ей сталъ,—и вотъ,
Она, смѣясь, передаетъ
Ему съ рукъ на руки дитя.
И, умиленный, смотритъ онъ,
Свои рѣсницы опустя,
На безмятежный дѣтскій сонъ,
На нѣжную округлость щекъ,
На пальчики, что́ въ кулачекъ
Сгибались...
И его глаза
Увлажились, и, осѣня
Рѣсницу, крупная слеза
Повисла.
— Такъ-то и меня
Когда-то, бѣдный, бѣдный мой
Отецъ держалъ, и,—можетъ быть,
Мечталъ о внукахъ!...
И косясь
На близость женщины,—стыдясь
Волненья страстнаго, боясь
Дитя лобзаньемъ разбудить,
Или обжечь слезой своей,
Его назадъ онъ отдалъ ей.
Подкашивались у него
Колѣна, и въ ушахъ былъ звонъ,
И голова кружилась,—онъ
Упасть боялся.
Ничего
Красавица не поняла,
И, равнодушная, взяла

Назадъ дитя свое, и съ нимъ
Простилась.
Скоро за крутымъ
Оврагомъ, въ рощицѣ, она
Исчезла, какъ видѣнье сна,
Какъ чудный призракъ.
Цѣлый часъ
На томъ же мѣстѣ онъ стоялъ,
Быть можетъ, сердцемъ догоралъ,
Какъ мученикъ,—и тихо гасъ.

XXI.

Деспо, безъ лоцмана рѣшась
Неповоротливый барказъ
Сберечь отъ вѣроломныхъ скалъ,
Благополучно миновалъ
Подводный рифъ и распустилъ
Два паруса, какъ два крыла,
И въ часъ, когда заря и мгла
Уже сливались, уходилъ
Съ попутнымъ вѣтромъ на просторъ,
На сѣверъ отъ родимыхъ горъ,
Которыхъ высь надъ бездной водъ
Туманилъ неба темный сводъ.
Съ нимъ были—вѣрный келіотъ,
Два юнги, человѣкъ пять-шесть
Матросовъ, чтобъ въ затишье гресть,
Чтобъ въ шквалъ иль бурю закрѣплять
Канаты, воду отливать,
И наконецъ, на случай, ботъ
Стоялъ на палубѣ.
Стефанъ,

Какъ самовластный капитанъ,
Ведетъ себя; онъ сознаетъ,
Что тѣсенъ трюмъ, не высока
Каюта, что съ собой везетъ
Онъ пуль ружейныхъ два мѣшка,
Два ящика пороховыхъ,
И, чтобъ сберечь отъ искры ихъ,
Онъ въ вѣтеръ пересталъ курить.
Онъ даже запретилъ варить
Похлебку,—сухари жуетъ;
Но что́ за дѣло до того,
Тощъ или сытъ мамонъ его,
Когда и такъ не мало думъ
Наводитъ волнъ знакомый шумъ,
Скрипъ мачты, мутныхъ облаковъ
Густыя пятна, моряковъ
Воинственныя пѣсни.
— Нѣтъ,
Въ отвѣтъ Кириллу онъ хрипитъ,—
Вотъ, мнѣ ужь скоро сорокъ лѣтъ,
А все еще душа болитъ,
А все еще не унялась
Въ душѣ возня; вотъ почему
Я такъ изнѣжился, такой
Сталъ непотребною овцой,
Что даже у себя въ дому,
Вернувшись къ ночи, не избилъ,
Не изругалъ тебя, Кириллъ,
За то, что ты послѣдній мой,
Послѣдній мой кувшинъ разбилъ
И розлилъ все мое вино...
Усталъ я, мнѣ хотѣлось пить,—
А ты?!

— И мнѣ хотѣлось, но
Твою Зюлейку видѣлъ я...
Такъ ясно видѣлъ, какъ тебя
Сію минуту вижу.
— О!..
Ты видѣлъ!..
— Бога призову
Въ свидѣтели, что наяву
Она явилась мнѣ. Ты спалъ,
Во снѣ метался и стоналъ,
А я завидовалъ тебѣ.
Твоей погибельной судьбѣ
Завидовалъ и проклиналъ...
Ты жилъ, любилъ, ты счастье зналъ,—
Я не жилъ, не любилъ, спасалъ
Себя отъ жизни, и не могъ
Спастись отъ жизни! Видитъ Богъ,
Какъ я боролся!.. Помню, дрогъ
Я въ это утро: плоть моя
Была въ огнѣ... тоска-змѣя
Сосала сердце мнѣ—и вотъ,
Я сталъ мечтать: когда въ походъ
Уйдешь ты, и съ тобой уйдетъ
Женатый молодой народъ,
Я заберусь въ твой тайный гротъ,
И тамъ, въ угоду сатанѣ
И грѣшной плоти, можетъ быть,
Лукавый бѣсъ поможетъ мнѣ
Разставить сѣти, соблазнить
Кого-нибудь, и такъ же скрыть
Свой блудъ, какъ ты его скрывалъ
За темной дверью между скалъ,—
Какъ вдругъ, у двери встала *та*,

Которую сгубилъ ты. О!
Какъ я наказанъ! Красота
Явилась мнѣ не для того,
Чтобъ соблазнить меня, она
Была строга и холодна,
И выражали мнѣ укоръ
Ея уста, и жгучій взоръ
Меня какъ бы насквозь пронзалъ,
Какъ бы язвилъ и упрекалъ.
Я млѣлъ отъ ужаса. Куда
Дѣвались грѣшныя мечты
При видѣ этой красоты!
И стало стыдно мнѣ, когда
Очнулся я.... и, брате мой!
Съ тѣхъ поръ, мнѣ думалось порой,
Что дружество мое съ тобой
Грѣшнѣе, чѣмъ ея любовь.
При ней ты не пилъ, а со мной
Сталъ винной бочкою, и вновь
Твоей душою овладѣлъ
Духъ злобы...
Молча поглядѣлъ
Деспо въ глаза ему, но взглядъ
Былъ страшенъ (совы такъ глядятъ,
Не ночью, днемъ, когда хотятъ
Понять, кто потревожить смѣлъ
Покой ихъ); онъ не захотѣлъ
Разспрашивать, онъ отвернулъ
Лицо свое и сталъ глядѣть
Туда, гдѣ смутно проглянулъ
Край неба, и мелькнула сѣть
Созвѣздій; но не о звѣздахъ
Онъ думалъ, онъ не видѣлъ ихъ,

Былъ вѣщій страхъ въ его глазахъ,
Слегка прищуренныхъ и злыхъ.
Ему казалось, пронеслась
Душа *ея* среди ночныхъ
Тѣней, и на его барказъ
Шла вмѣстѣ съ темною волной,
И вѣтеръ мокрою косой
Трепалъ, и бѣлою фатой
То обвивалъ ее кругомъ,
То рвалъ на клочья, и въ ночномъ
Дыханьи, точно огонекъ
Фосфорный, звѣздочки серегъ
И кольца на ея рукахъ
Дрожали и сверкали—ахъ!
Деспо и разглядѣть не могъ
Того, чтó видѣлъ, то была
Фантазія, то былъ хаосъ
Воспоминаній, страсти, зла,
Тоски, отчаянья и слезъ.

XXII.

Нѣтъ бури, но валы встаютъ
И морщатся *), и бьютъ въ бока
Барказа; низко облака,
Сплываясь, по вѣтру плывутъ,
И дождь несутъ они, и нѣтъ
Дождя ни капли, солнца свѣтъ
Вдали серебрянымъ пятномъ

*) Въ сильную бурю морскіе валы сглаживаются, а не морщатся, какъ это бываетъ въ сильный вѣтеръ.

Блуждаетъ, тускнетъ, и опять
Вездѣ, гдѣ пѣны не видать,
Даль моря кажется свинцомъ,
Такимъ же какъ и небеса.
Нѣтъ бури, только паруса
Надулись: кажется, вотъ-вотъ
Сейчасъ ихъ вѣтеръ оборветъ,
Иль судно бортомъ зачерпнетъ...
Деспо спѣшитъ забыться сномъ,
Уходитъ; но не мало рукъ
Цѣпляется за снасти; люкъ
Закрытъ, и топотня кругомъ.
У якоря стоитъ Кириллъ,
Простоволосый, босикомъ,
Перепоясанный ремнемъ,
И вдаль стремитъ свой взоръ: забылъ
Недавнее, возобновилъ
Забытое—и, скорби полнъ,
Онъ видитъ, какъ изъ темныхъ волнъ
Раскинутымъ шатромъ встаетъ
Одна гора, и узнаетъ
Онъ эту гору: то—Аѳонъ.
Недаромъ онъ челомъ поникъ:
Что ждетъ его на той горѣ?
Чѣмъ онъ отвѣтитъ за каикъ?
И бѣглеца въ монастырѣ
Простятъ ли? Избѣжитъ ли онъ
Анаѳемы или суда?
Онъ самъ останется ли тамъ,
Иль удалится навсегда
Въ несчастный край, къ роднымъ горамъ,
Въ свои Балканы, чтобъ учить
Дѣтей Болгарію любить

И за нее средь бурь и битвъ
Не забывать святыхъ молитвъ,
Учить, какъ ихъ училъ старикъ
Отецъ его?...
И келіотъ,
Увы! невольно сознаетъ,
Что въ мірѣ къ міру онъ привыкъ,
Груститъ и свѣтлую таитъ
Надежду, что Господь проститъ
Его, какъ нѣкогда простилъ
Онъ сына блуднаго, какъ Онъ
Простилъ разбойника. Но вотъ,
Тотъ мысъ, тотъ каменный Аѳонъ,
Клочкомъ тумана заслоненъ,
Какъ бы исчезъ.
И келіотъ,
Очнувшись, слышитъ за собой
Тревогу, слышитъ: рулевой
Какъ будто выбился изъ силъ;
Стефана кто-то разбудилъ,
И вновь командуетъ Стефанъ.
А тамъ, гдѣ золотымъ пятномъ
Лучъ солнца свѣтитъ сквозь туманъ,
Онъ видитъ—по морю идетъ
Фрегатъ, дымясь, какъ пароходъ,
Фрегатъ турецкій паровой,
Военный, съ золотой луной
На флагѣ...
— Надо отступать,
Чтобъ этой встрѣчи избѣжать.
Ворчитъ Стефанъ, съ просонья злой.
— Враги не страшны намъ. Впередъ!
— Чтобъ ни было, не пропадемъ,

Сказалъ Кириллъ,—недаромъ вы,
Избравъ меня проводникомъ,
Нашили крестъ *); а подъ крестомъ
Аѳона, всюду мы пройдемъ,
И волосъ съ нашей головы
Безъ воли Божьей не спадетъ...
Что бъ ни было, впередъ, впередъ!

XXIII.

Барказъ замѣченъ былъ; фрегатъ
Пошелъ ему наперерѣзъ.
Паша былъ храбръ, но простоватъ.
Сэръ-Вальтеръ Брукъ промолвилъ:
— Yes!..
Чтобъ осторожно поступать,
Необходимо наблюдать.
Я вижу въ трубку—флагъ съ крестомъ.
Добавилъ онъ,—но это вздоръ...
Обманъ...
— Разбойники кругомъ,
Рѣшилъ паша, потупя взоръ.
Затѣмъ онъ приказалъ догнать
Барказъ и строго обыскать.
И сталъ сэръ-Вальтеръ разговоръ
Съ пашой спокойно продолжать:
— Yes! Я скажу вамъ напередъ,
Что Русь Стамбула не возьметъ,

*) Суда принадлежащія Аѳону носятъ черный крестъ на парусахъ или на флагѣ.

Мы не допустимъ.
— Было бъ грѣхъ
Вамъ допустить, сказалъ паша,
Вздохнулъ и допилъ, не спѣша,
Свой кофе.—Русскаго успѣхъ
Хлопотъ не мало причинитъ:
Возстанетъ Грецiя и Критъ
И даже Сербiя...
О! намъ,
Вздохнулъ сэръ-Вальтеръ,—долгъ велитъ
Спасать торговлю. Никогда
Россiя васъ не покоритъ
И никогда, благодаря
Британiи, капризъ Царя
Отъ ига не освободитъ
Ему сочувственныхъ славянъ,—
Сихъ допотопныхъ христiанъ
И неучей. Но вашъ расчетъ
Единственный, и напередъ
Вы знайте, что по временамъ
Должны вы мазать по губамъ
Народъ, чтó помогаетъ вамъ
Платить долги и, какъ господъ,
Васъ кормитъ.
— Да, народъ
Для насъ полезный... отвѣчалъ
Паша и закурилъ кальянъ.

XXIV.

Баркасъ напрасно поднималъ
Всѣ паруса, лавировалъ
(И тѣмъ себя изобличалъ).

Напрасно самъ Деспо Стефанъ
Рулемъ ворочалъ и рычалъ;
Напрасно клефты налегли
На весла, чтобъ идти назадъ,
Ихъ вѣтеръ и валы несли
Впередъ, на вражескій фрегатъ.
И, бросивъ руль, Стефанъ сказалъ:
— Ну, нѣтъ,—я обыскать не дамъ
Баркаса, чортъ возьми! я самъ...
Попробуй взять меня! начну
Стрѣлять, или пойду ко дну,
Или взорвусь.
И, подбочась,
Шагаетъ онъ,—прищурилъ глазъ,
И смотритъ, какъ идетъ фрегатъ.
Какъ, отъ фрегата отдѣлясь,
За ними гичка погналась;
Вотъ откачнулося назадъ
Двѣнадцать фесокъ, поднялось
Двѣнадцать веселъ,—гички носъ
Приподнялся и, опустясь,
Прорѣзалъ пѣну; вотъ стволы
Ружейные, перекосясь,
Мелькаютъ ближе всякій разъ,
Когда на сизые валы
Взлетаетъ гичка.
— Надо васъ
Немного осадить, сказалъ
Стефанъ, и рѣзко закричалъ:—
Пали! пали! и первый самъ
Спустилъ курокъ, и по волнамъ
Ружейный закрутился дымъ,
Но, прежде чѣмъ другой патронъ

Былъ скусанъ, дымъ былъ унесенъ
Порывомъ вѣтра.
Недвижимъ
Подъ мачтою стоялъ Кириллъ
И улыбался.

XXV.

Не видать,
Чтобъ выстрѣлы кого-нибудь
Задѣли въ голову и грудь,
Но гичка стала отставать
И, потерявши два весла,
Казалось, никуда не шла.
Должно быть, струсили гребцы.
И по-турецки сталъ кричать
Стефанъ Деспо:—Гей! молодцы!
Ловите весла; я мѣшать
Не стану вамъ, да не стрѣлять!
Не подступать!
И кулакомъ
Грозиться началъ онъ, суля
Имъ новый залпъ.
Вдругъ дыму комъ
Взвился надъ бортомъ корабля,—
Раздался выстрѣлъ, и картечь
Рванула воздухъ.—О, чтобъ васъ,
Треклятыхъ дьяволовъ!... но рѣчь
Деспо невольно порвалась.
Онъ гордо оглянулся,—цѣлъ
Былъ экипажъ, и келіотъ
Еще стоялъ съ минуту; но
Вдругъ поблѣднѣлъ, какъ полотно.

И покачнулся, точно спать
Вдругъ захотѣлъ онъ, и прилегъ
У мачты: судорожный вздохъ
Сталъ тяжело приподнимать
Животъ и грудь его, но страхъ
Лица его не исказилъ;
Съ улыбкой странной на губахъ
Лежалъ онъ на сырыхъ доскахъ.
И за руку его схватилъ
Стефанъ, въ лицо ему глядитъ,
Зоветъ его: очнись, Кириллъ!
И видитъ,—бѣдный келіотъ
Не нановалъ еще убитъ;
Но смерть на ликъ его кладетъ
Свою печать,—не умеръ онъ,
Но черезъ пять минутъ умретъ;
И мнится, сквозь предсмертный сонъ,
Съ причастьемъ чашу видитъ онъ,
И имя Дѣвы и Христа
Лепечутъ блѣдныя уста.

XXVI.

Деспо себя ударилъ въ грудь,
И молвилъ: въ тотъ же *долгій путь*
И я отправлюсь за тобой,
Единственный пріятель мой!
И, прослезившись, созвалъ онъ
Матросовъ:
— Видите фрегатъ,
Сказалъ онъ,—этотъ супостатъ
Сильнѣе насъ вооруженъ,
Онъ захватить насъ будетъ радъ.

И насъ задушатъ, какъ щенятъ.
Но слушайте... и знайте, я—
(Тутъ Деспо сдѣлалъ знакъ рукой,
Отлично понятый толпой)
Но слушайте и—знайте, я
Одинъ хочу сцѣпиться съ нимъ...
Итакъ, спасайтеся, друзья,
Садитесь въ лодку,—и засимъ
Прощайте!... Вотъ мошна моя,
Мое оружье, сухари,—
Все, все берите. До зари
Вы проберетесь на Аѳонъ;
Скажите тамъ, что нашъ отецъ
Кириллъ страдальческій вѣнецъ
Пріялъ отъ мусульманъ...
Что я...
Что жизнь окончена моя,
Что эта жизнь была грѣшна;
Но тотъ, кто душу отдаетъ
За братьевъ, тотъ ее спасетъ.
Авось, Аѳонъ произнесетъ
Съ молитвой наши имена,
И панихиду отпоетъ.
И, молча, клефты обнялись
Съ Стефаномъ Деспо (не нашлись,
Чтó отвѣчать), не безъ труда
Спустили ботикъ, и когда
Они за весла принялись
И стали удаляться, онъ
Поставилъ парусъ свой ребромъ,
И, круто повернувъ рулемъ,
Сталъ плыть къ фрегату.
Съ двухъ сторонъ

Къ нему сплывались гички и
Готовили багры свои,
Чтобъ захватить его въ полонъ.

XXVII.

На ютъ фрегата собрался
Весь экипажъ, и самъ паша
Былъ радъ, что дерзкій отдался
И самъ плыветъ къ нему, спѣша
На собственную казнь; и вотъ,
Баркасъ къ фрегату пристаетъ,
Какъ вдругъ Деспо исчезъ...
И вдругъ
Все опрокинуто... сэръ Брукъ,
Паша, кожухъ, скамьи—треща
Сломилась мачта,—трепеща
Взвились на воздухъ паруса,
И грянулъ взрывъ, ужасный взрывъ,
Двухъ ящиковъ пороховыхъ,
И дымъ, какъ туча, поднялся,
И потемнѣли небеса,
И—волны щепками покрывъ,
Исчезъ баркасъ. Гдѣ келіотъ?
Гдѣ Деспо? Нѣтъ ихъ. Бездна водъ
Ихъ незамѣтно приняла,
И уже за версту несетъ
Ихъ искаженныя тѣла.

XXVIII.

Зари вечерней изъ-за тучъ
Не видно; но румяный лучъ

Ея сталъ по небу блуждать,
И море начало стихать,
И стала зыбь ровнѣй дышать,
Круглясь, какъ грудь океанидъ,
И, какъ, стальной, сверкая, щитъ.
Матросы Деспо спасены,
Гребутъ и, медленно съ волны
На новую переходя,
Плывутъ и крестятся; имъ жаль
Ихъ безшабашнаго вождя,
Жаль келіота, и печаль
Туманитъ лица ихъ; но взглядъ,
Невольно брошенный назадъ,
Когда гулъ взрыва ихъ потрясъ,
Утѣшилъ ихъ—погибъ баркасъ:
Погибъ ихъ вождь, за то фрегатъ
Стоялъ накренясь; явно, онъ
Обезображенъ былъ, лишенъ
Возможности сейчасъ же плыть,
Ихъ догонять и въ нихъ палить
Картечью... Не было межъ нихъ
Рѣчей (на умъ не шли слова);
И сердце клефтовъ молодыхъ,
Конечно, не безъ торжества
Когда-нибудь заговоритъ
И далеко распространитъ
Молву о томъ, какъ угостилъ
Стефанъ Деспо враговъ своихъ,
Какъ надорвалъ онъ судно ихъ,
А можетъ быть, и потопилъ.
Какъ онъ пожертвовалъ собой,
И какъ безстрашенъ былъ Кириллъ...
«Но... кто же... кто же не герой!»

Мечтаютъ клефты, «да и врагъ
Не позабудетъ никогда,
Что значитъ въ греческихъ водахъ
Архипелагскія суда
Ловить и грабить».
Ночь сошла
На нихъ, какъ Божья благодать,
И звѣзды стали имъ мигать,
И стали моряки гадать,
Куда грести имъ; можетъ быть,
Инымъ изъ нихъ не въ первый разъ
Случалось въ морѣ находить
Свой путь при свѣтѣ этихъ глазъ
Безчисленныхъ, которыхъ взглядъ
Неугасимъ, глубоко святъ,
Безстрастенъ и невозмутимъ.
При этихъ трепетныхъ звѣздахъ,
Подобно пчеламъ золотымъ
Разсыпавшимся въ небесахъ,
Недаромъ чудилося имъ,
Что къ нимъ навстрѣчу шлетъ Аѳонъ
Своихъ святыхъ, и тихій звонъ,
Пустынной вѣя тишиной,
Какъ бы проносится порой
Надъ святогорскою волной...

1877 апрѣля 6-го.

Эпилогъ.

I.

Почти полвѣка минуло съ тѣхъ поръ,
И что̀ же?—Давняя, кровавая борьба
Креста Спасителя съ луною Магомета
Опять волнуетъ міръ, становится вчерашней,
Сегодняшней и завтрашней борьбой!
Опять идетъ рѣзня забитыхъ христіанъ;
И Македонья, и Ѳессалья стонутъ,
И не хотятъ рабами быть славяне,
И съ осени до осени стоитъ
Надъ ихъ землею зарево пожаровъ
И дымъ погрома. Снова по слѣдамъ
Своихъ отцовъ и дѣдовъ мы несемъ
Свою хоругвь къ ущелистымъ Балканамъ,
И за Дунаемъ слышенъ грохотъ пушекъ
И стоны раненыхъ.—Побѣда или смерть!
Исхода нѣтъ.—Крестовые походы
Еще не кончены, и рыцари Креста,
Средь торгашей, льстецовъ и лицемѣровъ,
Еще не вымерли. Мы Средніе Вѣка
Переживаемъ, льется наша кровь...
На сценѣ міра братья наши, дѣти...
Знакомые... на нихъ глядитъ Европа
Холодная, разсчетливая, злая...
Одна Россія рукоплещетъ имъ
И прославляетъ ихъ презрѣнье къ смерти,

Ихъ юное геройство. Мы одни
Оплакиваемъ трупы ихъ, когда
Баши-бузукъ надъ ними жадно тѣшитъ
Свой звѣрскій нравъ иль мщенье. Боже!
Когда же наконецъ враждѣ и фанатизму,
Невѣжеству и варварству народовъ
Положишь ты предѣлъ!.. Когда исчезнетъ рознь
Религій, расъ, племенъ, идей и націй,
И всепревозмогающею станетъ
Одна святая сила: истина!...

II.

Что будетъ,
Не намъ рѣшать, —
Но музыка войны
Сильнѣе, громче музыки стиховъ,
Послѣдній слухъ изъ-за Дуная сталъ
Дороже риѳмъ. Мечту превозмогла
Дѣйствительность. Фантазія, молчи!

. . . . . .

9 августа, 1877.

Мими.

Разсказъ въ двухъ частяхъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

—

I.

Разъ, въ Москвѣ, въ семьѣ простой,
Доброй, но не развитой,
Не богатой, не бонтонной,
Нехотя обремененной
Разныхъ возрастовъ дѣтьми,
Вдругъ не стало гувернантки,
Всѣми прозванной «*Мими*».
Говорили на Таганкѣ,
Что на праздникахъ, въ морозъ,
Ночью бѣсъ ее унесъ:
Подскакали чьи-то санки,
Кто-то свиснулъ и—исчезъ...
Ловкій былъ, должно быть, бѣсъ!
Няньки дѣтямъ толковали,
Какъ опасно безъ креста
Выходить за ворота;
Дѣти плакали, скучали

И (таковъ былъ духъ семьи)
Ночью крестики свои
Потихоньку цѣловали.
Старшій сынъ въ семьѣ, кадетъ,
Отрокъ рослый и цвѣтущій,
Ужь экзамены сдающій
Наканунѣ эполетъ,
До того сраженъ былъ, бѣдный,
Что въ родительскомъ дому
Не повѣрилъ никому;
Цѣлый день, угрюмый, блѣдный,
Ничего не пилъ, не ѣлъ,
Думалъ: вѣрно, отказали!
Вслухъ роптать еще не смѣлъ—
И подъ утро заболѣлъ.

Долго думали, искали,
Всѣхъ знакомыхъ обошли,
Гувернантки не нашли.

Вдругъ, въ какой-то перебранкѣ
Съ горничной, кухарка вслухъ
Вспомнила о гувернанткѣ,
И—пошла писать... И вдругъ,
Къ довершенію скандала,
Разгласилось, что Мими
Не всегда спала съ дѣтьми;
Что Мими не разъ вставала
Въ полночь, шубку надѣвала,
Шалью кутала лицо,
И украдкой убѣгала
Черезъ заднее крыльцо;
Что Мими, не разъ случалось,

Пропадала до утра,
Запыхавшись, возвращалась,
И прозябнувъ, со двора,
Робко пальчикомъ стучалась
Къ сонной горничной въ окно.
И куда потомъ дѣвалась
Маска, шаль и домино —
Этого никто не вѣдалъ.
Отъ такихъ вѣстей пришелъ
Въ ужасъ, даже не обѣдалъ,
Старый, добрый хлѣбосолъ,
Милыхъ дѣтушекъ родитель.
— Господи! не покарай!
Наказалъ меня святитель,
Чудотворецъ Николай!...
— Я ль тебѣ не говорила,
Что ты выжилъ изъ ума,
Мужу старому твердила
Милыхъ дѣтушекъ мама:—
Я ль тебѣ не намекала,
Что Мими—кокетка, дрянь...
Я ли...
— Матушка! отстань!...
— Я ли не подозрѣвала,
Что она давно хитритъ:
Дѣвочекъ избаловала,
Сыну голову кружитъ.
Оттого, что у мамзели
Глазки ласково глядѣли,
Оттого, что-де мила,
Да что личикомъ бѣла,
Да что ножки въ два мизинца,
Ты ни разу безъ гостинца

Не вернулся изъ гостей,
Все вертѣлся передъ ней.
А?! не стыдно, грѣховодникъ!
— Господи! Святой угодникъ!
Пощади...
— Намедни въ елку
Кто ей платье подарилъ?
Ты, голубчикъ. Что же толку!
Развѣ ты ей угодилъ?
Развѣ твой подарокъ милъ?
Вѣдь она, дружокъ, съ собою
Даже тряпки не взяла,
Въ чемъ была, такъ и ушла.
— Съ эдакой-то красотою
Да коли попуталъ грѣхъ...
Что ты будешь дѣлать! Эхъ!
Охалъ старецъ на кровати.—
А скажу тебѣ я кстати,
(Или я тебѣ сказалъ?)
Что онъ статскій генералъ.
— Кто?
— Отецъ ея несчастный.
Вѣришь ли, въ какой ужасной
Нищетѣ они живутъ,
Пятеро дѣтей—не мрутъ!
Пятеро дѣтей—все дочки.
— Ты ихъ въ домъ къ себѣ возьми;
Чай, такіе жь все цвѣточки,
Какъ и глупая Мими...

II.

Говорили на Таганкѣ,
Что исчезнувшей бѣглянки
Отыскался вольный слѣдъ;
Слухъ прошелъ по всѣмъ бульварамъ,
Что баронъ Кульгофъ недаромъ
Кинулъ все, жену и свѣтъ,
Сталъ и въ клубѣ незамѣтенъ,
И дуракъ!—боится сплетенъ.
Говорили, что баронъ,
Будто бы, совсѣмъ потерянъ
И прокучивать намѣренъ
Свой послѣдній милліонъ.
Что онъ слишкомъ легковѣренъ,
Маскарадныхъ бросилъ дамъ
И влюбленъ не по лѣтамъ.
Что онъ въ Питерѣ, на пасхѣ,
Въ щегольской своей коляскѣ
Магазины объѣзжалъ,
Бриллiанты покупалъ,
И что съ нимъ ужь не цыганка,
Не изъ цирка иностранка,
А какая-то Мими,
Та, что въ траурѣ глубокомъ,
Все ходила по урокамъ
Или няньчилась съ дѣтьми;
Та красавица Мими,
У которой есть примѣта,
Свѣтло-пепельнаго цвѣта
Вьющіеся волоса —

Самородная коса!
Очень длинныя рѣсницы,
Въ синихъ глазкахъ огонекъ,
Какъ у сказочной царицы,
И, при этомъ, голосокъ
То звучитъ, то замираетъ,
Такъ, что за сердце хватаетъ
(Какъ тутъ сердце уберечь!),
И, при этомъ, узкихъ плечъ
Полнота бѣлѣе пѣны,
Словомъ—прелести сирены!
Такъ, что будь я Одиссей,
Не заткнулъ бы я ушей,
Или будь я хоть барономъ,
Да еще и съ милліономъ,
Точно такъ же, съ ней самъ-другъ,
Улетѣлъ бы я на югъ,
Въ тотъ предѣлъ, *гдѣ море плещетъ,*
Гдѣ луна теплѣе блещетъ.

III.

Подъ горой, у Вшивой горки,
Отдается для жилья
Ветхій домикъ, три каморки,
Грязный дворикъ и—подпорки
Для веревокъ и бѣлья.
Тутъ и лѣшій жить не станетъ!
И, однакожъ, домикъ занятъ.
Вотъ уже девятый годъ
Въ этой улицѣ кабацкой,
Въ этомъ домикѣ живетъ

Генералъ—конечно статскій,
Онъ въ отставкѣ, подъ судомъ,
И кругомъ его—содомъ.
Не легко ему на свѣтѣ,
Съ нимъ живутъ жена и дѣти,
Только нѣтъ одной Мими—
Ужь давно и глазъ не кажетъ.
Гдѣ Мими? отецъ не скажетъ,
Или скажетъ, что Мими
У одной своей подруги,
Или говоритъ: на югѣ
Занимается съ дѣтьми,
Или брякнетъ: Чортъ возьми!
Гдѣ, да гдѣ? почемъ я знаю;
Писемъ я не получаю!
Или думаетъ: она
Ищетъ доли неминучей,
Не поможетъ глупый случай—
Такъ поможетъ сатана.

IV.

А Мими уже пары
По желѣзу унесли
На рубежъ чужой земли,
Съ тѣмъ, чтобъ въ лѣтніе жары
Не видать ей никого
Кромѣ моря, да *его*.

Солнце камни разожгло,
Солнце высушило садъ,
И, пылая, отошло
На безоблачный закатъ.

Вилла окнами блеститъ,
На горѣ она стоитъ;
Угловой ея балконъ
Сѣрымъ мраморомъ мощенъ,
А узоръ его перилъ
Плющъ гирляндами повилъ.

Камень началъ простывать,
И фасадъ полосовать
Стали тѣни отъ колоннъ;
Снизу, издали, балконъ
Темнымъ кажется пятномъ.
За растворенным окномъ,
Въ клѣткѣ, дремлетъ какаду:
Соловей запѣлъ въ саду.
Наконецъ, спадаетъ жаръ,
Въ тёмныхъ листьяхъ тишина,
Слышно, какъ поетъ комаръ,
Какъ вдали поетъ волна.

На балконѣ самоваръ
Вышибаетъ бѣлый паръ.
На балконѣ ли не рай!
Отчего жь налитый чай
Стынетъ даромъ? отчего
На балконѣ—никого?
Вижу, комната одна
Въ драпировки убрана;
Дверь открыта на балконъ—
И заря въ окно глядитъ,
И румяный полусонъ
Въ этой комнатѣ царитъ.
Вотъ они—она и онъ,—
И Мими и сей баронъ,

Что, по мнѣнію Москвы,
Сталъ совсѣмъ безъ головы,
И Богъ знаетъ съ кѣмъ самъ-другъ
Полетѣлъ на жаркій югъ—
Виллу тамъ одну купилъ,
Триста тысячъ заплатилъ.

Но Мими, какъ будто, ждетъ,
Скоро ли баронъ уйдетъ,
Такъ какъ, нервами больной,
Онъ глотаетъ только ледъ,
Да шампанское съ водой.
Что жь онъ, молодъ или старъ?
Коли старъ, то—моложавъ,
Коли молодъ, то—поджаръ,
Темнолицъ и сухощавъ.
Кой-гдѣ даже сѣдина
Въ бородѣ его видна;
Но за то глаза—точь въ точь
Лихорадочная ночь:
Иногда они глядятъ,
Точно видѣть не хотятъ,
Иногда, въ борьбѣ съ враждой,
Загораются грозой,
Иногда, съ Мими вдвоемъ,
Кроткимъ свѣтятся огнемъ;
Знать, недаромъ нашъ баронъ
Былъ когда-то убѣжденъ,
Что глаза его—магнитъ.
Жаль, преданіе молчитъ
На вопросъ: откуда онъ?
Русскій, иль изъ далека:
Брови, впадины виска,

Длинный носъ и борода
Придаютъ его чертамъ
Тонкость, рѣзкость иногда,
И напомнить могутъ вамъ
Нѣмца, грека и жида.
И живетъ онъ круглый годъ
То въ Парижѣ, то въ Москвѣ.
То въ палатахъ на Невѣ,
То въ Карлсбадѣ воды пьетъ;
Любитъ роскошь и почетъ,
Любитъ волю и покой,
И, Богъ вѣдаетъ, къ какой
Націи принадлежитъ.

Вотъ, какъ истый сибаритъ,
На качающійся стулъ
Легъ онъ—голову загнулъ,
Дорогой сигары дымъ
Вьется змѣйкою надъ нимъ.
Онъ презрительно глядитъ,
Съ разстановкой говоритъ.

А Мими блѣдна и мнетъ,
То растянетъ, то совьетъ
Шелковистый локонъ свой,
Южнымъ зноемъ развитой.
Вотъ, по коврику прошла,
Вотъ, садится у стола,
На узорный уголокъ
Положила локотокъ,
Такъ, что смяла кружева
Распашного рукава.
Вотъ, въ глазахъ у ней тоска

Отразилась; но рука
Надъ глазами держитъ щитъ, —
Пестрый вѣеръ шевелитъ.

V.

БАРОНЪ.

. . . . . .

Я обманываемъ былъ
Няньками, опекуномъ,
Близкимъ дружескимъ кружкомъ,
Спекулянтами, слугой,
Наконецъ, моей родней,
Такъ, что съ дѣтства я привыкъ
Плутовство считать *за шикъ*,
За особенность людей
Поумнѣй, да половчѣй.
Самъ я ложью жилъ, пока
Жажда счастья и тоска
Вдругъ не овладѣли мной.
Заперся я, сталъ читать,
Съ новымъ старое мѣшать;
Байронъ для меня вдругъ сталъ
Свѣточемъ, такъ онъ совпалъ
Съ тѣмъ, что вынесъ я больной,
Развращенною душой;
Но я жизни не узналъ:
Честнаго я принималъ
За безчестнаго, дѣльца
За бездѣльника, глупца
За свѣтило по уму,
Подлеца за идеалъ

Честности, и потому
Спуталъ всѣ дѣла, игралъ
Роль ребенка, и когда
Что-нибудь предпринималъ —
Изъ полезнаго труда
Выходилъ безплодный бредъ
И не разъ другимъ во вредъ....
Видите ли, я вполнѣ
Раскрываюсь вамъ, не льщу
Я себѣ....

МИМИ.

Вы только мнѣ
Часто льстите....

БАРОНЪ.

Я ищу
Въ васъ того, чего ни въ комъ
Не нашелъ: души съ огнемъ,
Правоты.... Я все прощу,
Кромѣ лжи. И то сказать,
Я мѣняю жизнь мою
Съ тѣмъ ли, чтобъ отогрѣвать
На груди моей змѣю, —
Такъ же бредить и страдать!
Нѣтъ, предъ вами не таю
Я завѣта своего:
Вы для сердца моего —
Для меня — должны быть всѣмъ,
Или всѣмъ или ничѣмъ:
Неподкупною душой
Или купленной рабой.

МИМИ.

Не женою ли?

БАРОНЪ.

Ей-ей!
Ничего еще смѣшнѣй
Не сказали вы! Божусь,
Что въ мужья я не гожусь.
Я уже давно женатъ
На богатой, потому
Что и самъ-таки богатъ.
Знаете ли, почему
Я вдвойнѣ, втройнѣ рогатъ?
Потому, что говорятъ,
Праздность—роскоши сестра;
И у нихъ родной есть братъ,
Усладитель ихъ—развратъ;
Какъ могу я со двора
Гнать подобную родню?
Нѣтъ! по правдѣ, не виню
Я жены моей; она
Такъ на то и рождена....
Думаютъ: я ревновалъ;
Полагаютъ: былъ скандалъ—
Глупости! Къ чему, зачѣмъ
Намъ тревожить свѣтскій судъ?
И безъ насъ довольно темъ
Для романовъ и поэмъ...
Мы разъѣхались: я тутъ,
А она—въ столицѣ модъ
Дорогимъ цвѣткомъ цвѣтетъ.
И—что можетъ быть милѣй—

Говорятъ, въ нее влюбленъ,
То-есть, куры строитъ ей
Самъ Луи-Наполеонъ.
Для искусственныхъ цвѣтовъ
Особливый нуженъ вкусъ,
Я судить ихъ не берусь.

МИМИ.

А со мной наединѣ
Вы.... вы счастливы вполнѣ?
Или....

БАРОНЪ.

Сталъ подозрѣвать,
Что вамъ скучно; и какъ знать,
До чего васъ доведетъ
Жизнь безъ горя и заботъ?

МИМИ.

О, я счастлива, баронъ,
И боюсь, что это—сонъ.
Ну, какъ я опять проснусь
Въ душной дѣтской! Признаюсь:
Я бъ съ ума сошла. Однимъ
Недовольна я...

БАРОНЪ.

А чѣмъ
Недовольны вы?

МИМИ.

Увы!

«*Ты*» вчера, сегодня «*вы*» —
Что за странность?

БАРОНЪ.

А, смотря
По расположенью... да,
Это у меня всегда
Такъ выходитъ. Иногда,
Можетъ быть, благодаря
Сочетанью звѣздъ, я самъ
Сознаю, что мнѣ и вамъ
Многаго недостаетъ
У подошвы этихъ горъ,
И тогда мнѣ всякій вздоръ
Демонъ на ухо поетъ.

МИМИ.

Что же, напримѣръ?

БАРОНЪ.

А вотъ,
Что любовникъ я плохой,
И что вашей красотой
Черезчуръ ужь ослѣпленъ.
Что я, дѣтскою мечтой
Убаюкавши себя,
Радуюсь, что не любя
Вы ласкаете меня,
Точно вьючнаго коня,
Что вывозитъ изъ нужды,
Выручаетъ изъ бѣды,
Благо сила есть.

МИМИ.

Нѣтъ, нѣтъ,
Это—бредъ, обидный бредъ,
Вы больны...

БАРОНЪ.

Немного, да;
Но прощайте...

МИМИ.

Вы куда?
Погодите.

БАРОНЪ.

Въ кабинетъ:
Къ вашему отцу пакетъ
Приготовить, чтобъ послать
Завтра же...

МИМИ.

Къ чему спѣшить,
Не простившись уходить,
Даже не поцѣловать...

БАРОНЪ.

Буду ждать васъ, буду ждать! *(Уходитъ).*

МИМИ.

Онъ не золъ, но, признаюсь,
Тяжело мнѣ... И боюсь,
И скучаю...

Черезъ часъ,
Выходя къ ночнымъ звѣздамъ
На балконъ, Мими изъ глазъ
Слезку выронила; но
Увидала, что давно
Самоваръ ея погасъ.
Улетѣлъ послѣдній паръ:
«Подогрѣйте самоваръ!»

VI.

За теплицею въ саду
Есть пристройка, что къ пруду
Повернулась задней стѣнкой;
Въ прудъ, прозраченъ и кипучъ,
Изъ-подъ камня льется ключъ;
Онъ серебряною пѣнкой
Весь подернутъ и журчитъ,
И, журча, черезъ плотину,
Къ морю, въ синюю пучину
Внизъ по камешкамъ бѣжитъ.

Передъ окнами, нерѣдко,
Ходитъ аистъ, пѣтухи—
Или роется насѣдка
Въ кучахъ сора и трухи.
Въ десяти шагахъ отъ моря,
На скамейкѣ, съ сыномъ споря.
Старичекъ одинъ сидитъ
Длинноносый, рябоватый,
Плотный и сутуловатый;
И хоть носъ его поникъ,
И въ глазахъ недоумѣнье.

Несомнѣнно, что старикъ
Въ наилучшемъ настроеньи.
Сынъ пріѣхалъ изъ Москвы,
Парень не безъ головы,
Техникъ, кончившій ученье;
Статенъ, хоть и невысокъ;
Этотъ юноша, съ румянцемъ
По всему лицу (намекъ
На загаръ съ здоровымъ глянцемъ
Отъ жары и отъ воды).
Первой юности слѣды
Провели пушокъ надъ губой;
Голосъ звучный, но не грубый,
И усмѣшка на губахъ:
Дескать, такъ я остроуменъ,
Безпардонно вольнодуменъ
И разуменъ такъ, что страхъ!
У него въ рукѣ дубина,
Въ набалдашникѣ свинецъ.—
Имъ любуется отецъ:
Дескать, экой молодчина!

Море хлопаетъ волной,
Солнце празднуетъ побѣду
Надъ засохшею травой:
Тѣнь у нихъ надъ головой—
Оба заняты бесѣдой.

ОТЕЦЪ.

А ужь точно, что зимой
Съ января не такъ уютно.
Бури дуютъ поминутно;
Продуваетъ флигелекъ,

Плохо грѣетъ камелекъ,
И, повѣришь ли, съ дивана,
Лежа, слышишь по ночамъ—
Громъ, подобный голосамъ,
Ходитъ по морю, а рано
Утромъ слышишь—изъ тумана
Раздается чаекъ крикъ.
Ну, а все же я привыкъ,
Такъ привыкъ, мой другъ Алеха,
Что, ей-Богу, мнѣ не плохо.

СЫНЪ.

Ты никакъ ужь десять лѣтъ
Садоводомъ здѣсь.

ОТЕЦЪ.

Ну, нѣтъ;
Гдѣ же десять—девять. Впрочемъ,
Мы о многомъ не хлопочемъ:
Наше дѣло—парники
Съ ананасами, аллеи
Крытыя, да цвѣтники,
Да зимой оранжереи.
У меня, къ тому жь, на шеѣ
Двѣ дѣвчонки—какъ тутъ быть!
Надо какъ-нибудь кормить.

СЫНЪ.

Это—правда.

ОТЕЦЪ.

Да, къ тому же,
Лучше съ моремъ воевать,

Чѣмъ захлебываться въ лужѣ—
Мѣсто въ Питерѣ искать.
Здѣсь и прахъ жены моей
Недалеко, съѣздимъ къ ней.

СЫНЪ *(помолчавъ).*

Ну, а изъ числа звѣрей
Нашъ баронъ какой породы?
Левъ, который, ради моды,
Козерогомъ ходитъ? котъ
Человѣческаго роста
Въ панталонахъ? или просто
Образованный оселъ?

ОТЕЦЪ.

Экъ сравненіе нашелъ!... *(помолчавъ).*
Онъ упрашивалъ остаться—
Я сказалъ, что радъ стараться.
Говорятъ, баронъ не глупъ,
Только страненъ, нравъ неровенъ,
Нынче щедръ, а завтра скупъ,
То горячъ, то хладнокровенъ.

СЫНЪ.

Съ жиру бѣсится.

ОТЕЦЪ.

Молчишь—
Для чего не возражаешь:
Толковать начнешь—мѣшаешь!
Правду скажешь—огорчишь!
Лести—также не выноситъ;

Впрочемъ, вѣжливъ, точно садъ
Не его. Сначала спроситъ:
Нѣтъ ли къ завтраку гранатъ?
Нѣтъ ли вишенъ? Разъ упали
Рододендроны—свалилъ
Ночью вихорь—попросилъ,
Чтобъ ихъ крѣпче подвязали.
Только пожелалъ узнать,
Чьё назначено дежурство.

СЫНЪ.

Знаетъ какъ повелѣвать,
Несмотря на самодурство.

ОТЕЦЪ.

Экой, братъ, ты пустозвонъ!
Или у тебя въ карманѣ
Та же сила—милліонъ?

СЫНЪ.

Милліонъ пока въ туманѣ.

ОТЕЦЪ.

То-то! Будь же, другъ, уменъ:
Повстрѣчаешься въ саду съ нимъ—
Поклонись ему.

СЫНЪ.

Сойдусь съ нимъ—
Обнимусь, пожалуй.

ОТЕЦЪ.

Эхъ,
Милый! какъ тебѣ не грѣхъ!
Будто самъ не понимаешь?... *(помолчавъ).*
Ну, а если повстрѣчаешь,
Какъ-нибудь, въ саду, одну
Мирикризу—ну, жену—
Ну, пожалуй. содержанку—
Знай, голубчикъ, что баронъ
Безъ ума въ нее влюбленъ.

СЫНЪ.

Вотъ какъ! Значитъ, спозаранку,
Нынче, какъ я къ морю шелъ,
Я на милую набрелъ.
Думалъ—гордая царица;
Подхожу, гляжу—дѣвица
Въ распашонкѣ, въ башлыкѣ,
Съ бѣлымъ зонтикомъ въ рукѣ.
Молча я посторонился,
Даже чуть не поклонился.
Но она прошла, ей-ей!
Точно королева фей,
Безъ улыбки и безъ гнѣва,
Бросила холодный взглядъ,—
Впрочемъ, взглядъ довольно сонный
И немного удивленный:
Дескать, что за демократъ
Плохо чесаный?...

ОТЕЦЪ.

Ну, братъ,

И не думай! эта птица
Не про насъ...

СЫНЪ.

Коли приснится—
Чѣмъ я буду виноватъ!...

VII.

Какъ ни скрывалъ баронъ, гдѣ онъ,
Амурами пришитый къ юпкѣ,
Близъ Ниццы или близъ Алупки
Проводитъ дни—со всѣхъ сторонъ
По почтѣ шли къ нему посланья,
Отчеты, просьбы, пожеланья
Всѣхъ благъ, и даже восклицанья:
«Увы! баронъ! грозитъ взысканье!
Вы не спасете—я пропалъ!...»

Въ отвѣтъ ни строчки; но обидѣть
Онъ не боялся никого.
Къ тому жь, изволите ли видѣть,
Онъ былъ тогда безъ своего
Секретаря, который нанятъ
Былъ имъ нарочно для того,
Чтобъ перепиской былъ онъ занятъ.
Баронъ мой думалъ отдохнуть
На *лонѣ дѣвственной природы*.
Вдали отъ скучныхъ дѣлъ и моды
Хотѣлъ вступить на свѣтлый путь
Любви, усѣянный цвѣтами;
Не взвѣсилъ: выдержитъ ли грудь

Его, разбитая страстями,
Такую страсть, какую въ немъ
«Дѣвчонка» эта поселила.
И мой баронъ *поникъ челомъ:*
Любовь его не веселила,
Не обѣщала ничего,
Но наполняла дни его
Борьбой невѣрія и страсти.
Разочарованный сатрапъ
И гордый духомъ, онъ, какъ рабъ,
Какъ мальчикъ, тайно былъ во власти
Ея чарующихъ красотъ,
Не могъ онъ дать себѣ отчета,
Какая жалобная нота
Въ душѣ его звучитъ, поетъ,
Ему покоя не даетъ.
Онъ зналъ, какъ слѣдуетъ съ гризеткой
Ему вести себя, съ кокеткой
Великосвѣтской и пустой
И даже съ собственной женой;
Невольныя воспоминанья
Ему являли цѣлый рой
Красавицъ, полныхъ обаянья,
Которыхъ ласки покупать
Привыкъ онъ и привыкъ бросать,
Какъ франтъ, мѣняющій перчатки;
Онъ, какъ богачъ, былъ убѣжденъ,
Что граціи всѣхъ націй падки
Къ мѣшку, въ которомъ милліонъ:
Но страсть къ Мими дошла до боли:
Онъ трусилъ—опытный баронъ—
Не зналъ, какой держаться роли?

Не зналъ, любя, любимъ ли онъ,
Иль одураченъ и смѣшонъ?
То, что́ ребенокъ сердцемъ чуетъ,
На что́ вамъ нищій дастъ отвѣтъ,
Увы! мучительно волнуетъ,
Загадкой кажется тому,
Кто присмотрѣлся ко всему.

VIII.

Баронъ былъ убѣжденъ глубоко,
Что онъ нисколько не ревнивъ;
И все же ревности приливъ
Ему грозилъ: такъ, издалёка
Гонимый ураганомъ валъ,
Скатясь на грудь горючихъ скалъ,
Струится въ каменныя щели;
Такъ, пыль морозная мятели,
Обсыпавъ двери чердака,
Проходитъ въ скважину замка.
У всѣхъ людскихъ страстей начала
Стихійныя и—я ни мало
Не удивляюсь, что баронъ,
Когда въ аллеѣ встрѣтилъ онъ
Алешу, сына садовода
(Скорѣй красавца, чѣмъ урода),
Былъ непріятно пораженъ.
Пріѣзжаго тяжелымъ взглядомъ
Окинулъ онъ, спросилъ: кого
Вы ищете и для чего
Чужимъ проходите вы садомъ?
Алеша вспыхнулъ, картуза

Изношеннаго козырекъ
Потрогалъ, опустилъ глаза,
И отвѣчалъ насколько могъ
И вѣжливо, и сокращенно.
«Ба! Гайдуновъ!» сказалъ баронъ,
«Такъ, значитъ, вы»...
И постепенно
Весьма любезный принялъ тонъ.
Сказалъ, что если онъ захочетъ
Рекомендаціи, то онъ
Ему о мѣстѣ похлопочетъ,
Ибо со многими знакомъ...
Сказалъ, что жарко, но что жаромъ
Не тяготится онъ; потомъ
Нагнулся и своимъ хлыстомъ
Стегнулъ себя по шараварамъ
И сапогамъ, какъ будто сбилъ
Съ нихъ пыль; потомъ, проворно
Два пальца къ шляпѣ приложилъ
И головой качнулъ—
Неспорно
Вообразивъ, что одолжилъ
Онъ юношу своимъ вниманьемъ;
Баронъ съ какимъ-то состраданьемъ
Подумалъ: бѣденъ, не рѣчистъ,
Быть можетъ, даже нигилистъ.
Жаль, если такъ... а молодчина,
Не дуренъ; только для чего
Въ одной рукѣ его дубина,
Въ другой тетрадь? Пораскопать
Чтó въ немъ такое—не мѣшаетъ...
Иное племя... кто ихъ знаетъ!...

Родятся ни въ отца, ни въ мать,
Растутъ безъ корня...
Углубился
Онъ въ эту мысль; когда жь домой
Къ себѣ вернулся на покой—
Глаза раскрылъ, такъ удивился,
Когда узналъ, что и Мими
Его встрѣчала... Чортъ возьми!...

IX.

Въ верхней комнатѣ, съ балкономъ,
Съ растворенными дверьми,
На окошкѣ растворенномъ
Сидя, въ садъ глядитъ Мими
И бесѣдуетъ съ барономъ.

МИМИ.

Будь богата я, ей! ей!
На Руси и за границей
Я была бы вольной птицей.

БАРОНЪ.

Будь богата ты—скорѣй
Я бы въ птицу обратился,
Чѣмъ была бы ты моей!

МИМИ.

И поймалъ бы—и женился...

БАРОНЪ.

Такъ какъ я не соловей,
И не дроздъ, и не синица—
Для чего мнѣ въ жены птица?

МИМИ.

Для того, чтобъ запирать
Въ клѣточку...

БАРОНЪ.

Избави Боже!

МИМИ.

Не мѣшаетъ быть построже
И немножко ревновать.

БАРОНЪ.

Видно, я плохой Отелло;
Женщины мнѣ то и дѣло
Измѣняли.

МИМИ.

Не расчетъ
Ихъ мѣнять... Держи построже;
Будь ревнивъ, а то, на что же
Ты похожъ?

БАРОНЪ.

Я—Донъ-Кихотъ.

МИМИ.

Ну, а гдѣ же Дульцинея?

БАРОНЪ.

Тамъ, гдѣ нѣтъ меня.

МИМИ.

Въ Москвѣ,
Кажется, ихъ цѣлыхъ двѣ;
Третья, возлѣ Колизея
Въ Римѣ. Помнишь, говорилъ,
Изъ нея ты сдѣлалъ фею
Мраморную... и купилъ,
Чтобъ украсить галлерею.

БАРОНЪ.

«*Правда въ чувствѣ*»—такъ мою
Называютъ Дульцинею.

МИМИ.

О, такъ я её убью,
Эту правду! Если съ нею
Встрѣчусь—приревную къ ней...

БАРОНЪ.

Это ново...
И немножко
Перегнувшись за окошко,
Ножкой маленькой своей
На вѣсу Мими играла.

Точно съ умысломъ желала
Поддразнить барона. Но
И баронъ, сухую шею
Вытянувъ, глядѣлъ за нею
Въ растворенное окно,
Думалъ: вѣрно, тамъ проходитъ
Юноша красавчикъ—и
Духъ веселости наводитъ
На унылую Мими.
Вотъ, ужь три дня не скучаетъ;
Значитъ—дѣло есть. Добра,
Легкомысленна, хитра,
И дитя и—Афродита!

И на Афродиту онъ
Тяжело, какъ бы сквозь сонъ,
Сталъ глядѣть сперва сердито—
Съ изумленіемъ потомъ.
Какъ могла въ Москвѣ развиться
И расцвѣсть такимъ цвѣткомъ
Эта дѣвушка? и въ немъ
Стала гордость шевелиться,
Что владѣетъ онъ такой
Совершенной красотой.

X.

Вотъ, баронъ сигару вынулъ;
На качающійся стулъ
Сѣлъ и голову загнулъ;
Ногу на́ ногу закинулъ;

Помолчавъ, дымокъ пустилъ
И опять заговорилъ.

БАРОНЪ.

У меня, вонъ, есть пріятель,
Тотъ вообразилъ, что онъ
Даромъ пѣсенъ одаренъ—
И по-своему мечтатель.
Помнишь, Фо—инъ, господинъ
Полный, пожилой блондинъ,
Этотъ—вѣчный состязатель
На бѣгахъ, что прошлый годъ
Двухъ кобылъ привелъ на скачку,
И потомъ схватилъ горячку
Оттого, что не везетъ.
Помнишь, прошлою зимою
Волочился за тобою—
Лысый, глупое лицо,
И притомъ, острить охота.

МИМИ.

Помню, помню!...

БАРОНЪ.

Отъ него-то
Получилъ я письмецо,
И въ письмѣ стихотворенье
Собственнаго сочиненья!
Прочитай...
Мими взяла,
Улыбнулась простодушно,
И, какъ дѣвочка, послушно
Наклонилась, и прочла:

СТИХОТВОРЕНІЕ:

«Вѣкъ нашъ—вѣкъ дорогъ желѣзныхъ,
Придорожныхъ кабаковъ,
Изобрѣтеній полезныхъ,
Ружей, пушекъ и оковъ;
Вѣкъ нашъ—вѣкъ военной службы,
Вѣкъ, запачканный въ крови,
Создаетъ друзей безъ дружбы
И любовницъ безъ любви».

БАРОНЪ.

Хорошо ли?

МИМИ.

Очень мило!
Только жаль, одинъ куплетъ—
Я бъ еще распространила...

БАРОНЪ.

Ты согласна съ нимъ?

МИМИ.

Я?—Нѣтъ!
Нѣтъ, я не согласна... то-есть,
Я хочу сказать, что... все есть—
Есть и дружба, и любовь.

БАРОНЪ.

Вотъ оно, что значитъ кровь
Молодая! Покраснѣла...
Отъ чего бы тутъ краснѣть!

МИМИ.

От чего! Прошу покорно!
Развѣ можно такъ упорно
Прямо мнѣ въ глаза глядѣть?

XI.

Какъ жарко! и какъ сухъ шумъ листьевъ сонныхъ!
Чугунныя рѣшетки горячи:
Вонъ, на горѣ,—развалинъ обнаженныхъ
Отъ зелени, краснѣютъ кирпичи.
Внизу гранитъ—въ немъ гротъ и двѣ скамейки:
Надъ входомъ спутались и свѣсились плющи,
И ящерицы бѣгаютъ, какъ змѣйки.
Мими вошла отъ зноя въ этотъ гротъ.
Тамъ сумракъ; не пестрятъ лучи и тѣни.
Прохладой на нее тамъ дышитъ сѣрый сводъ,
Располагая къ отдыху и къ лѣни.
И на скамейку, къ выходу лицомъ,
Она легла, сложа крестъ-накрестъ ножки;
И хоть у ней въ душѣ, быть можетъ, кошки
Еще скреблись, но это ль помѣшать
Ей можетъ повѣсти Крестовскаго читать.
(Есть очень, очень милыя страницы!)
Уже давно часы пробили: пять.
Кругомъ тяжелъ былъ зной, и вотъ, сомкнувъ рѣсницы,
Мими задумалась и стала забывать,
Что безъ нея баронъ хоть и не будетъ кушать,
А все-таки, чтобъ долго не держать
Лакеевъ, въ шесть часовъ обѣдъ велитъ подать.
Ей было лѣнь глядѣть и лѣнь ей было слушать.
Вотъ, къ бѣлому плечу склонилась голова,

Коса повисла, изъ-подъ рукава
Рука откинулась и сгибъ свой обнажила;
Вотъ, вытянулась ножка... жаркимъ сномъ
Она забылась....
Вдругъ, ударилъ громъ —
Все съ гуломъ потряслось. Мими вскочила —
Глядитъ—крутится плющъ и пыль стоитъ столбомъ,
И точно желто-сѣрымъ полотномъ
Закрыла выходъ. О! какъ сердце въ ней забилось!
Хотѣла выбѣжать и—вдругъ остановилась.
Вихрь, налетѣвъ, пригнулъ деревья какъ ковыль,
И снова молніи струя прошла сквозь пыль,
И ослѣпленная ея внезапнымъ блескомъ,
И оглушенная ея могучимъ трескомъ,
Мими спѣшитъ назадъ. Темно у ней въ глазахъ:
Гдѣ, что и какъ? она не понимаетъ!
Ей кажется: земля дрожитъ и наступаетъ
Послѣдній часъ.
Вотъ, кто-то впопыхахъ
Влетѣлъ, мелькнулъ, какъ тѣнь, и не успѣлъ съ ней рядомъ
Сѣсть на скамью, какъ крупный ливень съ градомъ
Посыпался. Пузырясь, потекли
У выхода потоки, и съ земли
Сдирая дернъ, вода урчитъ, сверлитъ дорогу,
И слышится ей возгласъ: «Слава Богу!
Давно пора! великолѣпный день!»
Глядитъ—и рядомъ съ ней сидитъ уже не тѣнь,
А человѣкъ, тотъ юноша, который
Невзраченъ издали, когда походкой скорой
Шагаетъ, обходя излучистый заливъ,
За то вблизи такъ юнъ и такъ красивъ!!
Мими ужь знала все, чей сынъ онъ, какъ зовется,

И вотъ, теперь ей съ нимъ неловко такъ одной!
Она такъ рада, что—
Но, Боже мой!
Неужели знакомиться придется!
И что ему сказать?

АЛЕКСѢЙ.

Ужь извините,
Сударыня, мнѣ дождикъ ни по чемъ,
И я могу уйти.

МИМИ.

Не уходите:
Я такъ боюсь, что громъ меня убьетъ!

АЛЕКСѢЙ.

Да развѣ я громоотводъ?
Мое присутствіе едва ли васъ спасетъ.
А умереть вы не хотите?

МИМИ

А вы?

АЛЕКСѢЙ.

Я не хочу.... Еще надѣюсь быть
Полезнымъ, послужить...

МИМИ.

Кому?

АЛЕКСѢЙ.

Россіи—
Народу, разумѣется.

МИМИ.

Какіе
Смѣшные вы....
И несмотря на страхъ
Грозы, потопа и землетрясенья,
Мими подмѣтила въ его глазахъ
Веселости какой-то отраженье,
Спокойствіе ничѣмъ не возмущенныхъ силъ
И поняла, что нечего бояться.
Гроза внезапно стала удаляться.
Все посвѣтлѣло. Вѣтеръ уносилъ
Сырую тучу. Весело сбѣгали
Въ пучину, унося песокъ съ земли,
Ручьи, которые недавно бушевали.
И громъ гудѣлъ уже вдали
Надъ сизымъ моремъ.
Стало такъ пріятно,
Такъ сладостно свѣжо, такъ ароматно
Повѣяло отъ вспрыснутыхъ дождемъ
И солнечнымъ обласканныхъ лучемъ
Пахучихъ листьевъ грецкаго орѣха,
Что выбѣжать бы въ садъ.... но лужа—вотъ помѣха—
Какъ тутъ пройти съ такимъ хвостомъ?
Поднять его Мими стыдилась;
Къ тому же ей вообразилось,
Что этотъ юноша, любуясь наготой
Ея лилейныхъ плечъ, любуется очами
Ея лазурными, и этою косой,

Что спину ей щекочетъ завитками.
Нельзя же въ созерцаньи отказать!
И говоритъ она, чтобъ что-нибудь сказать:

МИМИ.

Я также жить хочу.... и я полезна

АЛЕКСѢЙ.

Какъ статуя, которая ушла
Изъ храма, гдѣ она богинею слыла.

МИМИ.

Ну, это черезчуръ уже любезно!
Я комплимента не ждала.

АЛЕКСѢЙ.

Съ хорошенькими я всегда любезенъ;
Но чѣмъ же вы полезны? и кому?

МИМИ.

Кому!—Себѣ, семейству своему.

АЛЕКСѢЙ.

Да эдакъ каждый взяточникъ полезенъ!
А впрочемъ, я хоть и смѣшной,
Позвольте мнѣ до васъ дотронуться немножко:
У васъ на платьѣ....

МИМИ.

Что?

АЛЕКСѢЙ.

Сороконожка;
Ея укусъ опасенъ!

МИМИ.

Боже мой!

Возьмите.... Гдѣ платокъ!... Не трогайте руками!
Не трогайте!

АЛЕКСѢЙ.

Ушла и слѣдъ пропалъ!

БАРОНЪ.

(При входѣ въ гротъ).

Я васъ искалъ, искалъ, искалъ!
И вотъ, нашелъ—любуюсь вами....

XII.

Баронъ кой-что вообразилъ,
И такъ въ умѣ своемъ рѣшилъ:
«Она спала, громъ испугалъ,
Она проснулась, онъ вбѣжалъ,
И очутилась вдругъ на ней
Сороконожка; и злодѣй
Ее чуть не отъ смерти спасъ!
Каковъ пассажъ, каковъ разсказъ!
Ничто не можетъ быть простѣй!..
Ужь такъ назначено самой
Предупредительной судьбой,

Чтобъ *милая* забылась сномъ,
Чтобъ вó время ударилъ громъ,
Чтобъ дождь пошелъ, чтобъ потекли
Потоки, чтобъ они могли
Остаться слишкомъ часъ вдвоемъ,
Полуприкрытые плющемъ
Подъ темнымъ сводомъ.... Бѣдняки,
Слыхалъ я, скромны.... Пустяки!
Безсильный сильнаго всегда
Перехитритъ: сама нужда
Его учила лгать, вилять,
Подкрадываться, поражать
Внезапностью и, стало быть,
Съ успѣхомъ женъ чужихъ любить...

. . . . . .

Такъ что жь! Ужели ревновать,
Шпіонить, женщину держать
Чуть не на привязи.... Ну, нѣтъ!
Нейдетъ къ политикѣ моей
Такой неискренній совѣтъ,
Хоть онъ и былъ подсказанъ ей
Боязнью злоупотребить
Своей свободой. Отъ цѣпей
Она не будетъ мнѣ вѣрнѣй....
Да я и не хочу ея
Цѣпной любви! Она—моя,
Пока любимъ я, да пока
Еще не дуетъ вѣтерка
Противнаго.
Свѣтъ чудакомъ
Провозгласилъ меня; итакъ,
Какъ патентованный чудакъ,
Сойдусь я съ этимъ молодцомъ.

Я буду угощать его
Обѣдомъ, фруктами, виномъ
И сыромъ, паче же всего
Довѣрчивостью; отъ нея
Всего скорѣй начнетъ бродить
Все глупое! И вотъ, мое
Уединенное житье
Нарушено. Похоронить
Отъ остального міра нѣтъ
Возможности. Коли не сплинъ
Томитъ и мучитъ, такъ сосѣдъ».—
Онъ позвонилъ.
Вошелъ валетъ
Въ ливрейномъ фракѣ.
— Валентинъ!
Къ садовнику пріѣхалъ сынъ,
Его фамилья—Гайдуновъ.
Скажи, что я его сынка,
На завтра, ровно въ шесть часовъ
Зову обѣдать. Понялъ, а?

Но Валентинъ раскрылъ глаза
И былъ, казалось, изумленъ.
«Ступай!» сказалъ ему баронъ—
И камердинеръ вышелъ вонъ.

XIII.

И Алеша Гайдуновъ
Приглашенье получилъ
Отобѣдать въ шесть часовъ.
И съ утра себя бранилъ,
Для чего онъ не сказалъ,

Чтобъ баронъ его не ждалъ.
—Что за дьяволъ! думалъ онъ,
Для чего меня баронъ
Жаждетъ видѣть? Наконецъ,
Для чего меня отецъ
Шлетъ, какъ будто на поклонъ.
Или.... эта.... чортъ возьми!
Эта.... какъ её назвать?
Кажется, Мими.... Мими!
Имя! Нечего сказать!
Для того, чтобъ не скучать,
Хочетъ блузника позвать!
Право, эту роскошь косъ,
Эту синь звѣздистыхъ глазъ
Я бъ на выставку повезъ;
Выставилъ бы на показъ,
Какъ рѣдчайшій образецъ
Женскихъ прелестей; ей-ей,
Красота!
И Алексѣй
Думалъ, думалъ.... наконецъ,
Въ нерѣшимости своей,
Предпочелъ, къ шести часамъ,
Повернуть налѣво и
Черезъ гору перейти,
И спуститься къ тѣмъ скаламъ,
Къ тѣмъ уютнымъ берегамъ,
Гдѣ купаться онъ привыкъ.

Море блещетъ синевой
И раскатистой волной,
Шевелитъ береговой
Кой-гдѣ скученный тростникъ;

Бѣлой пѣны языки
Лижутъ желтые пески.—

Тамъ въ водѣ и на водѣ,
Въ глубинѣ и въ пестротѣ
Переливчатыхъ цвѣтовъ,
Серебристо-голубыхъ,
Изумрудно-золотыхъ,
То подъ сѣтью тростниковъ,
То въ тѣни отвѣсныхъ скалъ,
Алексѣй мой наблюдалъ
Все, что моря уголокъ
Можетъ дать ему на срокъ,
Чтобъ изъ книги живота,
Гдѣ не знаешь, что́ мечта,
Что́ дѣйствительность, одну
Строчку могъ онъ прочитать,
Въ океанѣ, такъ сказать,
Разглядѣть одну волну,
И по ней въ умѣ своемъ
Заключать объ остальномъ.

Вотъ, съ разбѣгу, въ пѣну водъ
Погружаясь, онъ плыветъ;
И широкая волна,
Солона и холодна,
Начала его качать,
Поднимать и опускать,
Уносить и, міровымъ
Электричествомъ своимъ,
Чуть замѣтно щекотать.
Красоту ль Мими сравнять
Съ этой нѣгою морской?

Вотъ, плыветъ онъ, вотъ прошибъ
Головою синій валъ,
И нырнулъ, и, посреди
Пѣны, въ глубинѣ пропалъ;
Видно, легкія въ груди
Не на шутку развиты;
Видно, мускулы въ ногахъ
Какъ изъ бронзы отлиты;
Видно, силенъ и розмахъ
Молодой его руки.

Вотъ, онъ снова на волнахъ;
Вотъ, раздвинувъ тростники,
Вышелъ на берегъ; песокъ
Жжетъ ему подошвы ногъ,
Но по тѣлу холодокъ
Пробѣгаетъ.... Чортъ возьми!
Лѣзетъ въ голову Мими!

Вотъ, надвинувъ козырекъ
На глаза, онъ, голый, сѣлъ
Между камней, посвистѣлъ,
Сталъ натягивать сапогъ
На ногу, другой ногой
Въ дикій камень оперся;
Вотъ обулся, поднялся,
Оглянулся: Боже мой!
Что это?
Въ двухстахъ шагахъ
Отъ него, одна волна
Расплеснулась, и спина
Чья-то выдвинулась.—Ахъ!
Чуть не вскрикнулъ Алексѣй,
И присѣвъ, изъ-за камней,

Смотритъ; видитъ, какъ одинъ
Черный впрозелень дельфинъ
(Что зовутъ въ иныхъ моряхъ
Просто «свинкою») приплылъ
Къ берегу и въ камышахъ
Легъ въ тѣни на мягкій илъ,
Хвостъ свой въ волны опустилъ:
Вотъ, накренилъ свой плавникъ
И къ груди его приникъ
Тупорылый сосунокъ.

Юноша едва дышалъ,
Взгляда оторвать не могъ:
Онъ впервые наблюдалъ
Сценъ подводныхъ эпизодъ,
Тайну безднъ морскихъ. И вотъ,
Исцарапавъ ноги въ кровь,
Ближе юноша ползетъ
По осколкамъ; вотъ, онъ вновь
Изъ-за камня поднялъ бровь,
Но едва мигнулъ—дельфинъ,
Изогнувшись, вдругъ исчезъ
Въ тайникахъ родныхъ пучинъ.
«Боже мой! зачѣмъ полѣзъ
Я не кстати такъ!» роптал
Алексѣй и увидалъ,
Далеко изъ-подъ руки,
На поверхности морской
Свинокъ рѣзвые прыжки;
Какъ онѣ изъ волнъ дугой
Вылетали, какъ скакалъ
Вслѣдъ за ними синій валъ
Съ бѣлогривой головой....

И всѣмъ сердцемъ, всей душой
Алексѣй мой ликовалъ.
Долго онъ потомъ блуждалъ
Возлѣ моря и домой
Поздно вечеромъ пришелъ,
И, облокотясь на столъ
Съ самоваромъ, красенъ былъ,
Точно цѣлый день кутилъ.

XIV.

— Отчего же, вы, скажите,
Церемонный господинъ,
Просто, знать насъ не хотите:
Или, думаете, сплинъ
Мы на васъ нагонимъ; или
Такъ себѣ, вообразили—
Тѣсно будетъ намъ втроемъ
За обѣденнымъ столомъ?—
Такъ, вытягивая шею,
Началъ пѣть баронъ въ саду
Молодому Алексѣю,
Съ нимъ столкнувшись на бѣду
Передъ гротомъ на дорожкѣ.
Алексѣй фуражку снялъ.
— Но, быть можетъ, продолжалъ
Злой баронъ, сороконожки
Вы пришли сюда искать?
Не желаю вамъ мѣшать.—
И хотѣлъ онъ удалиться.
Алексѣй смутился, но
Понялъ, что не извиниться

Значитъ ссориться. (Смѣшно
Ссориться за приглашенье).
Побѣдивъ свое смущенье
И отдавъ ему поклонъ,
Алексѣй сказалъ:
— Баронъ,
Я не могъ придти.

БАРОНЪ.

Вотъ мило!
Отчего вы не могли?

АЛЕКСѢЙ.

Мнѣ, баронъ, неловко было.

БАРОНЪ.

Или вы не привезли
Фрака?—или позабыли
Бѣлый галстукъ?—не нашли
Цвѣту моднаго перчатокъ?
Но довольно; буду кратокъ,
И скажу вамъ: я не лордъ,
Чтобъ обѣдъ мой хлѣбосольный
Превратить въ парадъ застольный;
Я не гордъ; а если гордъ,
То съ тузами, съ дураками,
Что повыше. Я бы съ вами
Даже разсуждать не сталъ,
Еслибъ церемоній ждалъ.
Вотъ, вы въ блузѣ, и—чудесно!
Въ блузѣ, сдѣлайте мнѣ честь—
Приходите.—Домъ мой есть
Продолженье сада.—

АЛЕКСѢЙ.

Лестно
Ваше приглашенье, но
Не могу, баронъ!

БАРОНЪ.

Смѣшно!
Отчего? Или влюбиться
Вы боитесь?

АЛЕКСѢЙ.

Я, баронъ!—

БАРОНЪ.

Не ревнивъ я, волочиться
Всякій воленъ, и законъ,
Да и нравы никому
Не мѣшаютъ,—почему
Вы такое исключенье?

АЛЕКСѢЙ.

Если это ваше мнѣнье—
Я не спорю и молчу.

БАРОНЪ.

Впрочемъ, это я шучу,
Иначе и невозможно
Васъ заставить говорить.
Почему не пошутить!
Вы со мной такъ осторожно
Выражаетесь, что я

И не знаю... Отчего вы
Отрекаетесь?... семья
Не пускаетъ васъ?...

АЛЕКСѢЙ.

О! что вы!
Нѣтъ, отецъ меня бранилъ,
Посылалъ меня. На это
Я сказалъ ему: все лѣто
Ты барономъ приглашенъ
Не былъ, и коли баронъ
Почему-то не желаетъ
Пригласить тебя,—къ нему
Мнѣ, какъ сыну твоему,
Заходить не подобаетъ.

БАРОНЪ.

Почему же?

АЛЕКСѢЙ.

Потому,
Что мое такое мнѣнье.

БАРОНЪ.

Это ваша точка зрѣнья—
Уважаю; но и я
Буду правъ, и у меня
Есть свои соображенья
Относительно людей.
Говорю вамъ безъ затѣй,
Всякій можетъ заблуждаться;
Но мнѣ тяжело сближаться

Съ лицами, которыхъ я
Нанимаю. Знаю я,
Что невольная забота —
Не услуга, такъ работа,
За которую плачу,
Не приноситъ наслажденья;
Вѣдь, наемъ есть принужденье.
Принуждая, не хочу
Лицемѣрнаго сближенья.
Если бы замѣтилъ я,
Что красавица моя
Мнѣ за деньги отдается,
Кончено! все оборвется,
Ибо лжи не выношу.
Впрочемъ, вашимъ объясненьемъ
Я доволенъ. Съ извиненьемъ
Обращаюсь къ вамъ: прошу
Васъ съ отцомъ ко мнѣ обѣдать,
Такъ сказать, хлѣбъ-соль отвѣдать —
И—когда угодно. Звать,
Безпокоить, вынуждать
Я не стану; но приборы
За столомъ васъ будутъ ждать.
Дайте руку вамъ пожать,
И—adieu!
Потупивъ взоры
На мгновенье и потомъ
Подстегнувъ себя хлыстомъ,
Онъ ушелъ. Одинъ остался
На дорожкѣ молодой
Человѣкъ, и головой
Покачавъ слегка, признался
Самому себѣ, что онъ

Былъ, какъ будто, пристыженъ.
Неужели же баронъ
Искрененъ? его замашка
Такъ странна, онъ свысока
Говоритъ, его рука
Такъ суха, какъ деревяшка.
Но, какъ будто, нервный токъ
Заключенъ въ ея пожатьи.
Вонъ, мелькнулъ онъ въ сѣромъ платьѣ
За кустами,—вонъ, цвѣтокъ
Сбилъ хлыстомъ, перекачнулся,
И не то чтобъ оглянулся—
Свѣсилъ голову и взглядъ
Бросилъ искоса назадъ.

XV.

Алеша передалъ отцу
Полушутливымъ тономъ,
Какъ онъ бесѣдовалъ въ саду
Съ двусмысленнымъ барономъ.
Отецъ, насупившись, сказалъ:
— Вотъ глупая бесѣда!
Баронъ подумаетъ, что я
Ищу его обѣда;
Я этого, братъ, не ищу,
А коли онъ желаетъ
Узнать способности твои,
Такъ это не мѣшаетъ.
Дешевле сдѣлались пути,
За то дороже стали
Квартиры, свѣчи и дрова,

Припасы вздорожали,
И что ни годъ, труднѣе жить;
Ему жь одно словечко
Замолвить стоитъ, и тебѣ
Господь пошлетъ мѣстечко.
—Ну, нѣтъ, отецъ, я не хочу
Ни ползать, ни сгибаться;
Скорѣй пойду я босикомъ
Да въ рубищѣ скитаться.
Но я гляжу совсѣмъ не такъ
На это приглашенье:
Отъ скуки тошно имъ вдвоемъ—
Имъ нужно развлеченье.
—Ну, и прекрасно! все же ты
Здѣсь будешь на примѣтѣ;
Отъ скуки, можетъ быть, поймутъ,
Каковъ ты есть на свѣтѣ.
Будь ты семи пядей во лбу,
И головой будь свѣтелъ,
Въ столицѣ ни одинъ богачъ
Тебя бы не замѣтилъ.
—А ну, какъ я, отецъ, влюблюсь,
(На это нѣть закона)
И пожелаю овладѣть
Возлюбленной барона?
Что будетъ, а!?
—Галлиматья!
Красавицъ много въ свѣтѣ,—
Неужто каждую любить
Или имѣть въ предметѣ?
—Ну, нѣтъ, не каждую, отецъ;
Такихъ не много. Съ дѣтства,
Клянусь тебѣ, я не встрѣчалъ

Подобнаго кокетства.
Пройдетъ, потупится, вздохнетъ—
Посмотритъ—точно спроситъ,
Встряхнетъ волнистою косой—
Или назадъ отброситъ....
Все зорко видитъ, не глядя,
Отворотясь, все слышитъ,
И складка каждая на ней
Очарованьемъ дышитъ.
— Ты, кажется, меня смѣшишь,
Нарочно баламутишь;
Но если правду говоришь,
И если ты не шутишь—
И не ходи! и не ходи!—
Исхить изъ сердца сѣмя
Преступное—и уѣзжай
Куда-нибудь на время.
Я, такъ и быть, ему совру,
Хоть врать и не легко мнѣ,
Что ты занятіе нашелъ
Въ одной каменоломнѣ.
—Ну, нѣтъ, отецъ, не нужно врать,
Къ барону я отправлюсь,
И за меня не бойся, я
Съ самимъ собою справлюсь,
Себя я знаю, эта ложь
Меня не обморочитъ,
Мнѣ стоитъ головой тряхнуть—
И эта дурь соскочитъ.

XVI.

Чтобъ при нечаянныхъ свиданьяхъ
Не упражняться въ оправданьяхъ,

Нашъ юноша къ шести часамъ
Пошелъ наверхъ къ террасамъ виллы,
Подъ тѣнь колоннъ, и встрѣтилъ тамъ
Всѣ двери настежь, тишь могилы,
И цѣлый лѣсъ цвѣтовъ кругомъ,
Взлелѣянныхъ его отцомъ.

Онъ былъ разсѣянъ, день былъ душенъ,
И хоть онъ былъ неравнодушенъ
Къ растительному царству, но
Своею роскошью оно
Не привлекло его вниманья;
Какъ призракъ, какъ душистый дымъ
Оно мелькало передъ нимъ;
И если сладость есть въ страданьи —
Онъ эту сладость ощущалъ,
Когда при входѣ въ бѣлый залъ,
Дыша цвѣтами, онъ стоялъ
Въ тоскѣ, въ раздумьи, въ ожиданьи.
«Ну, что же думать! я войду....»
Подумалъ онъ; но на бѣду
Его сконфузилъ какаду:
«Дурракъ!» вскричалъ нахалъ ученый,
Еще кой-что пробормоталъ,
И крѣпкимъ носомъ застучалъ
Въ рѣшетку клѣтки золоченой.
Но вотъ, шаги... паркетъ скрипитъ,
Идетъ лакей,—на немъ ливрея
(Съ гербами фракъ); на Алексѣя
Онъ вопросительно глядитъ:
«Кого вамъ надо?» говоритъ.
«Нельзя-съ! баронъ за столъ садится,
«Поздненько вздумали явиться»

—«Ну, и прекрасно, я уйду»;
«Дурракъ!» горланитъ какаду.
Но Алексѣя догоняетъ
Другой лакей и провожаетъ
Его въ столовую.
Вошелъ.
Баронъ, замѣтно утомленный,
Хлыстъ бросилъ на окно, на столъ
Букетъ, для вазы припасенный.
Увидѣвъ гостя, поспѣшилъ
Разгладить лобъ свой, распрямилъ
Насупленныя брови, губы
Сложилъ въ улыбку и, сквозь зубы
«Что жь вы не въ блузѣ?» процѣдилъ.

Вся въ бѣломъ, по слѣдамъ барона
Вошла Мими. Ея поклона
И не замѣтилъ Алексѣй.
Она руки не протянула,
И мимоходомъ такъ взглянула,
Что было бъ легче уловить
Лучъ молніи, чѣмъ ощутить
Какъ этотъ взглядъ скользнулъ украдкой
Поверхъ бровей его.—Герой
Былъ парень слишкомъ молодой,
Чтобъ обладать большой догадкой...
— «Какая гордая! Пускай—
Мы такъ и будемъ знать, да вѣдать—
Хоть королеву представляй!»
Подумалъ гость, садясь обѣдать.
Она же думала: «каковъ!
Должно быть, не изъ дураковъ....

Въ гостяхъ у насъ!...» Что за причина?
И молча сѣла за приборъ.

Вотъ поданъ супъ, вотъ льются вина...
О чемъ же будетъ разговоръ?
Переливанье изъ пустого
Въ порожнее, обычный вздоръ;
То «да-съ», то «нѣтъ-съ». Чего жь другого
И ждать! Но юный Алексѣй
(Ну, не смѣшной ли онъ? Ей-Богу!)
Уже заводитъ, понемногу,
Рѣчь о пропорціи солей
Въ морскихъ водахъ, о свойствахъ пара,
О неисчезновеньи силъ,
И, наконецъ, заговорилъ
(Наивный парень!) не безъ жара
О томъ, что слѣдуетъ забыть
Вѣковъ протекшихъ идеалы,
Чтобъ дряхлый міръ преобразить.
Научные матеріалы,
Дескать, готовы для того,
Чтобъ возводить иное зданье.
Баронъ все слушалъ, ничего
На откровенныя мечтанья
Не возражалъ онъ, у него
Болѣла печень. Онъ былъ боленъ,
И точно также, можетъ быть,
Былъ грѣшнымъ міромъ недоволенъ,
Но подъ конецъ стола (какъ быть!
Должно быть, лопнуло терпѣнье)
Все молодое поколѣнье
Онъ сталъ отчаянно бранить,
Высказывать свое презрѣнье

Къ тѣмъ отрицателямъ, какихъ
Встрѣчалъ онъ.
— Отрицать умѣютъ,—
Сказалъ онъ,—а благоговѣютъ
Передъ богатствомъ, и для нихъ
Нажива—цѣль ихъ жизни бренной,
Не глупой, но обыкновенной
И переполненной заботъ,
Такихъ же точно круглый годъ,
Какъ и у прежнихъ поколѣній.
Будь иначе,—сказалъ баронъ,—
И въ наши дни могучій геній —
Пророкъ явился бы. Гдѣ жь онъ?!
Нѣтъ, я не вѣрю въ дни безъ славы,
Хоть вы кой въ чемъ, конечно, правы,
Какъ и Луи-Наполеонъ,
Въ тѣ дни, какъ онъ, боясь цензуры,
Внѣ Франціи писалъ брошюры.
Сначала дайте вѣру мнѣ
Хоть въ личность, чтобъ я могъ вполнѣ
Ея повѣрить совершенству.
Потомъ и самъ, быть можетъ, я
Повѣрю, что людей семья
Усовершается. Блаженству
Грядущаго не вѣрю я,
Коли его за милліоны
Нельзя купить.—
Но разговоръ,
Смягчась, другіе принялъ тоны.
Поддерживая легкій споръ,
Казалось, юношѣ хотѣлось
Блеснуть своею головой,
И не пилось ему, не ѣлось...

XVII.

Алеша получилъ, въ наслѣдство
Отъ матери, черты лица
И мягкость сердца; отъ отца
Здоровье и терпѣнье. Дѣтство
Ему окрѣпнуть помогло—
Оно на воздухѣ прошло.

Лѣса съ тропинками въ село,
Село съ господскими садами,
Да гумна съ сѣрыми скирдами,
Вотъ все, что въ дѣтствѣ золотомъ
Ему, въ его гнѣздѣ родномъ,
Служило первой обстановкой.
Неизбалованный судьбой,
Онъ даже варежки зимой
Считалъ пріятною обновкой.
По лужамъ, иногда, весной
Ходилъ онъ грязь мѣсить ногами,
И съ загорѣлыми щеками.
Съ великимъ наслажденьемъ, въ зной
Барахтался и прыгалъ въ пѣнѣ,
Среди прохлады озерной;
Подъ осень спать любилъ на сѣнѣ;
Любилъ, какъ вечеръ настаетъ,
Склоняться къ матери въ колѣни
И слушать, какъ она поетъ...
Съ крестьянскими дѣтьми братался,
И съ ними на кулачкахъ дрался.
Дни отрочества онъ провелъ
Въ столицѣ, съ дядей букинистомъ.
Въ два лѣта съ пьянымъ бурсакомъ,

Давно отпѣтымъ латинистомъ,
Прошелъ грамматику; потомъ,
Занявшись головною ломкой,
Онъ утро каждое съ котомкой
Уже въ гимназію спѣшилъ
И, разумѣется, долбилъ.

Прошло семь лѣтъ—
Й жаръ лиризма,
Который сталъ его томить,
Изъ принципа, чтобъ не прослыть
Стихослагателемъ, душить
Онъ сталъ во имя реализма;
Занялся химіей; тетрадь,
Гдѣ муза пробовала перья,
Забросилъ; иначе сказать,
На даръ свой наложилъ печать
Презрительнаго недовѣрья.
И букинистъ, его патронъ,
Насколько былъ онъ грамотеемъ,
Сочувствовалъ его идеямъ.
Но съ нимъ недолго прожилъ онъ:
Хандрить сталъ дядя-старикашка;
Одна фальшивая бумажка
Къ нему попалась: сто рублей
Онъ кровныхъ потерялъ на ней.
Его, конечно, оправдали;
Но міръ душевный потрясенъ
Былъ этимъ случаемъ. Едва ли
Одной потерей огорченъ
Былъ старый труженикъ, навѣрно,
И прочія дѣлишки скверно
Шли у бѣдняги. Какъ-то онъ

Въ уѣздъ поѣхалъ, простудился;
Чайку не во-время напился;
Въ трактирѣ вздумалъ разсуждать
О томъ, что времена настанутъ,
Когда не станутъ разбирать—
И всѣхъ, всѣхъ въ рекруты потянутъ,
Что каждый на войну пойдетъ.
Лѣнтяямъ пригрозилъ, и вотъ,
За нимъ слѣдить въ уѣздѣ стали,
И съ азбуками отобрали
Его невинные мѣшки.
Вернувшись, умеръ онъ съ тоски,
А, можетъ быть, и отъ одышки.

Племянникъ съ полгода грустилъ;
Пятикопѣечныя книжки,
Ему покинутыя, сбылъ.
Однажды, къ ночи свѣчку занялъ,
А утромъ шубу снесъ въ залогъ,
И гдѣ-то на Плющихѣ нанялъ
За рубль въ недѣлю уголокъ,

Пора студенчества тяжелой
Для юноши была порой.
Жизнь, заклейменная нуждой,
Была для мысли страшной школой.
Карманъ родителя щадя,
И всѣ мытарства проходя,
Какъ бы съ ступеньки на ступеньку,
Онъ могъ бы такъ же помаленьку
Какъ и другіе одичать—
Кромѣшную извѣдать крайность;
Но, сталъ уроки онъ давать

И помогла ему случайность:
Въ зажиточный попалъ онъ домъ,
Гдѣ, не полтинникомъ—рублемъ
Ему платя, не торговались;
Гдѣ онъ товарищей нашелъ
И много книгъ и сытный столъ;
Гдѣ молодежи не чуждались;
Гдѣ часто раздавался споръ
О томъ «что дѣлать?»—споръ, конечно,
Такого сорта, что, пока
Не разрѣшится, съ языка
Онъ не сойдетъ и будетъ вѣчно
Къ анализу насъ пріучать
И постепенно развивать.
Такихъ домовъ въ Москвѣ не много,
Но все же есть, и къ нимъ дорога
Открыта всякому, въ комъ есть
Замѣтный умъ, игривость слога
И незапятнанная честь.
Тамъ съ Алексѣемъ подружилась
Сама хозяйка,—дочь влюбилась.
Тамъ очень скоро понялъ онъ,
Что онъ недуренъ и уменъ;
Что онъ подчасъ острить умѣетъ
(Хотя при этомъ и краснѣетъ),
И даже честь имѣетъ слыть
Отмѣнно злымъ, умѣетъ злить;
Что онъ и мудреца отбреетъ,
Коли мудрецъ сей ретроградъ—
Прогрессу русскому не радъ.
Самоотверженность, геройство
Ему казались ни по чемъ.
Такъ, молодость кипитъ ключемъ—

Ужь у нея такое свойство!...
Владѣютъ ею сотни фразъ—
Фразъ, сказанныхъ устами вѣка,
О назначеньи человѣка,
Пока въ одинъ прекрасный часъ
Переворота не свершится,
И юноша, чтобъ не краснѣть,
Самъ станетъ фразами владѣть.
Птенецъ нашъ, по своей природѣ
И по лѣтамъ, въ избыткѣ силъ,
Еще былъ въ первомъ періодѣ,
На первомъ либеральномъ взводѣ,
Когда отца онъ посѣтилъ:
Идеи вѣка имъ владѣли—
Не онъ идеями владѣлъ;
Еще обжиться не успѣлъ,
Не осмотрѣлся, ясной цѣли
Еще не видѣлъ, въ даль глядѣлъ
Лишь для того, чтобъ порываться...

Такъ, видя облако, вдали
Несущееся по лазури,
Орленокъ ждетъ дождя и бури,
Чтобъ крылья выкупать въ дождѣ,
Чтобъ силы испытать въ бѣдѣ.
Крылами воздухъ разсѣкаетъ,
Какъ будто бурю догоняетъ,
А облако спокойно таетъ
И расплывается въ лучахъ
Надъ поднимающими прахъ
Дорогами и городами,
Иль ищетъ тѣни за скалами
И на ночь прячется въ горахъ.

XVIII.

Между барономъ и птенцомъ,
Едва окончившимъ ученье,
Что̀ было общаго? Рѣшенье
Задачи этой ни въ какомъ
Людскомъ сближеньи не мѣшаетъ.
Что̀ было общаго?
Хотя
Баронъ былъ въ критикѣ дитя,
Хотя Алешѣ подобаетъ
Еще учиться лѣтъ пять-шесть,
Чтобъ въ этомъ дѣлѣ пріобрѣсть
И глубину и тотъ анализъ,
Которымъ въ мірѣ отличались
Мыслители; но, какъ баронъ,
Такъ и герой мой недозрѣлый,
Былъ каждый втайнѣ зараженъ
Желаньемъ подвергать все смѣлой
Провѣркѣ. Оба шли на брань,
Когда знакомились; обоимъ
Хотѣлось (это мы не скроемъ)
Сказать въ душѣ другъ другу «дрянь!»

Другое сходство—въ жаждѣ тайной
Земного счастія; хотя
Опять-таки, баронъ—дитя,
Искалъ его въ любви случайной,
А юноша свой идеалъ
Въ народѣ, въ будущемъ искалъ,
И безотчетной полнъ былъ вѣры,
Всѣхъ больше вѣруя въ себя;

Но въ жизни (знаю это я),
Бываютъ странные примѣры.

Баронъ не вѣрилъ ничему,
А тотъ, повѣрившій всему,
Твердилъ, что и не нужно вѣрить;
Баронъ не вѣрилъ и ему,
Но сталъ хитрить и лицемѣрить,
Такимъ суровымъ мудрецомъ
Прикинулся, такъ сталъ широко
Смотрѣть на вещи, такъ глубоко
Вникать въ причины, что и въ немъ
Не могъ не поселить довѣрья.
Къ тому же, въ нашемъ молодцѣ
Настолько жь было легковѣрья,
Насколько было на лицѣ
Румяныхъ вспышекъ.
Но не скоро
Баронъ освоился и съ нимъ;
Вначалѣ онъ не безъ задора
Болталъ съ сосѣдомъ молодымъ.

XIX.

Какъ изъ стѣны дубовой крѣпко
Въ нее засѣвшій гвоздь, порой
Назадъ не лѣзетъ, такъ иной
Крѣпкоголовый слишкомъ цѣпко
Захватываетъ все, что̀ разъ
Вошло въ мозги его.
Терпѣнье
Особенное нужно въ васъ
Предположить, чтобъ подозрѣнье,

Которымъ другъ вашъ помраченъ,
Могли вы съ корнемъ вырвать вонъ.
Такія головы съ гвоздями
Встрѣчалъ я у наивныхъ дамъ,
У бюрократовъ со звѣздами,
Неравнодушныхъ къ мелочамъ,
Но чаще между богачами,
Которые, родясь, нашли
Почетъ и золото (не сами
Трудами ихъ пріобрѣли).
Баронъ хотя и сознавалъ,
Что онъ людей не понималъ,
Но все же собственное мнѣнье
И опытность развратныхъ лѣтъ
Высоко ставилъ; все же бредъ
Досужаго воображенья
Цѣнилъ не дешево. «Она»,
Ему диктуетъ подозрѣнье,
«Изъ выгоды осуждена
Со мной хитрить. И можетъ быть
Алеша вовсе не случайно
Отца пріѣхалъ навѣстить....
Она счастливца любитъ тайно,
Хоть и готова пошутить
Надъ бѣднымъ юношей; но это—
Уловки, хитрости!... Была
Скучна, грустна въ началѣ лѣта,
Теперь—напротивъ, весела,
И вся какъ будто расцвѣтаетъ,
Когда нечаянно встрѣчаетъ
Смѣшного юношу!... И съ ней
Обходится онъ безъ затѣй,
Какъ будто давнее знакомство

Ихъ сблизило....
О, вѣроломство!...»

О, подозрительность! ты—дочь
Безпутнаго воображенья,
Предпочитающаго ночь;
Ты—черные очки для зрѣнья,
. . . . . .
. . . . . .
Ты—бредъ ума; и—зависть, ревность,
И притязательность тобой
Питаются; и ежедневность
Отравлена твоей гнилой,
Тяжелой пищей....
На балконѣ
За чайнымъ столикомъ, въ саду,
Съ Мими встрѣчаясь, на бѣду,
Алеша думалъ о баронѣ,
Что онъ не глупъ, хоть и лѣнивъ,
Порой угрюмъ, порой брюзгливъ,
Но ужь нисколько не ревнивъ.
Привыкъ къ фигурѣ онъ барона,
Къ небрежности его рѣчей,
Во вкусѣ прежняго бонтона,
Къ его гримасѣ и къ хлысту,
Съ которымъ онъ блуждалъ по саду.
Но ежедневно красоту
Встрѣчать или привыкнуть къ яду—
Одно и то же. Хоть *она*
Была далеко не умна,
Но—звѣзды чудныхъ глазъ, улыбка,
Увы! влекли его; и шибко
Въ немъ сердце билося, какъ рыбка,

Коварно пойманная въ сѣть.
Онъ, краснощекій, сталъ блѣднѣть.
Онъ, реалистъ—сталъ полонъ бредней.
Мими кокетничала съ нимъ
(Онъ былъ не первый, не послѣдній).
Но справедливость отдадимъ
Мечтателю: онъ видѣлъ ясно,
Что красота ея опасна,
Что съ нимъ заигрываетъ страсть,
Что такова природы власть
Надъ нимъ, *не старымъ человѣкомъ*;
Но что Мими одна изъ тѣхъ
Ничтожностей, рожденныхъ вѣкомъ
И обществомъ, что ставитъ въ грѣхъ
Серьезный трудъ и внѣ утѣхъ,
Внѣ роскоши и наслажденій
Не видитъ въ жизни ничего,
И что серьезныхъ отношеній
Къ ней быть не можетъ для него.

Баронъ нерѣдко ихъ находитъ
Вдвоемъ, на мраморной, крутой
Той лѣстницѣ, что къ морю сходитъ,
Но, или молча онъ проходитъ,
Или, кивнувъ имъ головой,
Поговоритъ немного, скажетъ:
«Не засидитесь, какъ вчера,
Чуть не до самаго утра...»
И удалится, или—ляжетъ
Неподалеку, на скамью,
Закинетъ голову свою,
И складко дремлетъ,—чуть мелькаетъ
Его сигары огонёкъ

Въ ночной тѣни.
Мими болтаетъ,
То вдругъ смѣется, то вздыхаетъ,
То живописно локотокъ
Свой въ сѣрый камень упираетъ
И такъ загадочно глядитъ,
Что Алексѣй не замѣчаетъ
Какъ время за полночь летитъ
И о любви ей намекаетъ.
И что за странность! Чортъ возьми!
Какъ перемѣнчива Мими:
То вѣтренница, то мадонна.
— А что, вы любите барона?
Однажды онъ ее спросилъ.
— Нѣтъ! голосокъ проговорилъ
Ему въ отвѣтъ.—Какъ, вы суровы
Къ его любви?...
— А для чего вы
Хотите знать? Я не скажу.—
—Какъ «не скажу»?! ужь вы сказали...—
—Я солгала.—
— Нѣтъ, не солгали,
И я вамъ это докажу.

XX.

БАРОНЪ.

Что́ за письмо читала ты?

МИМИ.

Стихи читала я, мечты,
Которыхъ не было и нѣтъ.

БАРОНЪ.

Но чьи стихи? ужели онъ
И математикъ и поэтъ?

МИМИ.

Онъ очень молодъ и влюбленъ,
Простителенъ любовный бредъ...
Къ тому же, кто теперь стиховъ
Не пишетъ!

БАРОНЪ.

Даже Гайдуновъ
Алёшка? Интересно знать...

МИМИ *(съ досадой).*

Возьмите, можете читать.

БАРОНЪ.

Но это, можетъ быть, секретъ...

МИМИ.

Онъ говоритъ, что сочинилъ
Онъ этотъ вздоръ въ семнадцать лѣтъ.

БАРОНЪ.

И въ памяти возобновилъ.
(Читаетъ).
— Заря погасла, ночь задула
Въ домахъ послѣдніе огни.

Все утомлённое заснуло,
Но ты въ лицо мнѣ заглянула
И прошептала: «мы одни».
«Спятъ старики, старухи, дѣти;
Но юность зажигаетъ кровь,—
И я проснулась въ полномъ цвѣтѣ,
И кажется мнѣ, въ цѣломъ свѣтѣ
Не спитъ одна моя любовь.
Природы голосу внимая,
Я знаю, власть ея святая
Къ познанію добра и зла
Меня влечетъ—и вотъ, тебя я,
Мой другъ, любимцемъ избрала...
Любовь мертва безъ наслажденья,
Мертва, какъ вѣра безъ любви;
Не будь рабомъ предубѣжденья,
И мнимое мое паденье
Отпразднуй и благослови.
Не вѣрь слѣпому увлеченью,
Не вѣрь и клятвамъ, вѣрь любви!
Зови ее къ трудамъ, къ терпѣнью,
Къ заботамъ, къ самоотверженью—
Въ помощницы къ себѣ зови».

МИМИ.

Ну, что? Хотите разорвать?

БАРОНЪ.

Фу! чортъ возьми!
Позволь списать!

МИМИ.

Что жь тутъ хорошаго?

БАРОНЪ.

— Урокъ,
Который онъ тебѣ даетъ.

МИМИ.

Не бойтесь, можетъ сочинять
Что́ хочетъ... (*Уходитъ*).

БАРОНЪ.

. . . Бѣдный мотылёкъ!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

—

I.

Ужь августъ; лозы винограда,
Въ прозрачно матовыхъ кистяхъ,
Повисли на своихъ жердяхъ;
На яблоняхъ, въ куртинахъ сада,
Кой-гдѣ румяный плодъ повисъ,
И стала рѣже на карнизъ
Садиться ласточка; въ лѣпное
Ея гнѣздо ужь отъ окна
Нить паука проведена,
Ужь птичекъ племя молодое
Изъ гнѣздъ повыпорхнуло, и
Кружитъ, звенитъ, поетъ вдали.

Но такъ же зе́лено алоэ,
И такъ же тёменъ кипарисъ;
Въ саду, куда ни обернись,
Деревья млѣютъ въ томъ же зноѣ,

Все такъ же мраморный балконъ
И днемъ и ночью растворенъ.

Но что съ Мими? Что съ ней такое?
Она разсѣянно-грустна,
Она въ себя погружена,
Краснѣетъ и неровно дышитъ,
Ей говорятъ—она не слышитъ,
Молчатъ—она глядитъ на васъ,
Какъ будто вы съ ней говорите.
Она труслива,—а смотрите,
Какая смѣлость!
Ужь одна,
Безъ горничной, идетъ плескаться
Передъ купальней. Вотъ она
По скользкой лѣсенкѣ спускаться
Ужь начала, озарена
Лучами утра.
Но волна
Разбрызнулась и побѣлѣла,
Какъ будто снѣгъ въ нее упалъ,
И только сквозь ея кристаллъ,
Дрожа, просвѣчиваетъ тѣло.
Она труслива, а небось,
Идетъ изъ сада, на авось,
Куда глаза глядятъ,—не труситъ,
Что скорпіонъ ее укуситъ,
Или мѣдянка; на скалу
Одна съ какимъ-то тайнымъ горемъ,
Лицомъ къ лицу съ холоднымъ моремъ,
Садится,—въ розовую мглу,
Раскрывъ глаза, глядитъ, вздыхаетъ,
Какъ будто не довольно ей

Простора, и не замѣчаетъ,
Какъ ящерица пробѣгаетъ
По складкамъ платья. Что же съ ней?
Ни самъ баронъ, ни Алексѣй—
Никто ея не понимаетъ.

Она рѣсницы потупляетъ,
Когда съ барономъ говоритъ,
Или ласкаетъ, такъ ласкаетъ,
Какъ никогда.—Она не спитъ,
И если спитъ, то жарко бредитъ.

А! думаетъ баронъ, печаль
Ея понятна мнѣ. Ей жаль,
Что молодецъ куда-то ѣдетъ—
Иль собирается удрать...
Она изволитъ пропадать
До тёмной ночи; на свиданье
Ходить изволитъ; на прощанье
Съ нимъ нѣжится; уже въ саду
Ей мѣста нѣтъ—уходитъ въ горы —
И даже, кажется, въ бреду
Во снѣ ведетъ съ нимъ разговоры;
Не слышитъ стона моего
И плачетъ... Что же значитъ ласка
И эти поцѣлуи!—Маска
Ея измѣны... Ничего
Иного и не могутъ значить
Всѣ эти поцѣлуи!—О!
Не убивать ихъ—озадачить
Хотѣлъ бы я; но гдѣ и какъ!
И... я люблю ее!—дуракъ!

II.

Что̀ въ головѣ барона, знаетъ
Одинъ Всевышній; цѣлый день
Онъ дома, молчаливъ какъ тѣнь,
И Алексѣя избѣгаетъ.
Но Алексѣй не замѣчаетъ
Его отсутствія. Одинъ
Лишь камердинеръ Валентинъ
Кой-что смекаетъ. Какъ и баринъ,
Онъ на Мими за что-то золъ,
Онъ убѣжденъ, что женскій полъ
Непостояненъ и коваренъ...

А между тѣмъ, ея мечта
Однимъ и тѣмъ же занята;
Она и труситъ и стыдится
Заранѣе... Она боится
Зимой родныхъ не навѣстить...
Положимъ, добренькій папаша
И не поморщится! давно
Онъ знаетъ и прощаетъ; но
Что скажетъ милая мамаша?
Вотъ августъ, а потомъ сентябрь,
Потомъ октябрь, ноябрь, декабрь...
«Отецъ! да мимо идетъ чаша!»
Такъ молится порой она,
На небо глядя изъ окна.
Увы! для всѣхъ одни законы,
Для Афродиты и мадонны,
И бѣлокурая Мими
Такая же, не исключенье!
Какъ ни терзайся, ни томи

Себя предчувствіемъ мученья,
Хоть силы неба призови
Къ себѣ на помощь. У любви
Земной—земное назначенье,
Какая бъ ни была она:
Святая или покупная
И грѣшная; не разсуждая,
Природа вѣчная вѣрна
Самой себѣ. Она—слѣпая,
Глухая, царственная и
Не видитъ прелестей Мими,
Ея проклятьямъ не внимаетъ,
Она Мими и знать не знаетъ,
Ей женскій чуждъ идеализмъ,
Ей нуженъ только организмъ,
Къ ея задачамъ подходящій,
Не сочиненный, настоящій,
Безъ всякой фальши.
Можетъ быть,
Другая и была бы рада,—
Сама созналась бы, что надо,—
Что не мѣшаетъ закрѣпить
Союзъ съ барономъ капитальнымъ,
Хоть чѣмъ-нибудь вполнѣ реальнымъ
И очевиднымъ; но она
Была еще не такъ умна,
Чтобъ выгоды однѣ предвидѣть.
Она, безумная, была
Готова жизнь возненавидѣть:
Стыдливой тайной облекла
Мучительное подозрѣнье,
Сама не вѣрила ему;
Какое-то къ себѣ презрѣнье

Почувствовала.
Почему?
Она сама того не знала,
И ужь не думала нимало
О томъ, что̀ думаетъ о ней
Баронъ. Она не понимала
Его порывистыхъ страстей,
Несовмѣстимыхъ съ роковою
Усталостью или хандрою—
Отсадкомъ прокипѣвшихъ дней.
Ей думалось неоднократно,
Что даромъ пользоваться всѣмъ,
Еще не значитъ жить развратно,
Напротивъ, значитъ жить пріятно,
Свободно жить,—а между тѣмъ,
Она сама того стыдилась,
Чѣмъ прежде мысленно гордилась.
Иль не была еще она
Настолько зломъ заражена,
Чтобъ постоянно лицемѣрить?
Или еще любить и вѣрить
Хотѣлось? Иль она была
Кой для чего не безъ задатка—
Была лишь только кандидатка
Въ камеліи и не пришла
Еще къ сознанью ремесла,
И не искусно притворялась?!.

III.

Мими особенно блѣдна:
— Смотрите, говоритъ она
Алешѣ,—видите вдали
Тамъ, гдѣ мелькаютъ корабли,

На горизонтѣ, по волнамъ
Свинцовымъ, двигается тѣнь
И подвигается къ горамъ—
Вѣдь это смерть—недаромъ день
Унылъ и пасмуренъ!
И онъ
Былъ какъ-то смутно пораженъ
Ея словами.—Этотъ тонъ
Болѣзненный не сочиненъ,
Подумалъ онъ,—или она
Больна, или съ ума сошла,
И видитъ гдѣ-то смерть.

АЛЕКСѢЙ.

Дитя!
Вы шутите, иль не шутя
У васъ фантазія шалитъ
И всякій вздоръ вамъ говоритъ.

МИМИ.

Дитя!... А вѣрите ли вы
Въ пророческіе сны?

АЛЕКСѢЙ.

О, нѣтъ!
Да я и вамъ даю совѣтъ
Не вѣрить.

МИМИ.

Экій вы какой
Ѳома невѣрный! Боже мой,

И рада бы не вѣрить, но
Невольно вѣрится.

АЛЕКСѢЙ.

Смѣшно!

МИМИ.

Мнѣ снилось, будто вы со мной;
А у меня надъ головой
Корзина съ платьемъ и бѣльемъ;
И мы спускаемся вдвоемъ
Съ горы, и вижу я сквозь мглу,
Какъ моря сѣраго прибой
Трепещется и бьетъ въ скалу;
А вы взялись за ло́коть мой,
Чтобъ не упала я, и вотъ,
Пришли мы на какой-то плотъ,
И стала я бѣльё стирать,
И что же! отъ воды морской
Ползетъ и рвется подъ рукой
Все полотно, ни дать ни взять
Бумага мокрая. Волна
Разноситъ клочья, а со дна
До самой до моей руки
Бѣгутъ и липнутъ пузырьки,
И вся рука моя кругомъ
Обсыпана, какъ жемчугомъ.
А небо тускло, какъ свинецъ.
И вотъ, за платья, наконецъ,
Я принялась, и погружать
Ихъ стала въ воду, полоскать.—
И что же вижу я!—По швамъ

Все порется, то здѣсь, то тамъ
Клочки плывутъ, все врозь ползётъ...
И, Боже! сколько мнѣ хлопотъ
При всемъ при этомъ! Я хочу
Хоть блонды какъ-нибудь собрать
Въ свою корзину... Хлопочу—
И не могу, и вотъ,—при васъ
Я стала ноги разувать,
И постепенно опускать
Ихъ въ воду. Вы на берегу
Стоите... Нѣтъ... я не могу
Разсказывать. Скажу одно:
Вы мною какъ-то увлеклись,
И я боролась... Не проснись
Я во-время, ушла бъ на дно—
И захлебнулась бы. Мой сонъ
Пророчитъ горе мнѣ.

АЛЕКСѢЙ.

— Смѣшно!
И только, больше ничего.
Сонъ, это слѣдъ того огня,
Которымъ въ продолженье дня
Вы нервы мозга своего
Сжигали, иначе сказать,
Ихъ израсходовали. Да
Случалось ли вамъ, иногда,
На уголья въ каминъ бросать
Какой-нибудь измятый листъ
Бумаги.—Тёменъ и землистъ
По цвѣту пепелъ, и дрожитъ
Онъ,—этотъ пепельный комокъ,

И красный, быстрый огонекъ
По немъ извилисто бѣжитъ:
Тамъ змѣйка, точно волосокъ—
Тамъ звѣздочка позолотитъ
Его края, пока въ трубу
Его не вытянетъ. Вашъ сонъ—
Огонь, который сталъ блуждать
Тамъ, гдѣ ужь нечему пылать...

Такъ темно выражался онъ,
Въ Мими влюбленный Алексѣй,
Въ надеждѣ высказать яснѣй
И проще, что́ такое сонъ.
Изъ объясненія его
Не вышло ровно ничего.
Мими его не поняла;
Но молча, съ грустью подняла
Ему въ отвѣтъ свой томный взоръ.

АЛЕКСѢЙ.

И этотъ сонъ, что́ васъ томитъ,
И очертанья этихъ горъ,
И даже этотъ разговоръ,
И даже тотъ, кто говоритъ
Въ сію минуту съ вами,—вы
Забудете, какъ прошлый вздоръ,
Какъ недоконченный узоръ
Когда-то порванной канвы.
И будете богато жить,
И если будете тужить,
То развѣ только оттого,
Что вѣчно молодою быть
Никакъ нельзя, что ничего

Нѣтъ вѣчнаго, ни красоты,
Ни юности, и въ первый разъ,
Когда появится у васъ
Морщинка... Богъ мой! какъ она
Васъ испугаетъ.—Въ этотъ день
Вамъ одѣваться будетъ лѣнь,
И жизнь покажется грустна,
Пуста, безцвѣтна, какъ туманъ.—
Затѣмъ, при помощи румянъ,
И вы начнете привыкать
Къ самообману—увѣрять,
Что вамъ совсѣмъ не тридцать пять—
А эдакъ лѣтъ... лѣтъ двадцать семь,
И что вы молоды.—Затѣмъ...

МИМИ.

Ахъ! ради Бога самого
Не распѣвайте мнѣ о томъ,
Что̀ будетъ. Я хочу всегда
Быть весела и молода;
И, право, лучше умереть,
Чѣмъ безобразно постарѣть.

АЛЕКСѢЙ.

Нѣтъ! вдвое лучше старой быть,
Чѣмъ... по найму принадлежать
Кому-нибудь и не любить.

МИМИ.

Молчите. Не хочу васъ знать!
Какъ вы безжалостны! Опять

Вамъ хочется меня смутить...
Чего жь вы ждете?

АЛЕКСѢЙ.

Ничего.
Не плачьте!—Впрочемъ, можетъ быть,
Вы...? Ну, такъ плачьте!
У него
Мелькнула мысль.—Онъ угадалъ,
Чѣмъ организмъ ея страдалъ.
Мими мгновенно поняла
Его догадку.—Взгляды ихъ
Сошлись невольно.—Въ этотъ мигъ,
Какъ бы дѣйствительно межъ нихъ
Неуловимая прошла
Тѣнь смерти.—Оба разошлись;
Она, поникнувъ головой,
Пошла къ себѣ наверхъ—онъ внизъ
По взморью, блѣдный и нѣмой.

IV.

— Прощай, цвѣтокъ оранжерейный!
Роскошный твой расцвѣтъ—угаръ
Распространяетъ; ты—товаръ
Особенный, галантерейный.
Тебѣ необходимъ футляръ
Атласный, бархатный! Баронъ
Не какъ лицо, какъ милліонъ
Тебя навѣкъ къ себѣ привяжетъ,
Быть даже нравственной обяжетъ,
И будешь ты ему вѣрна,

Вѣрнѣе втрое, чѣмъ жена!
Такъ думалъ Алексѣй и въ виллу
Съ тѣхъ поръ ни шагу. Черезъ силу
Признался онъ отцу, что онъ
Уѣхалъ бы, да съ рыбаками
Послѣдними двумя рублями
Недавно подѣлился онъ,
За то двѣ ночи въ морѣ пробылъ
И раковинъ не мало добылъ.

А между тѣмъ, на свой балконъ
Мими все такъ же выходила
По вечерамъ и по утрамъ,
И долгимъ взоромъ обводила
Пустынный садъ. Ни здѣсь, ни тамъ,
Гдѣ лѣстница внизъ къ морю сходитъ,
Не появлялся Алексѣй.
Исчезъ. А какъ хотѣлось ей
Хоть подразнить его!... Проходитъ
Не мало самыхъ скучныхъ дней,
Совсѣмъ испортилась погода,
Казалось, южная природа
Одѣлась въ сѣверъ. Моря видъ
Подъ тучами сталъ такъ сердитъ,
И кипарисы такъ унылы,
И холмикъ тотъ береговой,
Гдѣ плачущею сиротой
Поникла ива, видъ могилы
Напоминаетъ ей; и страхъ
Ей въ душу крадется, и горе
Воображается,—и вотъ,
Съ террасы внизъ она идетъ,
И возлѣ пасмурнаго моря

На камняхъ, влажныхъ поутру,
Сама садится на вѣтру,
И смотритъ,—волны на просторѣ
Идутъ однѣ вослѣдъ другимъ,
Ревутъ, какъ звѣри, точно имъ,
Голоднымъ, тѣсно на запорѣ
Въ желѣзной клѣткѣ, рвутся вонъ,
На камни лѣзутъ, свирѣпѣя,
И сѣрый берегъ орошенъ
Ихъ бѣлой пѣной.

Алексѣя
Все нѣтъ, какъ нѣтъ!

Вотъ человѣкъ!
Ей кажется, что цѣлый вѣкъ
Съ нимъ спорить, ссориться и—мало!
Ну, просто бъ, жизни недостало!
— Какъ скучно!—Гдѣ же Алексѣй?
Куда забился? Озабоченъ
Своимъ отъѣздомъ, или очень
Обидчивъ, дуется и съ ней
Не хочетъ говорить, съ продажной!
Вѣдь я жь не обижаюсь, я
Прощаю, что жь такой онъ важный,
Не хочетъ даже на меня
Взглянуть!

Ага! сталъ дождикъ капать.
Такъ я жь останусь подъ дождемъ,
Пусть поливаетъ, какъ ведромъ,
Пусть простужусь. О! какъ кругомъ
Темно!—

И хочется ей плакать.
А сверху смотритъ изъ окна
Баронъ, и видитъ, какъ она,

Платкомъ накрывшись, наклонила
Свою головку и сидитъ
На камняхъ; сердце въ немъ изныло,
Но онъ ни слова,—онъ молчитъ,
Онъ самъ страдаетъ, самъ простуженъ,
Онъ чувствуетъ, что ей ненуженъ,
И думаетъ: ужель она
Такъ дорога мнѣ! такъ нужна?

V.

Опять тепло, опять встаетъ
Надъ моремъ жаркое свѣтило,
И что-то въ воздухѣ поетъ,
И блещетъ море, и вѣтрило
Сквозь паръ бѣлѣется вдали.
Опять баронъ свои покои
Оставилъ, ходитъ, и хлыстомъ
Помахиваетъ.
Вотъ, съ отцомъ
Алеши встрѣтился; больное
Лицо свое то повернетъ,
То отвернетъ отъ садовода.
И кланяется садоводъ,
И проситъ хоть за четверть года
Ему расплату произвесть.—
Что онъ боится надоѣсть,
Но хочетъ сына въ путь отправить....
— А что, ужели денегъ нѣтъ?
— Нѣтъ, говоритъ ему въ отвѣтъ
Старикъ.
— Все это можно справить....

Такіе это пустяки!!
А что вашъ сынъ? ужели нанятъ?
И чѣмъ онъ былъ все лѣто занятъ?
Баклуши билъ?
— Нѣтъ, по ночамъ
Писалъ не мало,—рыбъ, омаровъ,
И разныхъ птицъ скелеты самъ,
Ей-ей, до сотни экземпляровъ,
Отпрепарировалъ ножемъ.
Что дѣлать! не было при немъ
Для всяческихъ *экспериментовъ*
Самонужнѣйшихъ инструментовъ
Потомъ, сестеръ училъ, потомъ
Искалъ руду въ горахъ.
— Какую?
Живую, можетъ быть? на видъ
Похожую на.... на....
— Графитъ.
Нашелъ, и бѣлую такую....
Фарфоровую глину....
— Ну-съ,
Я деньги эти къ вамъ пришлюсъ-съ,
Но съ уговоромъ: погодите
Вы снаряжать сынка, скажите
Ему, что я желалъ бы съ нимъ
Поговорить. Все это время
Онъ прячется, сталъ нелюдимъ.
О, вѣкъ! о вѣтреное племя!

VI.

Ужь сумерки распространять
Сталъ жаркій вечеръ, тѣнь блуждать
Пошла по саду. Вотъ аллея,—

Скамья чугунная и кленъ
Развѣсистый поникъ, пестрѣя
Своими листьями.—Баронъ
Допрашиваетъ Алексѣя.

БАРОНЪ.

Вы прячетесь, васъ не видать,
Въ лицѣ нѣтъ прежняго веселья—
Вы похудѣли.

АЛЕКСѢЙ.

Отъ бездѣлья;
Хочу уѣхать.

БАРОНЪ *(помолчавъ и потупившись).*

Какъ же съ *ней*
Разстанетесь?

АЛЕКСѢЙ.

Съ кѣмъ это—съ ней!?

БАРОНЪ.

Съ Мими...

АЛЕКСѢЙ.

Да такъ же безъ затѣй,
Какъ и съ другими.

БАРОНЪ.

Сожалѣю.

АЛЕКСѢЙ.

О чемъ, баронъ?

БАРОНЪ.

Совсѣмъ, совсѣмъ
Дитя мое отъ рукъ отбилось.

АЛЕКСѢЙ.

Что жь тутъ мудренаго! Затѣмъ
Она и женщина. Случилось
Все это потому, баронъ,
Что не мудрецъ вы, не Платонъ,
Не платонически любили.

БАРОНЪ (*удивляясь*).

О чемъ это заговорили
Вы такъ насмѣшливо?

АЛЕКСѢЙ.

О томъ
Извѣстномъ фактѣ, что отцомъ
Вы будете, и что слезливость,
Потребность, Богъ знаетъ, о чемъ
Мечтать или хандрить, брезгливость
Или капризъ, все это есть
Обыкновенное явленье
При томъ извѣстномъ положеньи,
Когда... Итакъ, имѣю честь
Поздравить васъ.
— Мнѣ это ново!

Баронъ сквозь зубы процѣдилъ,
И недовѣрчиво, сурово
Глаза на юношу вперилъ.
И молча думалъ:
— Мнѣ ни слова!
Ему все сказано!.. Ему,
Молокососу! моему
Сопернику. О, добродѣтель!..
Скажи вамъ правду, вы тогда
Воскликнете: А кто свидѣтель!?
Хитрить учила васъ нужда,
И эгоизмъ насквозь васъ пронялъ;
Останусь я же виноватъ,
Зачѣмъ за вами не шпіонилъ—
Не уличилъ... Я такъ богатъ,
Что вамъ нельзя не лицемѣрить,
И я, дуракъ, вамъ буду вѣрить?!

Такъ ядовито уязвленъ
Былъ подозрительный баронъ.
Но гордость съ малолѣтства въѣлась
Въ его натуру. Не хотѣлось
Ему *мальчишкѣ* показать,
Какъ онъ встревоженъ, какъ ужаленъ,
И Алексѣй не могъ понять,
Чѣмъ вдругъ баронъ такъ опечаленъ,
И думалъ, лучше помолчать:
Онъ щепетиленъ, онъ боится,
Что я болтливъ.
Какъ вдругъ баронъ
Неслышно засмѣялся, губы
Замѣтно вытянулись, зубы
Изъ-подъ усовъ сверкнули. Онъ

И не взглянулъ на Алексѣя,
Но, по землѣ стегнувъ хлыстомъ,
Сказалъ:
Женитесь.

АЛЕКСѢЙ.

А на комъ?

БАРОНЪ.

Ну, да... на *ней*.

АЛЕКСѢЙ.

Что за идея...
Вы шутите?

БАРОНЪ.

Да почему жь—
Чѣмъ не жена и чѣмъ не мужъ!?

АЛЕКСѢЙ.

Вы ждете глупаго отвѣта,
Чтобъ мнѣ въ лицо захохотать;
Но я осмѣлюсь вамъ на это
Замѣтить...

БАРОНЪ.

Что̀ тутъ замѣчать!

АЛЕКСѢЙ.

Она мнѣ въ жены не годится.

БАРОНЪ.

Какъ не годится? Отчего?
Весьма годится—та, въ кого
До положенья ризъ влюбиться
Пришлось, сначала мнѣ, потомъ
И ваша очередь настала!

Все это Алексѣй съ трудомъ
Выслушивалъ, негодовала
Его душа, лицо пылало
И сердце начинало ныть,
И въ головѣ его мелькало:
«Онъ охладѣлъ и хочетъ сбыть!»

БАРОНЪ.

Я знаю все.

АЛЕКСѢЙ.

Ну, и прекрасно!
Знать все какъ есть, не такъ опасно,
Какъ полузнать или не знать;
А вдвое лучше замолчать,
И каждому своей дорогой
Идти. Купили вы ее
И—пользуйтесь, а мнѣ мое
Оставьте.

БАРОНЪ.

О, какой вы строгій!
А если бѣдная Мими
Васъ любитъ.

АЛЕКСѢЙ.

Никогда не будетъ
Она любить. И, чортъ возьми!
Кто жь это вамъ сказалъ, что любитъ
Она меня?

БАРОНЪ.

А, можетъ быть,
Она сама проговорилась...
Что? поблѣднѣли?! Знать, забилось
Сердчишко! Но пора домой.

Баронъ привсталъ, и, какъ больной
Качаясь, изъ аллеи вышелъ.
Ему казалось, изъ того,
Что̀ онъ отъ Алексѣя слышалъ,
Не остается ничего
Не яснаго. Онъ презираетъ
Ту, съ кѣмъ обманывалъ его—
И связываться не желаетъ.

VII.

Прислонясь щекою къ складкамъ
Кружевныхъ подушекъ, въ сладкомъ
Забытьи, Мими измяла
Дорогое покрывало,
Сбросила его ногою,
И, мелькая наготою,
Спитъ подъ пологомъ съ кистями,
Окруженная тѣнями
Молчаливаго алькова.

«Здѣсь дышать мнѣ нездорово—
Здѣсь съ ума схожу я. Боже!»
Про себя баронъ бормочетъ.
Вотъ, раскрыть окно онъ хочетъ,
Вотъ, свѣчу гася, онъ ложе
Взглядомъ огненнымъ окинулъ,
Вотъ онъ пледъ свой перекинулъ
На плечо... и не тревожа
Спящей, темными дверями
Вышелъ вонъ, дышать цвѣтами
Южной ночи, въ этомъ садѣ,
Въ этой трепетной прохладѣ,
Гдѣ богинь не мало бѣлыхъ,
Подъ рѣзцомъ окаменѣлыхъ,
Въ неподвижныхъ покрывалахъ
На высокихъ пьедесталахъ,
Гдѣ луна дробитъ сіянье,
Гдѣ цикады стрекотанье,
Точно музыка съ куртины,
Переходитъ на руины,
Гдѣ изъ-за горы лѣсистой,
Озаренное луною,
Свѣтитъ море золотистой,
Уходящей полосою,
И любовно ластясь къ соннымъ
Берегамъ, загроможденнымъ
Сгла́женными валуна́ми,
Лоснящимися волнами
Ихъ зализываетъ раны,
И на отмели песчаны
Точно сыплетъ жемчугами
Перекатными; и мнится,
Кто-то ходитъ и боится

Разрыдаться, только точитъ
Слезы, въ чью-то дверь стучится,
То шурша назадъ волочитъ
По песку свой шлейфъ, то снова
Возвращается туда же
И затѣмъ же... и другого
Ничего нѣтъ,—вѣчно та же
Музыка, пульсъ жизни вѣчной
Міровой, земной, сердечной.

Изъ-подъ листьевъ, сѣтью черной,
На песокъ дорожки сорной,
Капли слезъ ночныхъ роняя,
Выступаетъ тѣнь ночная.
По песку дорожки этой,
Въ теплыхъ туфляхъ, въ пледъ одѣтый,
Онъ идетъ, потупивъ очи.
Онъ не видитъ блеска ночи,—
Онъ ея не видитъ тѣни,
Трепета ея не слышитъ.
Вотъ какія-то ступени—
Онъ стоитъ, и жадно дышитъ—
Дышитъ этою прохладой,
Какъ единственной отрадой.

Что́ въ душѣ его, какая
Въ эту ночь въ ней зрѣетъ му́ка—
Злая месть или слѣпая
Ненависть, или.... разлука?!

VIII.

Та же ночь и тотъ же садъ;
Дальше отъ своихъ палатъ

Онъ идетъ, тоской томимъ,
Только тѣнь идетъ за нимъ,
Только туфли шелестятъ,
Да кузнечики трещатъ,
Да морской, широкій валъ
Мѣрнымъ гуломъ изъ-за скалъ
Говоритъ, что глубина
И въ безвѣтріе слышна.

Вотъ, идетъ онъ мимо грядъ,
Вдоль своихъ оранжерей.
Вотъ курчавый виноградъ
Отъ серебряныхъ лучей
Прячетъ золотистый матъ
Наливныхъ своихъ кистей.

Вотъ, разбитые горшки,
Стекла въ рамахъ; парники...
Сильно пахнетъ торфяной
Въ кучу сваленной землей;
Вотъ и домикъ, гдѣ живетъ
Вмѣстѣ съ сыномъ садоводъ;
Аистъ на трубѣ стоитъ;
Вотъ таинственно журчитъ
Ключъ по скату; но баронъ
Самъ не зналъ, куда онъ шелъ,
Такъ въ себя былъ погруженъ,
Такъ на жизнь свою былъ золъ.
Вдругъ, глаза онъ поднялъ, и
Видитъ на краю скамьи,
Подъ навѣсомъ деревца
Кто-то, сгорбившись, поникъ,
Юноша или старикъ,—

Не видать его лица;
Но узналъ его баронъ—
И, скрестивъ ладони рукъ,
Какъ на муху злой паукъ,
Какъ подкравшійся бандитъ,
Онъ на юношу глядитъ.
И мечтаетъ мой баронъ:
Какъ онъ будетъ отомщенъ,
Какъ онъ желчь свою уйметъ,
Если нищихъ онъ сведетъ,—
Повѣнчаетъ, для того
Чтобъ не дать имъ ничего,—
Какъ онъ будетъ презирать—
Молча руки потирать!...

—

Вотъ подходитъ онъ къ нему,
Прикасается къ плечу.

БАРОНЪ.

Вы ли это? не хочу
Вѣрить. Это почему
Вы не спите?

АЛЕКСѢЙ.

Ну, ей-ей,
Не узналъ я васъ, баронъ.
Чортъ возьми! какой тутъ сонъ!
Много ли такихъ ночей
Я увижу тамъ, гдѣ нѣтъ
Этой звонкой ширины

Моря и такой луны....
Но.... вы, кажется, больны?

БАРОНЪ.

Какъ не быть больнымъ душой!
Поступаете со мной
Вы безбожно, милый мой!

АЛЕКСѢЙ.

Это какъ?

БАРОНЪ.

Вы влюблены.

АЛЕКСѢЙ.

Ну, положимъ....

БАРОНЪ.

И она
Въ васъ безумно влюблена.

АЛЕКСѢЙ.

Кто жь мѣшаетъ ей любить?

БАРОНЪ.

Кто мѣшаетъ!... Можетъ быть,
Вздоръ мѣшаетъ,—кошелекъ
Мой мѣшаетъ.... и цвѣтокъ
Нѣжный долженъ погибать!...
Вы—счастливецъ! обладать

Въ правѣ тѣмъ, что́, такъ сказать,
Къ вамъ идетъ само собой,
Теплой, любящей душой
Женщины и красотой.
Но вы, странный господинъ!
Любите исподтишка,
И такая же тоска
Гложетъ васъ, и вы одинъ
Ночью бродите, какъ тѣнь.
Вотъ, уже который день,
Какъ не видно васъ.... Любить,
Пламенно любимымъ быть—
И скрываться! Сколько разъ
Вы твердили, что для васъ
Тошенъ нашъ идеализмъ,
Нашъ туманный романтизмъ;
Спрашиваю васъ, какой
Идеальный реализмъ
Заставляетъ васъ мечтать
И безсонницей страдать?

АЛЕКСѢЙ.

Что жь мнѣ дѣлать?

БАРОНЪ.

Боже мой!
Что вамъ дѣлать!.. быть со мной
Откровеннымъ...

АЛЕКСѢЙ.

Да вѣдь вамъ
Все извѣстно—по глазамъ

Все читаете. Къ чему
Откровенность...

БАРОНЪ.

А къ тому
Откровенность, чтобъ я зналъ,
Какъ я долженъ поступить,
И куда мнѣ отступить,
Такъ, чтобъ я не рисковалъ
Оскорбить троихъ: Мими,
Васъ и самого себя.

АЛЕКСѢЙ (*про себя*).

Деликатность—чортъ возьми!

БАРОНЪ.

Что же дѣлать! Я, любя
Женственность и красоту,
Ненавижу слѣпоту:
Явная измѣна мнѣ
Легче и сноснѣе той
Лицемѣрной, чтó порой
Люди прячутъ въ глубинѣ
Мутной совѣсти. Одной
Милости прошу у васъ—
Будьте счастливы. Итакъ,
Отвѣчайте же.

АЛЕКСѢЙ.

Не разъ
Думалъ я, что вы чудакъ

Невозможный, оттого,
Что въ душѣ у васъ одно
Самолюбье, ничего,
Кромѣ самолюбья.

БАРОНЪ.

Но
Гдѣ вы видите его?

АЛЕКСѢЙ.

Развѣ не самолюбивъ
Тотъ, кто смѣетъ говорить:
«Ты, любезный, долженъ быть
Откровененъ и счастливъ,
Такъ какъ я того хочу!»
Я-съ на это не ропщу,
Да и не могу роптать,
Такъ какъ мнѣ отъ васъ скрывать
Нечего, а счастье дать
Вы не можете. Оно
Такъ же не дается вамъ,
Баловнямъ и богачамъ,
Какъ и намъ. Ей-ей, смѣшно
Видѣть васъ страдальцемъ. Но
Я не осуждаю васъ:
Не пришелъ еще тотъ часъ,
Не насталъ еще тотъ вѣкъ,
Чтобы каждый человѣкъ
Былъ настолько оцѣненъ
И блаженъ, насколько онъ
Соплеменниковъ своихъ
Цѣнитъ, трудится для нихъ.

Такъ бесѣдуя, они
Шли уже въ саду—въ тѣни
Старыхъ кленовъ, и баронъ
Былъ, казалось, удивленъ:
«Неужели онъ влюбленъ!»
Думалъ онъ. «Ужели онъ
Неповиненъ, какъ дитя?
Или—полюбилъ шутя
И расчетливъ, какъ старикъ?
Или я людей отвыкъ
Понимать?!...» И моря шумъ
Сталъ вторгаться въ область думъ,
Отравляющихъ его.
Подозрѣнья своего
Онъ уже не выражалъ;
Молча сомнѣваться сталъ
Въ *ихъ* коварствѣ, въ *ихъ* винѣ,
И лицо его не такъ
Было блѣдно при лунѣ,
Но—въ глазахъ былъ тотъ же мракъ.

IX.

А Мими давно проснулась,
Простонала, потянулась,
Догадалась, что одна.
Жарко... Ночь была душна;
Парусинныя маркизы
Были спущены; луна
Изъ-за нихъ была видна
Въ видѣ мутнаго пятна;
Золоченые карнизы

У камина небольшой
Выемкой едва мелькали;
Чуть блестѣлъ графинъ съ водой;
Часики впотьмахъ стучали.

«Лучше встану! Боже мой!
Гдѣ мой сонъ, гдѣ мой покой!
Духота одолѣваетъ.
А онъ окна запираетъ,
Точно я могу въ окно
Выскочить, а самъ гуляетъ!
Какъ, ей-Богу, не грѣшно
Такъ *тиранить*!
И съ постели,
Тихо тканями шурша,
Поднялась она. Забыла,
Гдѣ что къ ночи положила,
Гдѣ что сбросила спѣша.
Вотъ, на кресло пересѣла,
Башмаки нашла, надѣла
На босыя ножки, вотъ,
Утоляя жажду, пьетъ
Изъ графина; устаетъ
Отъ такого напряженья;
Свѣжей ночи дуновенья
Молодая проситъ грудь;
Зарождается желанье
Двери настежь распахнуть,
Видѣть звѣздъ ночныхъ сіянье—
Хоть минутку постоять
На террасѣ, подышать
Вѣтеркомъ и—воротиться.
Значитъ, незачѣмъ трудиться

Одѣваться, лучше ей
(Легче, проще и скорѣй)
Просто-напросто покрыться
Этой длинной простыней,
Какъ грузинскою чадрой.
И, недолго разсуждая,
Прихотница молодая,
Вся въ прохладномъ полотнѣ,
Залъ прошла, и при лунѣ
На террасѣ очутилась.
Боже мой! какая ночь!
Тѣнь ночная серебрилась;
Въ цѣломъ мірѣ шевелилось
Только море, и не въ мочь
Было вѣтру листикъ клена
Покачнуть...
— А я точь въ точь
На подмосткахъ примадонна,
Думаетъ Мими.—На мнѣ
Точно саванъ.—Я барона
Испугаю. При лунѣ,
Издали, я привидѣньемъ
Покажусь ему, и онъ—
Струситъ, мой больной баронъ.
Это будетъ лучшимъ мщеньемъ
За... за многое...
И вотъ,
Забавляясь, театральной
Поступью она идетъ
По саду. Костюмъ не бальный,
И не бальный, и не спальный,
Фантастическій; но кто жь
Можетъ видѣть! Отчего жь

И не пошалить немного!—
Вѣдь на шалости баронъ
Не всегда же смотритъ строго.
И ужь, если струситъ онъ,
Непремѣнно захохочетъ,
Такъ какъ трусомъ не захочетъ
Показать себя.
И вотъ,
Внизъ извилистой дорожкой,
Легкою ступая ножкой,
По песку она идетъ,
Точно злое привидѣнье.
Вдругъ! «Создатель помоги!»
Чьи-то слышатся шаги...
На Мими нашло сомнѣнье.
— Ну, какъ это не баронъ!...
Чу! Неужели не онъ!?...—
Чей-то говоръ за кустами...
Значитъ, кто-нибудь самъ-другъ!
И вообразите сами
Бѣдной женщины испугъ:
Судорожными руками
Уцѣпившись за края
Простыни, Мими прижала
Ихъ крестъ на-крестъ, всю себя,
Такъ сказать, запеленала.
И застыла.—
Но когда
Смѣло эти господа
Безъ малѣйшаго смущенья
Приближаться стали—о!
Согласитесь, что одно
Оставалось ей спасенье—

Убѣжать.
И *привидѣнье*
Бросилось, примявъ цвѣты,
Въ невысокіе кусты
Прилегающей куртины, —
(Въ пыльные кусты малины).
Потеряла башмачекъ,
Зацѣпилась за сучекъ;
Ногу обожгла крапивой;
Но, собравши всѣ свои
Силы, до одной скамьи
Добѣжала, что подъ ивой
Пряталась въ ночной тѣни;
Тамъ она, дрожа, приткнулась
Въ уголокъ и завернулась
Въ складки бѣлой простыни.
А баронъ остановился:
Онъ узналъ ее. Увы!
Этотъ очеркъ головы
Онъ узналъ, онъ изумился,
Или нѣтъ, вѣрнѣе, онъ
Былъ какъ громомъ пораженъ.
Онъ въ лицѣ перемѣнился,
Взялъ Алешу за рукавъ,
И сказалъ ему:
Я правъ.
Вотъ она, живая сила,
Сила страсти. Все забыла:
Осторожность, страхъ и стыдъ.
Бѣдная, воображаетъ,
Что баронъ ея храпитъ
Въ кабинетѣ; покидаетъ
Сонъ притворный и спѣшитъ

Къ вамъ въ объятья! Оставайтесь
Вмѣстѣ съ нею—не смущайтесь.
Вамъ чудакъ-баронъ даритъ
Это купленное тѣло...
—Вы съ ума сошли, баронъ!
Что за неприличный тонъ!
Какъ вы смѣли?...
— Нѣтъ вамъ дѣла
До того, что смѣю я
И чего не смѣю. Или
Вы хотите продолжать
Ту жь комедію играть!
Вы бы лучше разсудили,
Отчего бы ей бѣжать
Отъ барона! Вы не страшны—
Это мнѣ позвольте знать
Лучше васъ. Вѣдь не вчерашній
День на свѣтъ я родился,
Не дуракъ я вамъ дался!
Будьте счастливы! Ступайте—
Вонъ, она сидитъ! Прощайте!

X.

Алексѣй былъ такъ далёкъ
Отъ того, что слышалъ онъ,
Такъ глубоко потрясенъ,
Такъ взволнованъ, что не могъ
Ничего сказать въ отвѣтъ.
А баронъ свой сѣрый пледъ
Съ одного спустилъ плеча,
И бахромку волоча
За собою, молча брелъ

По дорожкѣ, блѣденъ, золъ,
Чувствуя въ колѣняхъ дрожь,
Въ сердцѣ раскаленный ножъ.

Безсознательно баронъ
Обошелъ кругомъ цвѣтникъ.
Вотъ, поднявшись, онъ поникъ
Головой въ тѣни колоннъ,
И, какъ тѣнь, въ дверяхъ пропалъ.

Тихъ и теменъ бѣлый залъ,
Только мѣсяцъ пронизалъ
Окна палевымъ лучемъ,
Кой-гдѣ полосы чертя,
Кой-гдѣ бронзу золотя;
Въ тихой клѣткѣ, подъ окномъ,
Какаду неслышно спитъ;
Тѣнь, какъ призракъ, по угламъ
Неподвижная стоитъ—
Прижимается къ дверямъ;
Да у самой вышины,
Гдѣ карнизъ лѣпной виситъ,
Не смущая тишины,
Мышь летучая кружитъ.
Но куда баронъ Кульгофъ
Повернетъ сейчасъ? Куда,
Въ кабинетъ или въ альковъ?
Что почувствуетъ, когда
Онъ свѣчу свою зажжетъ,
Ложе смятое найдетъ,
Зиму—гдѣ была весна,
Сумракъ—гдѣ была *она*.
Что онъ скажетъ, если *ей*

Вздумается у дверей
Постучаться!... Боже мой!
Что съ моею головой?!
Онъ подумалъ: «гдѣ я?!» Вдругъ
На него напалъ испугъ
Или ужасъ,—темный полъ
Изъ-подъ ногъ его ушелъ,
Окна поплыли, и свѣтъ
Лунный поплылъ имъ вослѣдъ.
Мракъ пахнулъ———
И безчувственный, какъ снопъ,
Грохнулся онъ на паркетъ.

XI.

Подъ ивой проблескъ лунный
Мелькаетъ бѣлизной.
Мими къ скамьѣ чугунной
Приникла головой,
Облокотилась, плачетъ,
Испугана она,
Боится встать, такъ свѣтитъ
Пронзительно луна.
Ночь точно день,—и кто же,
Кто въ десяти шагахъ
Стоитъ, съ тоскою въ сердцѣ
И съ дрожью на губахъ!
Стоитъ Алеша, блѣдный,
И что-то говоритъ.
Мими, полунагая,
И внемлетъ, и дрожитъ,
И объ одномъ лишь проситъ,
Чтобъ онъ не подходилъ,

Чтобъ онъ какъ можно дальше
Стоялъ и говорилъ.
И говоритъ онъ:—Вѣрьте,
Съ тѣхъ поръ, какъ сталъ я жить,
И не подозрѣвалъ я,
Что можно такъ любить.
Скажите, виноватъ ли
Вотъ этотъ мѣсяцъ въ томъ,
Что не прикрытъ ни тучей,
Ни легкимъ облачкóмъ?
Или скажите, какъ мнѣ
Любить васъ и молчать!
Нѣтъ, легче мнѣ на помощь
Безуміе призвать.
Баронъ воображаетъ,
Что я любимъ. Баронъ
Мнѣ васъ даритъ! Скажите,
Ну, не подлецъ ли онъ?!
Мими сильнѣе плачетъ,
Обильныхъ слезъ приливъ
Загородивъ руками,
Локтями грудь прикрывъ.
И говоритъ: я завтра
Васъ выслушаю, я...
Глуха... глупа сегодня...
Простите вы меня...
А онъ все ближе,—тянетъ
Таинственный магнитъ:
Мими поджала ноги,
И нервно говоритъ:
— Ужели васъ не тронетъ
Моя мольба, мой стонъ!

Уйдите вонъ изъ саду—
Какъ можно дальше вонъ!...

XII.

— Какъ!—злится юный Алексѣй,
Такъ издѣваться надъ моей
Довѣрчивостью! Какъ такъ слѣпо
Повѣрить этому хлыщу!
Какъ такъ вести себя нелѣпо!
Нѣтъ! Никогда я не прощу
Себѣ такого поведенья!
Проклятый самодуръ! презрѣнья
Достойный шутъ!... И—Боже мой!
Какъ эта женщина рыдала,
Какъ чутко женскою душой
Она позоръ свой угадала!
Нѣтъ! Я не долженъ простывать—
Сейчасъ же долженъ къ ней писать,
И—приступить къ борьбѣ съ судьбою.

Какой-то средневѣковою
И рыцарскою, такъ сказать,
Отвагой грудь его дышала.
Когда рука его писала.

«Мими! вамъ слѣдуетъ бѣжать;
Баронъ считаетъ васъ рабою,
Ветошкой, вещью покупною,
И думаетъ, что уступать
Онъ можетъ васъ кому угодно;
Но если только благородно
Въ васъ сердце, если только въ васъ
Есть женской гордости хоть малость,

Бросайте все. Мими, за васъ
Невольно разбираетъ жалость.
Къ одиннадцатому утра,
Готовьте ваши чемоданы,
У насъ и лошадь есть, вчера
Ее пригнали къ намъ съ поляны;
Рессорная телѣжка есть,
И вамъ—вамъ только стоитъ сѣсть,
И я до станціи ближайшей
Берусь, дорогою кратчайшей,
Васъ черезъ горы проводить.
Бросайте путь, избранный вами
И не слезами, а трудами
Спѣшите честь возстановить.
Не приближаются безъ лести
Рабы къ рабамъ; но въ лести нѣтъ
Спасенья, также какъ и нѣтъ
Безъ независимости—чести.

. . . . . .

Забылъ мечтатель молодой,
Что эта прелесть ни къ какой
Уже работѣ неспособна.
Всего письма не привожу—
Оно восторженно и злобно
Закончилось. Одно скажу,
Письмо писалося въ припадкѣ
Иллюзій жаркихъ, въ немъ былъ бредъ
Героя двадцати трехъ лѣтъ
И утописта—въ лихорадкѣ.

И это онъ письмо послалъ
Къ Мими! и ждалъ, все утро ждалъ....

Старикъ въ великомъ былъ волненьи,
Краснѣлъ, хрипѣлъ и возражалъ.
— А что же дѣлать? замѣчалъ
Сынокъ отцу—одно спасенье
Ей убѣжать....
И вотъ, пошелъ
Запречь конька на всякій случай,
Хоть небо и грозило тучей,
А пó морю далеко шелъ,
Должно быть, шквалъ; черно-лиловымъ
Пятномъ по синимъ валунамъ
Онъ двигался и, къ берегамъ
Идя, грозилъ лѣсамъ сосновымъ.

XIII.

А между тѣмъ на виллѣ
Тревога: нашъ баронъ
Въ свой кабинетъ, на мягкій
Диванъ перенесенъ.

И вотъ, ужь онъ очнулся,
Всѣхъ гонитъ прочь, сердитъ,
Отворотился къ стѣнкѣ,
Халатикомъ прикрытъ.

И желтъ, какъ воскъ, и тёменъ,
Какъ въ бурю цвѣтъ небесъ,
Закрывъ глаза лежитъ онъ,—
На головѣ компрессъ.

И думаетъ онъ: «странно!
Когда-то соверша

Злодѣйство, я здоровъ былъ—
Не дрогнула душа...

Теперь такого вздора
Я вынести не могъ:
И возмутился духомъ,
И тѣломъ изнемогъ.

Къ возлюбленной привелъ я
Возлюбленнаго... Что жь!?
Ужели бъ легче было
Вонзить ей въ сердце ножъ!

Неужели я хуже
Отца, который дочь
Насильно замужъ выдалъ
И пировалъ всю ночь...

Вся логика въ привычкѣ:
Оригинальнымъ быть
И въ пошлости труднѣе,
Чѣмъ мучить и губить.

А что, коли напрасно
Меня попуталъ бѣсъ!!»
Баронъ привсталъ и на полъ
Упалъ съ него компрессъ.

Вотъ входитъ камердинеръ
На цыпочкахъ; больной
Ему бормочетъ:—«это
Былъ обморокъ простой.

Я къ вечеру же встану;
Но слушай ты, балбесъ,

Всѣмъ говори: мнѣ хуже.—
Подай другой компрессъ!

Придетъ Мими, скажи ей,
Что нуженъ мнѣ покой;
Да вѣжливъ будь, я знаю,
Ты грубіянъ большой.

Мими добра, какъ ангелъ...
Ты жь вещи уложи
Въ дорогу, да языкъ свой
На привязи держи.

Я ѣду, но ты знаешь,
Каковъ баронъ Кульгофъ,
Не держитъ ни минуты
Нескромныхъ халуёвъ».

И Валентинъ не знаетъ,
Что думать: бредитъ онъ,
Или не въ шутку ѣдетъ
Куда-нибудь баронъ.

Мими ушла, бѣдняжка,
Въ свой будуаръ, и тамъ,
Скрестивши пальцы, ходитъ
По лаковымъ доскамъ.

И думаетъ, что́ будетъ,
Коли баронъ умретъ,
Или съ ума вдругъ спятитъ!
Куда она пойдетъ?!

И маленькое сердце
Трепещетъ за него,

Богатаго барона—
Барона своего.

XIV.

Ужь туча наплыла,
Ужь дождикъ моросить;
Унылый Алексѣй
Подъ зонтикомъ стоитъ;
Вотъ, въ сѣни онъ вошелъ,
Вотъ вышелъ изъ сѣней;
То слышитъ брань отца,
То слышитъ крикъ гусей.
Нетерпѣливо ждетъ
Отвѣта молодецъ.
Отвѣта нѣтъ, какъ нѣтъ!—
Но вотъ несутъ отвѣтъ,
И говоритъ отецъ:
Читай его скорѣй.

Отвѣтъ Мими.

«Мнѣ некогда писать!
Нѣтъ! мнѣ не до того!
Онъ боленъ, мой баронъ,
И боленъ отъ того,
Что мой ночной *пассажъ*
Сразилъ, убилъ его.
Я вовсе не раба—
И, право бы, могла
Уѣхать, еслибъ я
На то *предлогъ нашла*.
Куда мнѣ уѣзжать!
Ахъ! Какъ на васъ я зла!

Но я прощаю вамъ,
За дружбу,—можетъ быть,
И за любовь, хоть вамъ
И нелегко любить;
Но нелегко и мнѣ
Барону измѣнить....
Хоть мой житейскій путь
И въ сторону пошелъ...
Но если, Боже мой!
Я буду вамъ нужна—
Располагайте мной...
Вѣдь не всегда же вы
Останетесь такимъ
Отчаянно-смѣшнымъ....
Прощайте до Москвы».

— Отецъ! развеселись, не хмурь своихъ бровей!
Ты правъ! съ письмомъ въ рукахъ воскликнулъ Алексѣй,
Я голодъ испыталъ,—отъ дуры не захнычу,
И честное тебѣ могу я слово дать,
Что эту глупую любовь мою размычу.
И онъ ушелъ блуждать.

Безъ грома туча уходила,
Ее несла какъ бы невидимая сила;
Среди безвѣтрія идущій съ моря шквалъ
Окрестные холмы и рощи миновалъ,
За тучей по небу шли бѣлые барашки,
По взморью—зайчики. Вдали
День вспыхивалъ и гасъ, съ увлаженной земли
Струился паръ.
Одинъ, въ поношенной фуражкѣ
И въ блузѣ уходилъ мой юный Алексѣй.

Вотъ сѣлъ—заплакалъ—всталъ, по волосамъ руками
Провелъ—почувствовалъ, что сталъ сильнѣй, бодрѣй,
Не устаетъ,—спѣша за облаками,
Которыя бѣгутъ, какъ стадо, передъ нимъ
И расплываются туманомъ золотымъ.
И вотъ уже двумя живыми голосами
Природа съ нимъ ведетъ свой тайный разговоръ:
То голосъ моря и пустынный голосъ горъ.
Пускай душа, разбитая страстями,
Сама съ собой бесѣдуетъ, въ себѣ
Стремится обрѣсти ключъ къ собственной судьбѣ;
Пускай ни съ моремъ, ни съ горами
Въ одну гармонію не вяжется она,
Не видитъ чуднаго пути, гдѣ глубина
Идетъ за новой глубиною,
Гдѣ высота встаетъ за новой высотою,
Не видитъ, потому что связана одной
Любовью къ пошлости земной,
И пьетъ изъ родника, съ которымъ вытекаетъ,
Все, все, чѣмъ человѣкъ отчаянно страдаетъ:
Ложь и безуміе, презрѣнье и тоска.
Онъ слышитъ голосъ горъ—онъ слышитъ голосъ моря,
Ему ли струсить вѣтерка,
Ему ли въ шопотѣ листовъ подслушать горе!

На самый верхъ горы, увѣнчанной скалой,
Взошелъ мой юноша; высоко
Надъ нимъ шаръ солнца золотой,
Какъ бы всевидящее око,
Сіялъ, горѣлъ,—а тамъ, вдали,
Надъ сизымъ моремъ, гдѣ шагала
Недавно смерть, мечты его несли
Безсмертный образъ идеала.

И чудилось ему, на этотъ разъ,
Отвсюду милліономъ глазъ
Все человѣчество, обрызганное кровью
И загрязненное, слѣдитъ за нимъ съ любовью
И ждетъ чего-то, и зоветъ.
И онъ зоветъ, и онъ чего-то ждетъ....
Все то, что въ юношѣ въ то время просыпалось
И думалось (скорѣе ощущалось,
Чѣмъ думалось), еще ни разу онъ
Не испыталъ....
Сходя съ горы, рукою
Махнулъ онъ и сказалъ съ улыбкой молодою:
Неужели я все еще влюбленъ!?

XV.

Ночь. Въ какомъ-то балахонѣ,
Пригорюнясь, на балконѣ
Сѣла бѣдная Мими.
Прослезилась втихомолку,
Вспомнила Москву и ёлку,
Окруженную дѣтьми.
Вдругъ ей стало жаль Таганки.
И той милой гувернантки,
Что любили всѣ... Нѣтъ, нѣтъ!
Думаетъ она, очнувшись
И съ тоскою оглянувшись
На прошедшее,—нѣтъ, нѣтъ!
Я въ то время получала
По двѣнадцати рублей
Въ мѣсяцъ, матери моей
Половину отдавала;

Иногда отцу совала
Потихоньку рубль въ жилетъ,
Старика цѣлуя въ шею.
Нѣтъ, просторъ мнѣ нуженъ, свѣтъ—
Прошлаго я не жалѣю.
Что́ за смрадъ меня встрѣчалъ
Въ домикѣ на Вшивой горкѣ!
Гдѣ отецъ мой голодалъ,
Пиво пилъ въ своей каморкѣ,
Да отъ сырости не зналъ,
Гдѣ кровать свою поставить.
Нѣтъ, я рада, что мнѣ Богъ
Неожиданно помогъ
Стариковъ судьбу поправить...
Пусть что хочетъ Алексѣй
Затѣваетъ—я, ей-ей,
Не могу *его* оставить.

А баронъ въ ту ночь писалъ:
То перо изъ рукъ ронялъ,
То ронялъ платокъ свой на́ полъ.
Много писемъ онъ состряпалъ,
Много на конверты капалъ
Запаленнымъ сургучемъ,
И съ усердіемъ насильнымъ
Напирая, онъ фамильнымъ
Вырѣзнымъ своимъ гербомъ
Много писемъ запечаталъ.
Вотъ, одинъ пакетикъ спряталъ
Въ сакъ-вояжъ дорожный свой,
Что былъ тутъ же подъ рукой.

Было въ воздухѣ спокойно,
Ночь тепла казалась, но

Тѣлу было холодно.
Всѣмъ извѣстно: если знойно
Слишкомъ на сердцѣ, то жаръ
Крови въ холодъ насъ бросаетъ;
Человѣкъ не самоваръ
(Даже если и скотина).
Говорятъ, что онъ машина.
Да, но только, на бѣду,
Странная, кой-что смекаетъ,
И, на всемъ своемъ ходу,
То сама себя ломаетъ,
То стремится къ небесамъ,
Чтобъ разглядывать и тамъ
Ту же сложную машину,—
Рада цѣлый міръ сломать,
Лишь бы только отыскать
Міра главную пружину.
Мой баронъ на эту ночь
Такъ завелъ себя, что, кромѣ
Всяческихъ заботъ о домѣ,
Было бъ даже и не въ мочь
Размышлять. Всѣ размышленья
Уходили у него
На Мими, на оскорбленье,
На раскаянье, сомнѣнье
И—забвеніе всего.

XVI.

Утро. Солнце согрѣваетъ
Стѣны, зелень и гранитъ.
Спитъ Мими, или не спитъ?

Вотъ ужь стору поднимаетъ
Дочь швейцара, и ворчитъ
Что-то подъ носъ.
— Что такое?
Завернувшись въ голубое
Одѣяло, говоритъ
Виллы сонная царица.
— Онъ уѣхалъ! Что за вздоръ!—
Тяжело въ мозгу варится
Эта новость, не мирится
Съ здравымъ смысломъ.
И въ упоръ
Смотритъ горничной въ затылокъ
Удивленная Мими.
(— Выше стору подними!—)
И у ней до самыхъ жилокъ,
Что порою на вискахъ
Выступаютъ—на щекахъ
Разлился румянецъ гнѣва.
— Что за шутки!
— Шутки! эва!
И будить васъ не велѣлъ.
Только засвѣтилась зорька,
Подавать къ крыльцу велѣлъ
Экипажъ и—улетѣлъ.

Больно, тяжело и горько
На душѣ Мими; она
Даже встать совсѣмъ не можетъ,
Такъ она поражена,
Такъ мучительно тревожитъ
Эта новость.
— Боже мой!

Что жь онъ дѣлаетъ со мной!
Уѣзжаетъ, и ни слова.
Хоть бы слово мнѣ!...
И вотъ,
Зарыдать она готова,—
Руки холодны, какъ ледъ.
А швейцара дочь булавки
Подпускаетъ, дескать, вотъ,
Дождалась и ты отставки—
Дескать, стала не нужна.
— Ай! добавила она:
Я забыла, за дверями
Этотъ нѣмецъ.... молодой
Управляющій!... Что съ вами?—
— Ничего, подай мнѣ мой
Пеньюаръ. Зачѣмъ нужна я
Управляющему?
Злая
Дочь швейцара подала
Ей одѣться и ушла.

XVII.

Черезъ часъ Мими читала
Отъ барона письмецо:
То блѣднѣло, то пылало
Бѣдной женщины лицо.
Что за чудо! Покидаетъ,
Комплименты говоритъ,
И, каковъ богачъ! даритъ
Эту виллу Алексѣю;
Но съ условіемъ, что съ нею
Вступитъ онъ въ законный бракъ.

— А въ приданое добрякъ
Оставляетъ ей—*пустякъ!*
Двадцать тысячъ! но она
Эту сумму получаетъ
(По частямъ или сполна)
Послѣ свадьбы ихъ—*не прежде.*
Наконецъ, баронъ Кульгофъ
Остается въ той надеждѣ,
Что она и Гайдуновъ
Будутъ счастливы. Каковъ!

XVIII.

Отъ такой баронской прозы
То хотѣлось плакать ей
(На глазахъ зудѣли слезы),
То хотѣлось поскорѣй,
Ласкъ и страсти не жалѣя,
Осчастливить Алексѣя.
Отчего же нѣтъ! вѣдь онъ
Благороденъ и уменъ,
Свѣжъ и молодъ—(слишкомъ даже).
Такова судьба! нельзя же
Провидѣнья отрицать;
Развѣ можно было ждать,
Годъ тому назадъ, такого
Счастья: мужа молодого,
Денегъ, виллы, погребовъ,
Гардероба и цвѣтовъ?
Можно выписать карету,
Лошадей своихъ имѣть,
Какъ же ей, безумной, смѣть,

Смѣть роптать на участь эту!
О, счастливецъ Алексѣй!
Если женится на ней,
Онъ сестеръ своихъ пристроитъ,
Въ пансіоны ихъ отдастъ,
Виллу, можетъ быть, продастъ.
Наконецъ, онъ успокоитъ
Старость бѣднаго отца.
И отъ брачнаго вѣнца
Это все зависитъ! Кто же
Отречется! Боже, Боже!
Ниспославъ, не отними
Этой милости великой!
И усталая Мими
Ощутила въ сердцѣ дикой
Радости какъ бы недугъ,
И оно забилось вдругъ,
Такъ какъ никогда не билось;
Эта радость отразилась
Въ отуманенныхъ глазахъ—
Огоньками въ ихъ зрачкахъ;
Изъ души ея смущенной
Каждый вздохъ, какъ бы стѣсненный
И замедленный, мѣшалъ
Ей дышать.
Баронъ казался
Мертвецомъ—онъ ей являлся
Тѣнью; новый день вставалъ
На *ея* роскошной виллѣ,—
Иначе цвѣты цвѣли,
Иначе плоды росли,
Птицы иначе кружились

Надъ деревьями.—Любовь,
Приходи, волнуй ей кровь!

XIX.

Что баронъ покинулъ виллу
Невзначай, какъ бы тайкомъ,
Что баронъ Мими покинулъ,
Наградивъ ее письмомъ,
Небольшимъ, *безъ совложенья*,
Безъ подарковъ дорогихъ,
Словомъ, поступилъ, какъ скряга—
— Одолженій никакихъ!...
Эта вѣсть до Алексѣя,
Разумѣется, дошла,
Озадачила не мало
И, какъ будто, обожгла:
Онъ понять хотѣлъ барона
И не понялъ ничего.
И толпой соображенья
Лѣзутъ въ голову его:
То, онъ думаетъ, прекрасно!
И Мими *нашла предлогъ*.
Развязаться съ самодуромъ—
Ужь не я ли ей помогъ?
То онъ думаетъ: бѣдняжка!
Что теперь въ душѣ у ней?
Или: «мнѣ-то что за дѣло!»
Повторяетъ Алексѣй,
Цѣлый день читаетъ, пишетъ,
Хочетъ что-то предпринять.
То ее провѣдать хочетъ,
То раздумаетъ опять.

Вдругъ, представьте изумленье
И его, и всей семьи,
Отворилась дверь и входитъ
Въ гости къ нимъ сама Мими:
Бѣдныхъ дѣвочекъ цѣлуетъ,
Всѣмъ, краснѣя, руки жмётъ;
Не глядитъ на Алексѣя,
Только ласково зовётъ
На покинутую виллу:
«Приходите, я одна...»
То молчитъ, то говорлива,
То вдругъ вспыхнетъ, то блѣдна.
Что такое совершилось
Неизвѣстно, только въ ней
Нѣчто новое...
И мраченъ,
И взволнованъ Алексѣй.

—

Ночь прошла.—За Алексѣемъ
Шлетъ Мими, велитъ сказать,
Что она его все утро
Будетъ въ гротѣ ожидать.
Онъ вошелъ и, обожженный
Поцѣлуемъ, самъ не зналъ,
Какъ въ уста ея устами
Горячо поцѣловалъ.
Точно новая Калипсо —
Точно новый Телемакъ
Очутились въ этомъ гротѣ,
Укрываясь въ полумракъ.
Красота и—близость моря,

Тишина и шумъ волны....
Какъ легко тутъ быть счастливцу
Виноватымъ безъ вины...
И мой юноша не въ силахъ
Говорить былъ —
Наконецъ,
Начала она:—садитесь,
Не глядите, какъ мертвецъ.
Боже мой! Что это съ вами?
Какъ вы страстны!... Дайте срокъ...
Я еще не ваша... Вѣрьте,
Часъ блаженства не далекъ...
Бросьте всѣ предубѣжденья—
Постарайтесь все забыть....
Докажите, что вы сильно—
Сильно можете любить,—
И тогда—тогда, быть можетъ,
Вилла эта и большой
Этотъ садъ, и я—все ваше,
И вы мой—навѣки мой!...

«Вы не вѣрите?—Такъ вотъ же,
Убѣдитесь,—вотъ письмо.
Намъ его ниспосылаетъ
Провидѣніе само».
Но съ письмомъ, рука какъ будто
Задрожала—не рѣшенъ
Былъ вопросъ, увы, забытый;
Что на это скажетъ онъ?
Что онъ скажетъ?... Неужели...
Онъ такой безумецъ!? Нѣтъ!...
И Мими, склонивъ рѣсницы,
Подала ему пакетъ

И сказала: «Прочитайте!»
Алексѣй письмо прочелъ,
И съ упрекомъ, и съ досадой
На нее глаза возвелъ...

. . . . . .

XX.

АЛЕКСѢЙ.

Прощай, отецъ. Мнѣ здѣсь въ насмѣшку
Судьба готовила сюрпризъ,
А ты, судьбѣ на зло, въ телѣжку
Конька запречь распорядись,
Да и пошли въ объѣздъ проселкомъ,
На ту дорогу—гдѣ лѣсокъ,
А я покуда, какъ ходокъ,
Переберусь горами.

ОТЕЦЪ.

Толкомъ
Прошу тебя, скажи, зачѣмъ
Спѣшишь? И почему сегодня,
Зачѣмъ не завтра?

АЛЕКСѢЙ.

А затѣмъ,
Что, видно, «власть на то Господня!»
Твои же повторю слова.

ОТЕЦЪ.

Упрямая ты голова!

АЛЕКСѢЙ.

Я не могу остаться ни минутки.

ОТЕЦЪ.

И ты не шутишь?

СЫНЪ.

Что за шутки!
Коли не дашь сейчасъ конька,
Дойду до станціи и поминай какъ звали!

ОТЕЦЪ.

Безъ чемодана и мѣшка?

СЫНЪ.

Безо всего.

ОТЕЦЪ.

Съ какой такой печали
Ты такъ разстроенъ? Я боюсь,
Ужь не рехнулся ли?

СЫНЪ.

Рехнусь,
Коли останусь....

ОТЕЦЪ.

Точно преступленье

Ты совершилъ.... Другъ милый! будь со мной
Пооткровеннѣе, разсѣй мое сомнѣнье.

СЫНЪ.

Изволь... Я ухожу, чтобъ ты ко мнѣ съ мольбой
Не приступалъ, чтобъ ты своей слезой
Не размягчилъ меня, чтобъ я большой свиньей
Не сдѣлался, чтобъ я съ ума не спятилъ,
Чтобъ я своей свободы не утратилъ,
Чтобъ убѣжденіямъ своимъ не измѣнилъ,
Чтобъ я, какъ всѣ, не вышелъ въ люди,
И чтобъ никто не говорилъ,
Что я могу быть купленъ. Понялъ?

ОТЕЦЪ.

Буди
Мое благословенье надъ тобой.
Прощай!

(Со слезами обнимаетъ сына и провожаетъ его).

Ушелъ! Владыка мой
Небесный! Что за человѣкъ онъ, право!
Что ждетъ его? Какая слава
Или какая гибель? Или онъ
По молодости лѣтъ такъ колобродитъ?
Воображаетъ, что иначе сотворенъ,
И—счастья въ счастьѣ не находитъ.

ЭПИЛОГЪ.

Конецъ разсказу; но концовъ у жизни нѣтъ,
Пока могила ихъ не спрячетъ:
Прелестная Мими еще во цвѣтѣ лѣтъ,
Влюбляетъ, никого не любитъ и не плачетъ
Ни о баронѣ чудакѣ,
Ни о досадномъ бѣднякѣ.

Баронъ состарѣлся—но все еще тревожно
Чего-то жаждетъ—и понять
Не хочетъ, что ему пока еще возможно
Одной продажною любовью обладать—
И что нигдѣ,—въ Россіи даже,
Нѣтъ истинной любви въ продажѣ.

Алеша возмужалъ—онъ всюду съ увлеченьемъ
Себя работѣ посвящалъ;
Но сочетать хотѣлъ работу съ убѣжденьемъ,
И откровенностью заносчивой страдалъ:
Болталъ, что деньги разумъ губятъ
И что дѣльцы народъ не любятъ.

Судя по блѣдности, по выраженью глазъ
И по его ланитамъ впалымъ,
Онъ много бѣдствовалъ и голодалъ не разъ.
Ожесточился, но—остался честнымъ малымъ.
Порой у насъ такихъ ребятъ
И понимать-то не хотятъ.

Итакъ недаромъ я разсказъ мой озаглавилъ
Прелестнымъ именемъ: Мими!
Недаромъ красоту ея цѣнилъ и славилъ—
Она одна въ ходу и даже—чортъ возьми!
Я слышалъ, генеральшей будетъ—
И кто ее тогда осудитъ!

Собаки.

Юмористическая поэма.

(Отрывки).

ПРЕДИСЛОВІЕ ИЗДАТЕЛЯ.

Тому назадъ около шести лѣтъ, забѣжала къ намъ на дворъ шальная собака. У ней въ зубахъ былъ какой-то свертокъ, — и я сталъ изъ-за угла слѣдить за ней. Собака вбѣжала въ дровяной сарай и минутъ черезъ пять выбѣжала оттуда уже безъ свертка. Увидавъ меня, она поджала хвостъ и скрылась за воротами. Я тотчасъ же пошелъ въ сарай и, за дровами, въ сѣнѣ, нашелъ тетрадь, исписанную стихами.... Вернувшись къ себѣ въ кабинетъ, я сталъ разбирать эту рукопись и убѣдился, что это—не то собачій дневникъ, не то поэма. Только, явно, поэма эта уже побывала въ собачьихъ зубахъ; мѣстами она смята и прокусана—нѣсколькихъ страницъ недостаетъ, многіе стихи прочитать невозможно. Напечатать ее я желаю ради курьеза. Кто былъ авторомъ этой рукописи—та ли собака, которая забѣгала къ намъ на дворъ, или другая, это—до сихъ поръ для меня покрыто мракомъ неизвѣстности.

ПРЕДИСЛОВІЕ АВТОРА.

Ночь,—осенній вѣтеръ воемъ воетъ сдуру.
Слышу—капъ-капъ!—дождикъ начинаетъ капать.
Муза! дай мнѣ лапу и войди въ конуру;
Будемъ, ради скуки, хоть стихи царапать.
Ахъ! Собакіаду я бъ желалъ состряпать,
Но коли не въ модѣ даже Иліада,
Можетъ провалиться и Собакіада.
Нѣтъ, ужь лучше все, что память продиктуетъ,
То и напишу я. Сердце негодуетъ,
Жизнь снимаетъ маску—исчезаютъ грезы,
Соловьи не свищутъ и поблекли розы.
Муза! Будь собакой! Такъ какъ вдохновеньемъ
Я обязанъ псарнѣ и ея героямъ,
Такъ какъ скорбный духъ мой дышитъ умиленьемъ
Истинно собачьимъ—то не сладкимъ пѣньемъ
Щекочи ты душу, а пріятнымъ воемъ....
Такъ сейчасъ мы нашу лиру и настроимъ.

ГЛАВА I.

Мирза и Мирзиха.

Родился я въ царствѣ,—а въ какомъ?—не знаю,
Знаю только то, что царство это съ краю,
Что въ его предѣлахъ урожаи плохи,
И что тамъ, когда-то, при царѣ Горохѣ,
Много было водки и—не мало чаю.
Въ этомъ достославномъ царствѣ, достохвально
Жилъ-былъ воевода—и я досконально
Васъ могу завѣрить, что сей воевода,
Иль Мирза, не только знатнаго былъ рода,

Но и былъ изъ первыхъ въ нашемъ околоткѣ—
(Много выпилъ чаю и не мало водки....)
Все, что обитало подъ одной съ нимъ крышкой,
Съ кухни до каморки, что́ подъ самой вышкой,
Ѣло, пило, дрыхло, словомъ, наслаждалось
Такъ, какъ наслаждаться могутъ только боги....
Въ ста верстахъ на сѣверъ отъ большой дороги,
Тамъ, гдѣ въ двухъ озерахъ небо отражалось,
На семь верстъ владѣнье наше простиралось;
Лѣсъ шумѣлъ на западъ, а на югъ въ туманы
Уходили вѣчно-сонные курганы....
Помню, какъ на солнцѣ серебрясь, надъ нами
Голуби кружились, какъ надъ голубями,
Распластавши крылья, плавали орлята,
Какъ не разъ тонули въ заревѣ заката,
Прозвенѣвъ въ туманныхъ высяхъ небосклона,
Журавли.
О, юность! радужное лоно
Золотой надежды! О, мой сонъ счастливый!
Какъ всему я вѣрилъ!
Даже Мирза Сивый
(Такъ нашъ воевода въ свѣтѣ прозывался),
Плотный, бородастый, смуглый, молчаливый,
То какъ туча грозный, то какъ ночь сонливый,
Идоломъ какимъ-то мнѣ тогда казался.
На охотѣ былъ онъ величавъ и важенъ,
Не пыхтѣлъ, не фыркалъ, хоть и былъ отваженъ;
Молча подносилъ онъ ко́ рту флягу съ водкой,
Молча помавалъ онъ то перстомъ, то плеткой,
И псари отлично понимали дѣло,
Выгоняли звѣря—въ рогъ трубили смѣло—
И глядѣлъ героемъ старый доѣзжачій,
И худая лошадь не казалась клячей,

И всегда побѣду праздновала свора;
Но дни нашей славы миновали скоро.

. . . . . .

Маленькая, злая, бѣленькая, въ тонкомъ
Кружевѣ и съ лаской въ голосёнкѣ звонкомъ,
Фея овладѣла бариномъ и дворней.
По Мирзѣ—Мирзихой мы ее назвали.
(Не было печали—черти накачали).
Баринъ на два года сдѣлался проворнѣй,
И распоряжался—все распоряжался,
Только на охоту ѣхать не собрался.
Наконецъ, такое далъ онъ повелѣнье:
«Такъ какъ лай собачій только насъ въ смущенье
Вводитъ понапрасну—водолазъ же воетъ
Ночью такъ, что можетъ нервы намъ разстроить,
Мы повелѣваемъ сторожей удвоить
И загнать на псарню всѣхъ собакъ».
Признаться,
Слишкомъ было дико такъ распоряжаться.
И кому же? Развѣ этотъ Мирза Сивый
Зналъ о нервахъ больше, чѣмъ кремень съ огнивой?
Развѣ, дикой страсти подвергаясь частымъ
Бурямъ, не глядѣлъ онъ дубомъ коренастымъ?
Скоро—слишкомъ скоро надломилась сила!
Барыня, натѣшась бариномъ, рѣшила,
Что его въ покоѣ слѣдуетъ оставить,
Чтобъ самой пошире крылышки расправить.
Барыня велѣла на балконъ поставить
Лавры, кипарисы, чтобъ онъ въ полдень душный
Отдыхалъ, мечтая о судьбѣ, послушной
Всѣмъ его затѣямъ. Около кушетки,
Пропустя сквозь мирты вьющіяся вѣтки
Молодого хмеля, ближе къ изголовью

Насадила розы, для того чтобъ пахли
Розы эти самой чистою любовью
И, благоухая, незамѣтно чахли....
Выше у карниза, передъ галлерейкой,
Помѣстила клѣтку съ желтой канарейкой,
Съ тѣмъ чтобъ птичка пѣла, не напоминая
Старческому слуху ни роговъ, ни лая.
Но противорѣчій бездна въ человѣкѣ.
Барыня была бы, кажется, навѣки
Лишена отрады, если бы украли
У нея Амишку,—кажется, съ печали
Умерла бы, еслибъ въ ревности задорной
Эту *амку* наши амки искусали.
До того малютку эту баловала,
Страстная Мирзиха такъ её любила,
Что ее не только въ садъ гулять водила—
Прижимала къ сердцу, нѣжно цѣловала....
Правда, что въ такую милую малютку
Каждый песъ влюбиться могъ бы не на шутку:
У нея глазенки были просто—чудо!
Черные алмазы! Лобикъ былъ курчавый,
Носикъ былъ задорный, хвостикъ былъ вертлявый,
Маленькія ножки—прелесть! но покуда
Мы ее оставимъ.

ГЛАВА II.

Наша псарня.

Муза! Начинаемъ!
Псарня помѣщалась за пустымъ сараемъ.
Съ трехъ сторонъ колючимъ тыномъ обнесенный,
И не столько грязный, сколько загрязненный,
Дворикъ нашъ снабженъ былъ сточною канавкой
И кой-гдѣ прикрытъ былъ травкою-муравкой.

Помню я и этотъ длинный шестъ съ бадьею,
И колодезь этотъ—съ дождевой водою,
И съ зеленовато-склизкимъ дномъ колоду,
И шалашъ—пріютъ нашъ въ мокрую погоду;
Но—всего виднѣе былъ на псарнѣ нашей
Домикъ въ видѣ бани; онъ когда-то кашей,
Творогомъ и щами пахнулъ такъ, что—чудо!
И забитъ досками не былъ онъ, покуда
Жилъ тамъ вмѣстѣ съ кошкой старый доѣзжачій.
Разъ, онъ спьяну понялъ нашъ языкъ собачій,
Услыхалъ, что каждый честный песъ ругаетъ
Пьяницу за то, что псарню обираетъ,
И пошелъ, шатаясь, къ барину съ доносомъ,
Зарапортовался и—остался съ носомъ.
(Сталъ нести такую, значитъ, ахинею,
Что тотъ слушалъ, слушалъ, да и выгналъ въ шею).
Эта неудача такъ ошеломила
Старика, что индо—сердце въ немъ заныло.
Сѣлъ онъ рядомъ съ кошкой, сталъ ей куры строить,
(Чуть ли не свѣтлицу ей хотѣлъ построить!)
И сидѣла кошка, жмурясь и мурлыча,
А старикъ, корявымъ пальцемъ въ воздухъ тыча,
Плелъ пустыя рѣчи—плелъ и горячился,
Наконецъ, озлился, да и побожился,
Что коли собаки—черти! такъ и эдакъ
Смѣютъ разсуждать, то—что же напослѣдокъ!
Напослѣдокъ то, что онъ ихъ всѣхъ заставитъ
Повизжать и кончитъ тѣмъ, что ихъ удавитъ.
Отыскавши петлю, долго онъ косился
На собакъ—и что же? видно, самъ рехнулся,
Самъ, несчастный, спьяну въ праздникъ удавился—
Такъ сказать, въ глухую вѣчность окунулся....
Насъ объ этомъ грустномъ случаѣ въ окошко

Прежде всѣхъ, конечно, извѣстила кошка;
И глаза такіе страшные при этомъ
Сдѣлала, что... первый, будучи поэтомъ,
Я завылъ... другіе вытянули рожи.
Хоть и былъ онъ низкій человѣкъ—а все же
Человѣкъ хорошій, добрый... Эхъ, канальство!
Трусили мы—будетъ новое начальство!

. . . . . .

Издали, плаксиво лаяли мы въ оный
Часъ, когда на псарнѣ къ намъ въ темнозеленой
Формѣ, съ портупеей, съ кипами бумаги.
Какъ брусника красный, какъ орѣхъ ядрёный,
Появился приставъ и—не безъ отваги
Въ домъ вошелъ. Признаться, будучи поэтомъ,
Я ужасно струсилъ лѣкаря съ ланцетомъ,—
Лѣкаря, который шелъ за нимъ туда же.
(Отъ роду фигуры не видалъ я гаже!)
Ротъ и носъ, и уши, все въ немъ улыбалось....
Муза! для того, чтобъ сердце не смущалось,
Выскобли ты лапой все, что прозаично,
И забудь все то, что помню я отлично.

Къ ночи все затихло—къ ночи, дверь подвала
Отворивши на́стежь, дворня потаскала
Провіантъ, который не былъ намъ доставленъ,
Но за то подвальный соръ былъ предоставленъ
Всѣмъ высокороднымъ гончимъ съ ихъ щенками.
Тамъ пріятно пахло сыромъ, колбасами,
Саломъ и крупою—это такъ дразнило
Аппетитъ, что даже у голодныхъ рыло
Ухмылялось. Помню, потолокъ, подпертый
Древними столбами; помню, воздухъ спертый—
Даже спиртуозный, особливо лѣтомъ.

Но и этотъ воздухъ нашимъ высшимъ свѣтомъ
Вольному простору былъ предпочитаемъ—
Ибо тамъ на сѣнѣ были такъ примяты
Теплыя мѣстечки, что аристократы
И всѣ наши *амки* ихъ считали раемъ.
Сколько было счетомъ всѣхъ собакъ, не знаемъ;
Былъ Трезвонъ, Барбоска, Соколъ былъ,—Вопило,
Марсъ (кобель зубастый и притомъ верзило).
Были тутъ борзыя, былъ одинъ здоровый
Волкодавъ, шесть гончихъ и большеголовый
Водолазъ. Изъ пришлыхъ, былъ одинъ дворовый
Песъ, весьма шаршавый, пыльный, мѣшковатый,
Словомъ, добрый малый, но мужиковатый.
Иногда являлся къ намъ Валетъ, красивый,
Вышколенный, гладкій, впрочемъ, не брезгливый;
Онъ носилъ на шеѣ голубой ошейникъ
И по женской части былъ большой затѣйникъ.
Наконецъ, не мало было оглашенныхъ,
Вислоухо-глупыхъ и чутья лишенныхъ;
Но они не стоятъ упоминовенья,
И ничѣмъ не лучше тѣхъ слѣпорожденныхъ,
Для которыхъ жаль мнѣ тратить вдохновенья
И которыхъ вовсе не хочу я славить.
Къ чести нашей псарни, долженъ я добавить,
Были между нами чудеса природы,
Псы необычайно рѣдкостной породы:
За иныя уши, за иныя морды
Дорого бы дали англійскіе лорды.
Не подозрѣвая въ ихъ душѣ притворства,
Самъ Мирза цѣнилъ ихъ чуткость и проворство.
Онъ, съ тѣхъ поръ, какъ ловкій парень, песъ Валетка,
Сталъ его любимцемъ, навѣщалъ насъ рѣдко,
И, какъ ты, читатель, врядъ ли бы повѣрилъ,

Что при немъ Валетка даже лицемѣрилъ,
Притворяясь, будто онъ не понимаетъ,
О какой зазнобѣ баринъ помышляетъ,
Въ красной фескѣ, съ трубкой, сидя на крылечкѣ
И пуская къ небу кóльца и колечки
Голубого дыму.

ГЛАВА III.

Времена романтизма.

Помню я, весною
(Въ годъ, когда такъ страшно у себя въ камóрѣ
Умеръ доѣзжачій), ждалъ я, что на сворѣ
Поведутъ насъ въ дебри прóсѣкой лѣсною,
Что подъ звуки рога темный лѣсъ проснется,
Что въ хвостѣ у волка гончихъ лай зальется,
И что зайка сѣрый—уши на макушкѣ—
Выскочивъ, дастъ тягу вдоль лѣсной опушки,—
А ему въ догонку, злы, легки и смѣлы,
Точно тетивою спущенныя стрѣлы,
Полетятъ борзыя,—думалъ, что недаромъ
Въ носъ намъ сквозь ограду бьетъ душистымъ паромъ;
Что недаромъ гдѣ-то тучка громыхнула,
Дождичкомъ запахло—ласточка юркнула,
Раздражая воздухъ крикомъ, точно плачемъ,
А надъ самой дверью домика, съ висячимъ,
Ржавымъ и похожимъ на калачъ, замочкомъ,
Гнѣздышко прилипло сѣренькимъ комочкомъ;
Думалъ я, что это, такъ сказать, заставитъ
Всѣхъ псарей подняться на ноги, что баринъ
И себя прославитъ, и собакъ прославитъ,
И за травлю гончимъ будетъ благодаренъ;

Но—когда, подсохнувъ, порыжѣли кочки,
Но—когда березокъ липкіе листочки
Подросли и стали пылью покрываться,
Мы уже не ждали.... стали отдаваться
Грусти и тревожнымъ снамъ воображенья.
Старый доѣзжачій, въ видѣ привидѣнья,
Ночью сталъ мелькать намъ; призракъ, не мигая,
На собакъ глазищи пялилъ и, сверкая
Страшными бѣлками, пропадалъ во мракѣ....
Муза! вспомни это молодое время—
Дни, когда такъ глупо было наше племя!
Вспомни, какъ въ потемкахъ трусили собаки.
Вспомни, какъ однажды Милка положила
Мнѣ на шею морду, какъ ее знобило!
Какъ нашъ Марсъ—верзило, прислонившись къ тыну,
Жмурился, какъ будто грѣлъ у печки спину,
Какъ Барбосъ, тихонько воя, всѣмъ въ отраду,
Съ чувствомъ, съ разстановкой, пѣлъ мою балладу.

. . . . . .

Но текли минуты и текли недѣли.
Въ насъ сердца кипѣли и—перекипѣли.
Многіе съ тоскою вспоминали дѣтство,
Многіе страдали. Близкое сосѣдство
Сумрачной дубравы и привольной степи
Навѣвало думы—чувствовались цѣпи
Праздности и рабства; дворъ нашъ загрязненный,
Съ трехъ сторонъ еловымъ тыномъ окруженный,
Сталъ ужь намъ казаться дворикомъ острожнымъ,
Что́ давало пищу мыслямъ невозможнымъ.
Къ намъ псари ходили—каждый день кормили,
Каждый день поили—милостивы были,
Гладили,—случалось, что плевали въ морду,
Но псари калитку нашу на щиколду,

Уходя, ни разу не позабывали
Запирать,—какъ будто смутно понимали,
Что уже межъ нами кой-гдѣ бродятъ толки—
Толки, что собаки, дескать, тѣ же волки,
Что имъ также можно рыскать, гдѣ угодно,
И что запирать ихъ врядъ ли благородно.
Но текли минуты и текли недѣли,
Наши либералы точно очумѣли:
Грохотанье ль грома, вмѣстѣ съ синей тучей
Уносясь, мечты ихъ въ степи уносило,
Пѣнье ли кукушки такъ расшевелило
Ихъ собачье сердце, только въ лѣсъ дремучій
На просторъ тянуть ихъ стало такъ, что ныли
Ихъ собачьи души—и собаки выли—
Трогательно выли; но не такъ, чтобъ очень....
(Слухъ людей ихъ воемъ не былъ озабоченъ).
И не разъ, бывало, мы съ тоской глядѣли
Въ темный лѣсъ, гдѣ птицы, разсыпаясь, пѣли,
Гдѣ въ кустахъ кудрявыхъ прятались дорожки,
Тѣ, что протоптали дѣвки-босоножки,
Въ часъ росистый утра, ходя съ кузовками
Въ лѣсъ за земляникой или за грибами.
Иногда, бывало, въ степь ли по дорогѣ
Угольщикъ, широко разставляя ноги,
Несъ котомку, или тощая кобыла,
Хапая зубами травку, подходила
Близко къ нашей щели, мы изъ-за ограды
На счастливцевъ этихъ лаяли съ досады....
Иногда, напротивъ,—ни гу-гу! хотя бы
Объ ограду нашу терся боровъ, дабы
Почесать щетинный бокъ свой, иль здоровый
Быкъ мычалъ, зачѣмъ-де отстаетъ корова!
И хотя бы это грубое мычанье

Съ нашей точки зрѣнья было неприлично
И могло бы вызвать въ насъ негодованье—
Ни гу-гу!—Тревожно и меланхолично,
Шевеля бровями, шевеля усами,
А носы просунувъ въ скважины, рядами
Мы лежали тихо, и все, что́ далеко,
Все, что́ хоть и близко, но, увы! для ока
Не доступно—все, что́ смутно шевелилось
Гдѣ-то *тамъ*—невольно насъ влекло, томило,
Сильно сердце билось, въ головѣ мутилось,
И въ ушахъ звенѣло, и въ глазахъ рябило...
А когда, бывало, ночью, краснымъ шаромъ
Вылѣзаетъ мѣсяцъ изъ свинцовой тучи,
А земля, какъ будто подданная паромъ,
Ждетъ дождя и ловитъ молній блескъ летучій,
Нашимъ, даже самымъ смѣлымъ либераламъ
Лѣсъ казался страшенъ. Темная трущоба,
Помню я, бывало, глухо, какъ изъ гроба,
Подаетъ свой голосъ: Гамъ!—гамъ! Къ намъ—къ
намъ! лаетъ,
То какъ будто свищетъ, манитъ и пугаетъ....
Были и такіе у насъ фантазеры,
Что въ лѣсу при вѣтрѣ слышались имъ хоры
Медвѣдей, ревущихъ страшными басами,
Медвѣдей громадныхъ, съ черными вихрами
На спинѣ. Иные даже увѣряли—
(Кажется, Барбоска увѣрялъ и многихъ,
Кажется, увѣрилъ), будто бы видали,
Какъ при лунномъ свѣтѣ, между двухъ поло́гихъ
Холмиковъ, въ туманѣ, на травѣ, мелькали
Двѣ какихъ-то чудныхъ *амки*, просто—душки,—
(Бѣленькія лапки—бѣленькія ушки),
Что у этихъ амокъ былъ вѣнокъ на шеѣ,

И что это были непремѣнно феи.
Такъ, лучи свободы въ розовую призму
Преломляясь, явно насъ вели къ лиризму:
И стихи плодились—плохо понимались,
Но, когда читались, морды прояснялись,
И не только гончихъ, даже водолаза
Иногда плѣняла пламенная фраза,
Даже *Амки* (то-есть наши дамы), тоже
Чуя духъ свободы, волновались лежа....

ГЛАВА IV. V.

. . . . . .

ГЛАВА VI.

Дни разочарованій.

Солнце закатилось и взошло—и снова
Въ тучку закатилось: миновали сутки.
Жить свободной жизнью намъ казалось ново;
Бросили мы псарню и, пока желудки
Вновь не отощали, ловко мы справлялись
Съ нашею свободой. Чудны намъ казались
Тѣ часы, когда мы за коростелями
Рыскали по степи или между пнями,
Раздвигая пышный папоротникъ, въ норы
Зарывали морды вплоть до переносья;
Или, въ злачной нивѣ лёжа, сквозь колосья,
Какъ сквозь сѣть густую, устремляли взоры
За перепелами; я же забирался
Въ барскій коноплянникъ—словомъ, наслаждался
Нѣгою свободы въ качествѣ поэта.
Кто бы могъ подумать, что свобода эта

Насолитъ намъ хуже, чѣмъ нашъ доѣзжачій!
Или мы не звѣри, или мы въ собачьей
Шкурѣ не способны быть не только львами
(Гдѣ ужь намъ!)—спасуемъ и передъ мышами.
Поневолѣ сердце желчью обольется.
Бѣдныя собаки! кто не ужаснется,
Кто не возмутится духомъ, кто проклятью
Не предастъ двуногихъ, то-есть вашу братью?
Слушайте, какая началась невзгода,
Какъ насъ подкузмила эта *мать* свобода!
Разъ, на край деревни утромъ забѣжала
Наша амка Берфа—погулять желала—
Прошмыгнула въ чьи-то сѣни, подъ скамейкой
Увидала кринку, съ непокрытой шейкой,
И ее лизнула—не безъ увлеченья.
Посудите сами, въ чемъ тутъ преступленье!
Кринка, покачнувшись на бокъ, не разбилась;
Такъ за что же злая баба взбѣленилась?
Увидала Берфу и ее хватила
Пó боку ухватомъ—чуть-чуть не убила!
Такъ-то самой милой, самой благородной,
Амкѣ и, замѣтьте, бѣдной и безродной,
Нанесла увѣчье грубая крестьянка!
Гдѣ же тутъ свобода ваша человѣчья,
Если изъ-за кринки жди себѣ увѣчья!
Черезъ день мы слышимъ—о, позоръ! цыганка
Кочевая, та, что въ пыльной, рваной шали
Шлялась по деревнѣ и её гоняли
Отъ воротъ, сманила, увела съ собою
Лучшаго борзого, нашего Ахилла,
Нашего героя. Тщетно головою
Онъ моталъ, шагая по слѣдамъ воровки;
Тщетно упирался, рвался изъ веревки,

Высунувъ языкъ свой и тоскливо воя:
Дикая цыганка увлекла героя
За своимъ обозомъ, въ вѣтеръ, въ дождь и слякоть.
Не успѣли наши псы его оплакать,
Слышимъ—нашъ отважный Марсъ ночной порою
Встрѣченъ былъ въ опушкѣ стражею лѣсною,
Съ бѣлою кокардой на суконныхъ шляпахъ.
Марсъ остановился; онъ почуялъ запахъ
Пороху, и что же—бацъ! въ него пустили
Пулю: не узнали—да и подстрѣлили.
Къ утру доплелся онъ къ намъ на трехъ ужь лапахъ.
Наконецъ—о, ужасъ!—пламенно любимый
Амками, нашъ пылкій, нашъ неутомимый
Соколъ шелъ знакомой пó лѣсу тропинкой,
Вдругъ—за промелькнувшей сѣренькою спинкой
Молодой зайчихи—въ сторону увлёкся,
Побѣжалъ въ догонку, не догналъ—обжогся.
Кажется, что въ этомъ нѣтъ еще безчестья!
Но, забравшись въ дебри дальше отъ предмѣстья,
Соколъ заблудился. Дикій звѣрь дороги
Въ дебряхъ не забудетъ; до своей берлоги
Каждый доберется, каждый слѣдъ отыщетъ,
А собака, если человѣкъ не свищетъ,
Если въ шумѣ вѣтра не услышитъ клички,
Забѣжитъ навѣрно къ чорту на кулички.
Соколъ воротился тощій и голодный.
Амки не узнали друга благородной
Морды и, съ гримасой, нагло отвернулись;
Кобели ни слова; многіе надулись.
Бѣдный нашъ Соколка! поздно ты вернулся,
Тщетно ты къ корыту головой нагнулся:
Вылизано было такъ, что дно свѣтилось.
Сердце съ болью ныло, въ головѣ мутилось;

Но никто твой голодъ не взялъ во вниманье:
Не было у нашихъ сытыхъ состраданья.
Изъ какой-то лужи слишкомъ нахлебавшись,
Заболѣлъ Соколка, легъ, спиной прижавшись
Къ тыну, изъ-подъ грязной, шелудивой шубы
Выглянулъ на солнце и, оскаливъ зубы,
Околѣлъ—и что же?—около Соколки
Раздались упреки, сожалѣнья, толки:
Дескать—мы хоронимъ лучшія надежды;
Дескать—загубили молодость невѣжды...
Амки осуждали вѣтренность героя;
Сытые рѣшили: умеръ отъ запоя.

ГЛАВА VII.

Первое засѣданіе.

Такъ злой рокъ надъ нами тѣшился всевластно!
Поняли собаки, что блуждать опасно:
Стала посѣщать насъ тайная забота.
Разъ я спалъ—и въ полночь, слышу, входитъ кто-то
И зоветъ: «проснись, братъ, приходи въ собранье:
Нынче, ровно въ полночь, будетъ засѣданье.
Мы вопросъ рѣшаемъ далеко не дѣтскій,
Иначе—задачу важности громадной,
А ты спишь и, вѣрно, видишь сонъ нескладный,
Потому что бредишь колбасой нѣмецкой.
Отрезвись, несчастный, и не будь такъ лакомъ!»
Голосъ былъ Карая. Окруженный мракомъ
Ночи, поднялся я. Помню, подгибая
Хвостъ свой, за Караемъ молча поплелся я.
Вотъ пролѣзъ лазейку, робко оглянулся,
И пошелъ съ нимъ къ лѣсу. Кто-то шевельнулся
Подъ кустомъ; мы дальше—наконецъ, мы сѣли

Подъ корнями темной и широкой ели,
Подъ шатеръ колючихъ и вилообразныхъ
Сучьевъ. Въ темномъ небѣ кучки звѣздъ алмазныхъ
Начинали меркнуть; тучи предвѣщали
Не грозу, такъ ливень. Многіе, признаться,
Тутъ же очевидно стали притворяться,
Что у нихъ разбухла печень—лихорадка,
Что они рискуютъ, ибо ждутъ припадка—
И затѣмъ спѣшили по домамъ убраться.
Насъ въ лѣсу осталось семеро: Барбоска,
Да Трезвонъ, да Стрѣлка, да Карай, да Тёзка,
Да еще съ почтеннымъ нашимъ Водолазомъ
Я—Пролазъ, покорный вашъ слуга. Пролазомъ
Рано былъ я прозванъ въ нашей буйной шайкѣ,
Потому что ловко воровалъ я сайки,
Въ дни, когда я бѣгалъ въ улицахъ столицы
И мечталъ къ царицѣ нашей, Чечевицѣ,
Поступить на службу. Но старо все это.
Первымъ либераломъ сталъ я въ это лѣто,
И меня недаромъ всюду призывали—
Всюду, гдѣ собаки нѣчто замышляли.
Въ этомъ семичленномъ засѣданьи былъ я,
Вѣрьте, не послѣдній, и не меньше вылъ я
Въ часъ, какъ президента выбирать мы стали
И кого бы выбрать головы ломали.
Выбрали, конечно, водолаза Мага,
Потому что сила, опытность, отвага,
Наконецъ ученость (зналъ онъ по-латыни),
Это все не только въ этомъ гражданинѣ
Необыкновенно мягко сочеталось,
Но и на широкой мордѣ отражалось.
Избранному нами слѣдовало громко
Первому залаять, чтобъ открыть собранье;

Но, къ несчастью, началъ голосить Трезвонка.
Честолюбецъ этотъ не почтилъ избранья.
Мы негодовали; но негодованье
Общее не вышло изъ границъ молчанья.
«Господа!» онъ началъ: «для какой вы цѣли
Собрались подъ своды этой старой ели?
Господа! сначала цѣль мнѣ укажите,
А потомъ и лайте. Вы мнѣ говорите,
Цѣль извѣстна; это—самосохраненье,
Благосостоянье, миръ и просвѣщенье.
Вотъ чего вамъ нужно!» продолжалъ Трезвонка,
«Нужны когти кошки и покой телёнка,
Отъ людей занять намъ нужно просвѣщенье,
Отъ коровы—жвачку, отъ овцы терпѣнье:
Такъ какъ эти свойства въ насъ не совмѣстимы—
Ваши цѣли глупы и недостижимы».
—«Правда!» кто-то тявкнулъ въ темнотѣ. Я началъ
Восторгаться, ибо насъ такъ озадачилъ
Этотъ смѣлый приступъ рѣчи, что, признаться,
Мы въ душѣ невольно стали поклоняться
Смѣлому Трезвону. И Карай, и Тёзка
Словно онѣмѣли; но злодѣй Барбоска
Поднялся и рѣзко началъ прекословить:
«Незачѣмъ собранья нашего злословить!»
Молвилъ онъ: «и если на слова мы скупы,
То еще не значитъ, что собаки глупы.
Если ты умнѣе, говори, какая
Цѣль твоя? мы будемъ слушать».—«А такая»,
Подхватилъ Трезвонка, «что ее едва ли
Тотъ кобель достигнетъ, кто безъ состраданья,
Безъ великой злобы, даже безъ печали,
Видѣлъ, какъ собаки наши голодали,
Или, ради пѣсенъ, то-есть завыванья,

Забывалъ свой голодъ, нужды и страданья.
Наша цѣль—одна, чтобъ поровну достало
Всѣмъ ѣды и пойла. Стало-быть сначала
Разберемъ, кто въ правѣ утолять свой голодъ?
Утолять свой голодъ въ правѣ тотъ, кто молодъ,
Кто не заразился старымъ предразсудкомъ,
Что живетъ онъ въ мірѣ не однимъ желудкомъ,
Кто рискуетъ жизнью, кто своей породы
Не щадитъ во имя братства и свободы.
Остальныя—лёжни—въ праздности и лѣни
Дни свои проводятъ на примятомъ сѣнѣ
Своего подвала. Если мы не струсимъ,
Если мы всѣмъ лёжнямъ горло перекусимъ,
Соколы не будутъ чахнуть съ голодухи,
Наши Берфы также у кривой стряпухи,
Да у бабъ не станутъ слизывать сметану,
Прибѣжитъ Ахилка, Марсъ зализетъ рану—
И тогда—утѣшьтесь—я ворчать не стану».
— «Браво!» ухмыляясь, мы шептали: «браво!
Молодецъ Трезвонка! разсуждаетъ здраво».
Но Барбосъ (сердиться онъ имѣлъ все право)
Такъ завылъ: «Во-первыхъ, насъ весьма немного,
И не мало лёжней; во-вторыхъ, отъ Бога
Не одинъ желудокъ данъ имъ, но и зубы.
Если эти зубы такъ же гложутъ кости,
Какъ и мы ихъ гложемъ, нéзванные гости
Собственною шкурой могутъ поплатиться.
Стало-быть такое средство не годится—
Не годится, ибо если мы не сладимъ—
Удружимъ подвалу, а себѣ нагадимъ.
Если же мы сладимъ, то Трезвонка ляжетъ
Самъ среди подвала—и навѣрно скажетъ:
«Тотъ изъ васъ, кто хочетъ быть достоинъ чести

Возлежать со мною на примятомъ мѣстѣ
И вкушать отраду безмятежной лѣни,
Тотъ поникни мордой и склони колѣни....»
Только что Барбоска произнесъ такую
Дерзкую тираду, я хотѣлъ убраться,
Думалъ, что Барбоса разнесутъ... Признаться,
Не слыхалъ я съ роду, чтобъ могли собаки
Такъ рычать. Мы были нá волосъ отъ драки;
Но поднялся съ мѣста водолазъ—и сразу,
Всѣ поворотили морды къ водолазу.
Истинно хорошъ онъ въ это былъ мгновенье.
Понялъ я, что значитъ холодъ вдохновенья:
Шерсть на немъ торчала и глаза горѣли—
И глядѣлъ онъ строго изъ-подъ темной ели.
— «Хорошо, Трезвонка, я согласенъ съ вами!»
Сдержанно вѣщалъ онъ. «Если вы зубами
Крѣпче—отвоюйте сытое корыто,
И подвалъ, и все, что про запасъ зарыто».
— «Лишь одно позвольте сдѣлать замѣчанье»,
Забурчалъ Трезвонка.—«Я прошу молчанья!»—
Замолчалъ Трезвонка.—«Я начну съ вопроса»,
Продолжалъ маститый водолазъ—и косо
Поглядѣлъ на морды. «Будемъ ли мы сыто
Ѣсть, когда изъ псарни унесутъ корыто?
Человѣкъ ужасенъ, если разозлится!
Чѣмъ тогда мы будемъ съ братьями дѣлиться,
Если хлѣбъ не будетъ съ неба намъ валиться.
Если жь мы другъ друга нá смерть искусаемъ,
Знаете, что скажутъ люди?»—«Нѣтъ, не знаемъ».—
— «Скажутъ: «псы взбѣсились: мы ихъ разстрѣляемъ!»
Если жь разбредемся пó лѣсу, то всякій
Дуралей, который встрѣтится съ собакой,
Будетъ бить собаку, будетъ, безъ зазрѣнья

Совѣсти, стрѣлять въ насъ ради опасенья.
Съ пулей трудно ладить, ибо пуля—дура:
Вспомните хоть Марса. Потому что шкура
У него по цвѣту схожа съ волчьей шубой,
Потому что съ виду Марсъ дѣтина грубый,
Что случилось? Марса приняли за волка
И—пафъ, пафъ! Извольте, добивайтесь толка,
Кто тутъ правъ—и если мы, собаки, правы,
Все же не найти намъ на людей расправы:
Люди и медвѣдя укокошатъ, такъ-то!»
Сказано все это было не безъ такта,
Не безъ знанья дѣла; но не унимался
Нашъ герой Трезвонка: спорилъ, огрызался.
Лишь Барбосъ, потупясь, грустно сознавался,
Что необходимо пріучиться стаѣ,
Прежде чѣмъ мечтать ей о какомъ-то раѣ,
И чутье, и мышцы примѣнить къ работѣ,
Чтобъ на рыбной ловлѣ или на охотѣ,
Безъ людей, собаки завели обычай
Каждому питаться собственной добычей.
Водолазъ согласенъ былъ вполнѣ съ Барбосомъ,
Но Трезвонъ, который оставался съ носомъ,
Въ лѣсъ къ волкамъ сбирался убѣжать—горланилъ
И пыхтѣлъ. По счастью, дождь забарабанилъ,
Сталъ шумѣть все шибче—наконецъ, сильнѣе
Полилъ: ель намокла,—стало холоднѣе,—
Потекло,—ручьями обдало Трезвонку—
И нашъ *волкъ* за Стрѣлкой драло въ перегонку
Къ намъ на дворъ, чтобъ спрятать спину подъ навѣсомъ.
Подражая этимъ храбрецамъ-повѣсамъ,
Убѣжалъ Вопило и Карай. Остались
Гражданинъ Барбоска, да я съ водолазомъ.
Мы съ Барбоской плотно къ дереву прижались,

Водолазъ легъ въ лужу—и его разсказамъ
Долго мы внимали съ тайнымъ сокрушеньемъ:
Тотъ разсказъ для насъ былъ новымъ откровеньемъ.

ГЛАВА VIII.

«Самопомощь».

Такъ вопросъ рабочій, поднятый Барбосомъ,
На господской псарнѣ моднымъ сталъ вопросомъ.
Что́ и какъ работать, такъ какъ наши руки
Стали у корыта, отъ неупражненья,
Сущими ногами? Камнемъ преткновенья
Сталъ на самомъ дѣлѣ сей вопросъ науки.
Только несомнѣннымъ было въ насъ умѣнье
Или даръ отлично дѣйствовать зубами,—
Даръ до совершенства доведенный нами.
Мастера мы были зубы каждой дичи
Показать—и это съ жаждою добычи
И тончайшимъ нюхомъ гармонировало
Такъ, что даже въ людяхъ зависть поселяло.
Но, увы, собаки, безъ людей, безъ Бога
И безъ рукъ, зубами сдѣлали немного.
Два борзыхъ отважно предались охотѣ:
Цѣлыхъ двое сутокъ были на работѣ,
Пропустили въ псарнѣ цѣлыхъ два обѣда—
И, вообразите, только затравили
Одного зайчонка. Это ли побѣда!
Юные борзые оба пріуныли:
Такъ ихъ возмутила неудача эта.
«Кончено!» ворчали. Но когда газета,
Похваливъ ихъ подвигъ, намекнула тонко,
Что такимъ героямъ одного зайчонка
И травить не стоитъ, юные борзые

Вновь ушли на травлю и мѣста пустыя
У корыта снова заняли другіе.
Разъ пропала Стрѣлка—нѣтъ и нѣтъ. Ужели,
Я подумалъ съ грустью, мы ей надоѣли
И она рѣшилась умереть—и что же
Узнаю? малютка, у которой тоже
Пылкій былъ характеръ, страстно-нервный съ дѣтства,
Тайно пожелала испытать всѣ средства
Жить трудомъ посильнымъ, такъ какъ ей въ наслѣдство
Хвостъ одинъ достался. Убѣжала—дышитъ
Ароматомъ лѣса, радуется, слышитъ:
Золотая пчелка по цвѣтамъ порхаетъ,
То жужжитъ, то молча медъ съ нихъ собираетъ;
Свѣтлый ключъ подъ ивой катитъ по песочку
Золотыя струйки, къ каждому листочку
Пробираясь, вѣтеръ смѣло ихъ цѣлуетъ;
Шепчутся листочки—ласка ихъ волнуетъ;
И летаютъ птицы, и поютъ, и всюду
Золото и зелень, трудъ и наслажденье...
«Что жь я въ этомъ пышномъ мірѣ дѣлать буду?»
Думаетъ бѣглянка. «Меду не добуду,
Вить гнѣзда не стану. Пѣть?—мое почтенье!
Сытой я не буду—не накормитъ пѣнье.
Вотъ грибы!—Ихъ много на потѣху людямъ;
Но мы постной пищей тѣшиться не будемъ—
Что за дрянь волвянки, грузди, сыроѣжки!»
Захандрила Стрѣлка. Вдругъ, представьте случай:
Слышитъ подъ сосною, въ кустикѣ, за кучей
Муравьиной, кто-то щелкаетъ орѣшки.
Кто бы это?—Шейку вытянула Стрѣлка,
Крадется... и видитъ—завтракаетъ бѣлка.
Подползаетъ Стрѣлка—ноздри шевелятся.
Бѣлка, приподнявшись, стала озираться,

Навострила ушки, вдругъ хвостомъ пушистымъ,
Какъ крыломъ, взмахнула и, по смолянистымъ
Трещинкамъ цѣпляясь, высоко взлетѣла
На сучокъ зеленой сосенки и сѣла,
Сгорбясь и поднявши хвостикъ въ видѣ эса (S).
Прозѣвала амка—еле-еле дышитъ,
Индо вся трясется; ни травы, ни лѣса—
Ничего не видитъ, ничего не слышитъ;
Видитъ только бѣлку; слышитъ, какъ орѣхи
Рыжая каналья гложетъ безъ помѣхи,
И, какъ будто дразнитъ, подъ носъ ей бросаетъ
Скорлупу. Напрасно амка разѣваетъ
Ротъ свой, воетъ, лаетъ, лапами толкаетъ
Въ дерево—каналья-бѣлка въ усъ не дуетъ,
Умываетъ рыльце, да на лапки плюетъ,
Словомъ, потеряла всякую трусливость.
Отдадимъ терпѣнью амки справедливость:
До заката солнца Стрѣлка все зѣвала
По верхамъ, покуда бѣлка не пропала
Въ темныхъ массахъ листвы, точно укатилась.
Чуть не со слезами Стрѣлка воротилась
Къ намъ въ шалашъ—и долго-долго мнѣ мѣшала
Спать и все шептала нá ухо мнѣ: «милый,
Я весь день трудилась, напрягала силы,
Напрягала зрѣнье, и, увы, напрасно!
Столько силъ напрасно потерять—ужасно!
И, представь, я бѣлку чуть-чуть не поймала—
Вырвалась; но, знаешь, надо мнѣ сначала,
Прежде чѣмъ отдаться высшимъ всѣмъ наукамъ,
Поучиться всякимъ обезьяньимъ штукамъ.
Ахъ, поймай я бѣлку—шкурку продала бы,
Завела бы домикъ, да и зажила бы...
Что ты мнѣ на это скажешь? Я хотѣла

Быть тебя достойной и—весь день не ѣла!
Нѣтъ ли хоть кусочка мнѣ взаймы?» Конечно,
Поступить не могъ я съ ней безчеловѣчно—
Далъ я ей кусочекъ. Стрѣлка благодарна.
Умненькая амка, только жаль—бездарна;
И трудиться хочетъ и никакъ не можетъ—
И чужую корку поневолѣ гложетъ.
Берфинъ сынъ другую отыскалъ работу:
Сталъ ловить лягушекъ и, трудясь до поту,
Сотнями давилъ ихъ. Для чего? признаться,
Самъ того не вѣдалъ. Развѣ обжираться
Гадами, собаки, чортъ возьми, способны!
Нѣтъ, лягушки скользки, прѣсны и несдобны!
И хотя зубами мы подчасъ гордимся,
Но въ цари къ лягушкамъ вовсе не годимся,
Не годимся, ибо—мы не любимъ голыхъ.
Такъ на кой же дьяволъ Берфинъ сынъ извелъ ихъ
Эдакую пропасть! помѣшалъ имъ квакать!
Говоритъ: трудился, чтобъ потомъ не плакать.
Добирайтесь смысла отъ такой дубины
И—не доберетесь. Наконецъ, открыли
Наши топографы, хоть и позабыли
Навести на планъ свой, пять-шесть верстъ трясины,
Иначе—болота между озерами,
Гдѣ лознякъ да кочки вышли островами,
Гдѣ для сѣнокосовъ травы слишкомъ жёстки,
Гдѣ у незабудокъ на глазёнкахъ слёзки,
Гдѣ хвощи выходятъ изъ воды хвостами,
Гдѣ тростникъ зелено-темными стѣнами
Поднялся и смотритъ, какъ цвѣтутъ кувшинки,
Какъ блестятъ букашекъ бисерныя спинки
На плавучихъ листьяхъ (если нѣтъ тумана).
Словомъ, мы открыли жилу золотую,

Гдѣ собаки наши, забираясь рано
На зарѣ, могли бы дичь хватать любую—
Разумѣю: утокъ, куликовъ, бекасовъ
(Прежде чѣмъ побьетъ ихъ вашъ поэтъ Некрасовъ).
Услыхавъ объ этомъ, къ намъ зашелъ Валетка—
Голубой ошейникъ, бѣлая жилетка,
Замша на переднихъ и на заднихъ лапахъ,
И при этомъ тонкій съ наркотизмомъ запахъ
Барскаго покоя, гдѣ сигары курятъ,
Гдѣ душатъ батистъ свой розовыя дамы
И откуда брата нашего протурятъ,
Коли не спросясь да сунемся туда мы.
Псы не ожидали этого Валета:
Покидалъ онъ рѣдко шумъ большого свѣта,
Но всегда казался искренно-любезнымъ
И твердилъ, что хочетъ быть для насъ полезнымъ.
«Говорятъ, сказалъ онъ (говорилъ мнѣ кто-то),
Будто бы нашли вы новое болото:
Не мое ли это? Впрочемъ, вотъ что знайте:
Если и мое, вы имъ располагайте
Какъ вамъ тамъ угодно, даже безвозмездно,
И ловите утокъ, только—не стрѣляйте.
Тамъ я былъ съ Мирзою, и такая бездна
Дичи тамъ, что утки на ружье садятся.
Въ этакомъ болотѣ стоитъ позаняться».
И затѣмъ пустился гость нашъ въ прибаутки:
Обѣщалъ свести насъ, показать гдѣ утки
Кишмя копошатся и утятъ разводятъ,
Гдѣ сидитъ гусыня и глаза таращитъ,
Гдѣ журавль лягушекъ на расправу тащитъ,
Гдѣ куликъ, какъ цапля, вѣчно что-то удитъ,
Словомъ, гдѣ для всѣхъ насъ, псовъ, пожива будетъ.
Обѣщалъ, утѣшилъ и надулъ, мошенникъ!

Говорятъ, боялся замарать ошейникъ,
Опоздать къ обѣду, пропустить подачку
Или, что вѣрнѣе, не хотѣлъ онъ, стачку
Съ нами затѣвая, слыть за демократа.
Глупо полагаться на такого фата!
Никакой услуги и не ожидая
Отъ Валета, наша Сайга молодая,
Амка разбитная и передовая,
Здраво разсудила: «если до болота
Можно и самимъ намъ какъ-нибудь добраться—
Значитъ, отъ собаки не уйдетъ работа
И добыча будетъ, стоитъ постараться».
Собралась, ни слова братьямъ не сказала
И ушла—и сразу селезня поймала.
Первую добычу слѣдуетъ прославить.
Первый эту Сайгу я пришелъ поздравить,
И пусть эта амка въ тинѣ замарала
Лапки, хвостъ и шею—это не мѣшало
Быть ей героиней. Сталъ я волочиться,
Зная, что добычей можно подѣлиться;
Но она, облапивъ селезня, щипала
Перья и сквозь зубы на меня ворчала.
«Боги!» говорилъ я: «женственности мало—
А какая прелесть!» Я хоть и поэтикъ,
Но какъ настоящій песъ—плохой эстетикъ:
Для меня холодный мраморъ, будь Венерой,
По сравненью съ амкой, кажется химерой.
Какъ она щипала перья!—потрошила
Селезня!—ей-Богу, видѣть было мило!
Я глядѣлъ и таялъ; но, вообразите,
Зависть распустила пагубныя нити,
Точно паутину; всѣ мы вислоухи;
Но невѣроятно, какъ пустые слухи

Могутъ насъ опутать: зависть разглашала,
Будто наша Сайга оттого поймала
Селезня, что былъ онъ дробью бекасиной
Изъ ружья подстрѣленъ, и что, съ двухъ-аршинной
Высоты свалившись, онъ не могъ подняться
И прижался къ кочкѣ, съ тѣмъ чтобъ отлежаться;
Что не только Сайгѣ, всякой овладѣть имъ
Было бы не трудно; что гордиться этимъ
Никакая амка себѣ не позволитъ;
Что напрасно Сайга говорить изволитъ,
Что сама трудилась—за неё трудился
Тотъ, кто первый порохъ выдумалъ. Я злился
На такія рѣчи. Сайга возмутилась,
И—какъ будто цѣлыхъ шесть недѣль постилась—
Страшно похудѣла. Видѣть было жалко,
Какъ она страдала, и тогда объ этомъ
Поднялась въ журнальномъ мірѣ перепалка,
Полному забвенью преданная свѣтомъ.
Но зато Трезорка, двухъ кротовъ отрывшій,
И Карай, сѣдую крысу задавившій,
Какъ дѣльцы, великой пользовались славой.
Закипѣла злоба съ ѣдкою приправой
Клеветы. Шершавымъ болѣе шершавый
Сталъ ужь ненавистенъ. У кого торчали
Уши, почему-то чуть не вслухъ желали,
Чтобъ они торчали и у вислоухихъ.
Тоненькія амки амокъ толстобрюхихъ
Поднимали на смѣхъ. Наши волкодавы
Ни борзымъ, ни гончимъ не прощали славы.
Даже я за что-то былъ у нихъ въ отвѣтѣ...
Словомъ, трудно стало жить на бѣломъ свѣтѣ.

ГЛАВА IX.

«Позоръ и негодованье».

Домикъ, гдѣ покончилъ съ жизнью доѣзжачій,
Оттого, что понялъ нашъ языкъ собачій,
Какъ руина, пустъ былъ послѣ разоренья;
Наконецъ, былъ отданъ въ полное владѣнье
Птичницѣ Аринѣ. У кривой Арины
Мужъ былъ старикашка, отставной солдатикъ.
Спрятавъ подъ фуражку желтыя сѣдины,
Онъ носилъ суконный, сѣренькій халатикъ,
Тотъ, что былъ когда-то егерской шинелью.
Въ домикѣ солдатикъ надъ своей постелью
Въ уголокъ поставилъ мѣдный образочекъ
И зажегъ лампадку; небольшой пучочекъ
Вербъ, что изъ-за стклянки съ маслом выставлялся,
Долго намъ, собакамъ, розгами казался.
Не успѣлъ солдатикъ въ домикѣ обжиться,
Какъ уже надъ кровлей сталъ дымокъ клубиться,
Затрещала печка и запахло щами:
Это примирило съ новыми жильцами
Нашихъ либераловъ—и они старались
Придержать языкъ свой, хоть и раздражались.
Лежни трепетали за подвалъ съ примятымъ
Сѣномъ; особливо баричамъ женатымъ
Почему-то было несовсѣмъ-то ловко—
Чудилося—будетъ всѣмъ перетасовка.
Амки, жоны старыхъ фатовъ, пролѣзали
Первыми къ крылечку, и когда Арина
На порогъ садилась, руки ей лизали,
Точно умоляли бѣдныхъ не обидѣть.
Хохоталъ Трезвонка, лежа возлѣ тына:
Такъ его плѣняла подлости картина;

Водолазъ ворочалъ морду, чтобъ не видѣть;
Мы жь предосторожность не позабывали:
Хворостомъ лазейку замаскировали—
И не ради страха—ради опасенья
Не найти въ дворовой твари снисхожденья
Къ нашимъ либеральнымъ преобразованьямъ.
Люди равнодушны къ умственнымъ страданьямъ
Тѣхъ, кто, поѣдая хлѣбъ ихъ, имъ не служитъ,
Или тѣхъ, кто рабскихъ свойствъ не обнаружитъ,
То-есть изъ усердья явно не потѣетъ,
И плясать на заднихъ лапахъ не умѣетъ.
Много есть на свѣтѣ гадкаго; но гаже
Этого плясанья я не знаю даже.
Только разъ, почуя аппетитный запахъ
Косточки, подпрыгнулъ я на заднихъ лапахъ
И прошелъ два шага съ вытянутымъ пузомъ.
Этому позору я обязанъ музамъ,
Ибо наша слава—нищенская слава.
Но и это было такъ давно, что, право,
Вспоминать не стоитъ. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Слушайте жь, какую выкинула штуку
Птичница кривая, даромъ что въ науку
Носъ свой не совала: что-то попилила,
Что-то построгала, да и наклеила
Всѣмъ намъ носъ—на псарнѣ, изъ досокъ и палокъ,
Для своихъ домашнихъ дуръ и приживалокъ,
Смастерила курникъ. Каково сосѣдство!

Пѣтухи и куры! Боги, наше дѣтство
Такъ ли протекало? Вспомнишь поневолѣ
Золотое время золотой неволи!
Куръ мы не видали—куры на насѣстѣ
Съ пѣтухами спали на особомъ мѣстѣ,
Подъ дырявой кровлей, въ дровяномъ сараѣ:
Было уваженье къ нашей храброй стаѣ!
А теперь? О, время! какъ оно мѣняетъ
Нравы! куръ на псарнѣ кло́ктать заставляетъ,
А собакъ—работать! Между пѣтухами—
Помню я—ну точно бригадиръ армейскій
Стараго покроя, былъ пѣтухъ индѣйскій.
Помню, какъ, надувшись, важно выступалъ онъ
За перегородкой, какъ порой оралъ онъ
Намъ скороговоркой: «Здорово ребята!»
Что за обращенье! или мы солдаты!
И къ чему, бывало, онъ такъ носъ свой морщитъ,
Поднимаетъ плечи, грудь свою топорщитъ?
Стоило, чтобъ старый нашъ солдатикъ свистнулъ
Или чтобъ хоть ради шутки поднялъ палку,
Чтобъ пѣтухъ индѣйскій, сократясь, обвиснулъ;
Ибо самъ я видѣлъ, какъ онъ въ перевалку
Побѣжалъ однажды, вытянувши шею,
А за нимъ индѣйка—драло, а за нею
Всѣ ея цыплята. Признаюсь, собаки
Хоть порой и трусы, но не забіяки.
Не упоминалъ бы я о нашей курнѣ,
Если бъ между нами не нашлися дурни,
Если бъ отъ сосѣдства пѣтуховъ ни мало
Нравственность собачья наша не страдала,
Такъ какъ все, что ново и необычайно,
Становилось нашей модой. Мы случайно
Странный фактъ открыли, фактъ, что у горластыхъ

Пѣтуховъ не то что у волковъ зубастыхъ,
У лисицъ, у зайцевъ или у медвѣдей—
Словомъ, что у нашихъ крикуновъ-сосѣдей
Вовсе не такіе, какъ у насъ, законы,
Что они по жизни, то же, что мормоны,
То же, что султаны: каждый обладаетъ
Множествомъ охотницъ, коли есть охота,
Словомъ, у любого пѣтуха безъ счёта
Жонъ или наложницъ; онъ ихъ не считаетъ,
Но за то ревнуетъ и оберегаетъ.
И—вообразите—многія собаки
Стали увѣрять насъ, что изъ подражанья
Пѣтухамъ возникнетъ благосостоянье,
Что тогда не будетъ ни страстей, ни драки,
Что и въ нашей псарнѣ каждый долженъ десять
Или двадцать амокъ взять на попеченье.
Я не соглашался.—«Нѣтъ! мое почтенье!
Лучше присудите вы меня повѣсить—
Лучше утопите!...»—заживо задѣтый,
Вопіялъ я—«только отъ опеки этой
Вы меня избавьте!» Спорили, судили:
«Можно!» голосили гончіе.—«Не можно»,
Тявкали борзые. Амки осторожно
Въ разговорахъ эту тему обходили,
Только наша Сайга смѣло прерывала
Споръ нашъ, и довольно мѣтко возражала.
Сайга говорила: «Каковы мужчины,
Таковы и дамы. Значитъ, нѣтъ причины,
Чтобъ и нашимъ амкамъ не пришла охота
Заводить супруговъ, такъ-сказать, безъ счёта.
Къ счастью, мы не куры и яицъ не носимъ:
Вашихъ попеченій, чортъ возьми, не просимъ!
Я хотя и амка, но не призывала

Кобелей на помощь, и сама поймала
Селезня въ болотѣ. Гдѣ же»—продолжала
Сайга—«равноправность, если вы хотите,
Вольничать, а амкамъ воли не дадите?
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . Водолазъ, уныло
Протянувши морду, слушалъ и—ни слова.
Стрѣлка говорила, что она готова
Все принять на вѣру, лишь бы лучше было
Жить на бѣломъ свѣтѣ. Но когда настали
Сумерки и тѣни начали сгущаться,
Помню, какъ мнѣ въ ухо тихо напѣвали:
«Измѣни-ка, вздумай съ кѣмъ-нибудь связаться,
Такъ-то искусаю!» (Кто шепталъ мнѣ это—
Не скажу: простите скромности поэта).
Какъ поэтъ, я рано понялъ, что всѣ куры—
Тряпки, оттого что записныя дуры.
Понялъ я, что этотъ ранній крикъ пѣтушій,
То же, что у вашихъ караульныхъ «слушай!».
Курица труслива и сквозь сонъ мечтаетъ,
Что пѣтухъ покой ихъ ночью охраняетъ.
А приди-ка дворникъ къ нимъ въ одной рубахѣ,
Да начни ихъ щупать,—властелинъ ихъ въ страхѣ
Будетъ только хлопать крыльями да охать.
Ни зубовъ, ни лаю—только клювъ да похоть!
Такъ ли нашихъ амокъ мы оберегаемъ!
Мы за нихъ грыземся или громко лаемъ.
Отчего жь Арина псарню обижала,
Отчего собакамъ куръ предпочитала
И не съ нами—больше съ пѣтухами зналась?
Отчего Арина съ нами обращалась
Дерзко? «Ахъ вы! псы вы! Чтобъ вамъ провалиться!»

Хуже и глупѣе можно ли браниться!
Нашъ Трезвонъ на это отвѣчалъ ей лаемъ;
Но Барбоска въ грусти сталъ неузнаваемъ.
Онъ ругню Арины слушалъ равнодушно.
Вотъ, однажды, помню, всѣмъ намъ было скучно,
Цѣлый день Арина только куръ кормила
И, когда мы лѣзли въ сѣни къ ней, намъ въ рыло
Тыкала ухватомъ. Чувствуя волненье
Крови молодое, милый нашъ мечтатель
И ораторъ, словомъ, нашъ Барбосъ-пріятель,
Какъ бы выражая полное презрѣнье
Къ птичницѣ и къ людямъ, сумрачный и гордый,
Легъ со мною рядомъ, то-есть морда съ мордой,
И тихонько началъ завывать: «о, люди!
Обезьянье племя! или въ вашей груди
Сердце превратилось въ камень и погасло
И уже не свѣтитъ, какъ ночникъ безъ масла?
Или сердце это слишкомъ ожирѣло?—
До высокихъ цѣлей нѣтъ уже вамъ дѣла!
Отчего воздушнымъ, широко-полётнымъ
Коршунамъ и быстрымъ соколамъ залетнымъ,
И орламъ могучимъ, наконецъ, синицамъ,
Жаворонкамъ—словомъ, всѣмъ свободнымъ птицамъ
Предпочли вы глупыхъ куръ?! Ужь не за то ли,
Что у нихъ ни страсти, ни ума, ни воли,
Даже сильныхъ крылъ нѣтъ, такъ какъ крылья эти
Ихъ поднять не въ силахъ выше вашей клѣти.
Дорого вамъ только тó, что вамъ даётся,
Только тó, что въ вашихъ лапахъ тщетно бьётся,
То, что общипать вы можете. Давно ли
Сами вы, какъ будто поблажая волѣ,
Пѣли: «Взвѣйся, взвѣйся выше, понесися!»
Если эти пѣсни не перевелися,

Если и теперь вы, люди, ихъ поете—
Какъ вы лицемѣрны! какъ вы страшно лжете!
Такъ Барбосъ тихонько вылъ. Не безъ вліянья
На меня осталось это завыванье.

ГЛАВА X.

Разладъ и препирательства.

Общество собачье стало распадаться,
Партіи плодились, съ тѣмъ чтобъ препираться:
Жарки и зубасты были наши споры.
Помню, у лазейки, начались раздоры,
То же—у подвала, у колоды—тоже.
Злоба превратила наши морды въ рожи;
Издали казалось, на иныхъ собакахъ
Рожи эти были въ галстукахъ и бакахъ.
Мы въ карикатурахъ поневолѣ стали
Узнавать знакомыхъ, даже прославляли
Карикатуриста (знать, таковъ духъ вѣка)
За портретъ Валетки въ видѣ человѣка.
Даже я представленъ былъ весьма недурно
И съ хлыстомъ, и въ шубѣ—прекарикатурно!
Наши амки тоже, въ видѣ дамъ, являлись
Въ кружевахъ, въ шиньонахъ, словомъ, представлялись,
Съ нашей точки зрѣнья, не совсѣмъ прилично,
Но за то пикантно и юмористично.
И, вообразите, наши молодыя,
Вѣтреныя амки, глядя на такія—
Такъ сказать, на вкусъ ихъ сдобныя картинки,
Стали подражать имъ, выгибали спинки,
Выставляли лапки и, я слышалъ, шубки
Зимнія сбирались промѣнять на юбки.

Были и такія амки, что природный
Хвостъ свой выдавали за какой-то модный:
Такъ собачьи нравы стали развращаться.
Но гдѣ ядъ, тамъ, вѣрьте, есть противоядье.
На аренѣ свѣта стали появляться
Не однѣ тупицы, жалкія исчадья
Лѣни, зубоскалы, или лежебоки—
Стали появляться вѣщіе пророки.
Водолазъ изъ первыхъ звалъ насъ къ совершенству,
Къ высшему развитью и къ самоблаженству,
А самоблаженствомъ называлъ онъ счастье
Въ міровыхъ движеньяхъ принимать участье.
Иногда во имя *звѣрчества* взывалъ онъ,
Ибо въ этомъ громкомъ словѣ совмѣщалъ онъ
Всѣхъ четвероногихъ—отъ слона до мыши:
Можетъ ли собачья мысль подняться выше!
За такія мысли наши патріоты
Друга записали чуть не въ идіоты,
Ибо вдохновлялись травкой возлѣ сруба,
Глубиной колодца, древностью колоды,
Думали, что гласъ ихъ—гласъ самой природы
И по той причинѣ выражались грубо.
«О, куда идемъ мы!» басомъ сиповатымъ
Восклицалъ Вопило, ставшій ихъ вожатымъ:
«О, куда идемъ мы? Что насъ ожидаетъ?!—
Степь насъ развращаетъ, лѣсъ разъединяетъ;
Водолазъ съ ума всѣхъ насъ сводить изволитъ;
Окаянный курникъ намъ глаза мозолитъ;
Пѣтухи надъ нами возвышаютъ голосъ,
Подросли ихъ перья, сталъ линять нашъ волосъ...
Да, да, да, глядите, какъ мы облиняли,
Отъ звѣрей отстали, къ людямъ не пристали.
Прежде называли мы нашъ трудъ охотой,

А теперь охота сдѣлалась работой
Трудной и тяжелой. Много всякой дичи;
Но безъ человѣка нѣтъ у насъ добычи.
Будь я волкъ, будь кошка, будь я сычъ иль дятелъ,
Я бы понапрасну и рѣчей не тратилъ;
Но я песъ: собачьимъ духомъ я пропитанъ,
Амками взлелѣянъ, псарнею воспитанъ.
Псарня! вотъ гдѣ наши прадѣды и дѣды
Жили и служили не своей гордынѣ,
А Мирзѣ, который славилъ ихъ побѣды
Надъ такою дичью, о которой нынѣ
Ни въ степяхъ, ни въ дебряхъ нѣтъ ужь и въ поминѣ.
Гдѣ теперь олени, или хоть кабаны—
Тѣ враги, что предкамъ наносили раны
Страшныя своими страшными клыками?
Гдѣ они?—исчезли всѣ подъ ихъ зубами.
Мы же, ихъ потомки, чѣмъ мы похвалиться
Можемъ?—остается предками гордиться.
Развѣ эта псарня намъ не мать родная?
Развѣ не должны мы за нее молиться,
Съ тайною отрадой очи поднимая
На старинный шестъ сей или, углубляя
Взоръ нашъ въ этотъ древній срубъ, гдѣ ключевая
Струйка безъ журчанья и безъ пѣны льется.
Этотъ ключъ—не знаю, какъ у васъ зовется:
Я ключемъ народнымъ ключъ тотъ называю,
И—въ него я вѣрю и—не унываю.
Кто въ него заглянетъ, тотъ не безъ смущенья
Тамъ, на днѣ, увидитъ свѣтъ и отраженье
Собственной ничтожной личности—и это
Есть предметъ блаженныхъ пѣсенъ для поэта
И для философской мысли откровенье.
Господа, повѣрьте, въ глубинѣ чуть зримой,

Силами земными, такъ сказать, хранимой,
Ключъ сей и понынѣ свѣтелъ, для преступной
И для вольнодумной псарни недоступный.
Но маститый мужъ нашъ, Водолазъ, что въ спорахъ
Былъ весьма искусенъ, съ кротостью во взорахъ,
Возражалъ Вопилѣ: «милый мой, въ озёрахъ
Да въ рѣкахъ, въ которыхъ я подчасъ ныряю
И въ палящій полдень жажду утоляю,
Сотнями играютъ родники живые,
Превращая струйки въ волны голубыя:
Ихъ кристаллъ и пѣну я предпочитаю
Тѣмъ ключамъ, которыхъ я совсѣмъ не знаю.
О, Вопило! вѣрю, что въ прогнившемъ этомъ
Срубѣ ключъ есть, только ни зимой, ни лѣтомъ
Онъ ужь не поитъ насъ; воду намъ приносятъ
Изъ пруда, въ которомъ съ голыми ногами
Дѣвки моютъ тряпки и стучатъ вальками.
Псы водой довольны и другой не просятъ,
Знаютъ, что доступно и что не доступно...»
— «Га!» шумѣлъ Вопило: «думать такъ преступно,
Потому что если пьемъ мы эту гадость—
Это гибель наша: въ чемъ же, въ чемъ тутъ радость?»
— «Въ томъ, что есть лазейка», отвѣчалъ нашъ смѣлый
Водолазъ, въ горячихъ спорахъ посѣдѣлый.
— «Ха, ха, ха! лазейка! Чортъ возьми! лазейка!»
Восклицалъ Вопило. «Вѣдьма! чародѣйка!
Безъ нея бы вѣра въ насъ не оскудѣла,
Безъ нея бы наша псарня не пустѣла!
Я не врагъ свободы; но моя свобода
Не пустое слово—не собачья мода.
Если мы собаки, кто другой быть можетъ
Нашимъ идеаломъ, какъ не тотъ, кто ходитъ
Въ сапогахъ высокихъ и ружье наводитъ

На свою добычу, самъ костей не гложетъ,
А предоставляетъ намъ свои оглодки?
Если я собака—кто вы? Вы—чечотки!»
— «Какъ! Что?—Мы—чечотки! кто тутъ называетъ
Насъ такимъ позорнымъ словомъ? кто дерзаетъ?»
И Трезвонъ съ широкой мордой началъ скалить
Зубы и при этомъ зарычалъ по-свойски,
Такъ что нашъ Вопило сталъ глазищи пялить,
Оттопырилъ уши и не по геройски
Свѣсилъ хвостъ, а такъ какъ истинный ученый,
На краю колодца жаждой изморенный.
Вообще, Вопилы кличъ и завыванье
Пронеслись надъ псарней не безъ обаянья.
Слыть за патріотовъ многіе желали
И, на заднихъ лапахъ стоя, нагибали
Головы въ колодезь—тамъ на днѣ свѣтилось
Отраженье неба—и въ нихъ сердце билось,
И они не въ шутку стали убѣждаться
И кричать, что въ морѣ небо отражаться
Такъ никакъ не можетъ, потому что море
Постоянно морщитъ гнѣвный ликъ свой въ спорѣ
Съ буйными вѣтрами. Сайгу и Карая,
И Барбоса, друга нашего ругая,
Нашъ Вопило думалъ въ лагерь свой Валета
Заманить—и что же? этотъ идолъ свѣта,
Улыбаясь, тявкалъ: «нѣтъ, ужь какъ хотите,
Никакого толку я не вижу въ прыти
Вашего Вопилы—чепуху городитъ!...
Самого себя онъ, бѣдный, зá носъ водитъ:
Прославляетъ псарню, а за этимъ тыномъ
И не замѣчаетъ дома съ мезониномъ,
Съ кухнею, съ террасой и съ цвѣтущимъ садомъ;
Говоритъ о славѣ прадѣдовъ, а нá домъ,

Гдѣ я обитаю, даже и вниманья
Обратить не хочетъ. Это упованье
На пустой колодезь—это что такое?
Это *псарнофильство*—да еще какое!
Здѣсь трава—прекрасно! здѣсь шалашъ—чудесно!
Амки—я готовъ ихъ обожать! Мнѣ лестно
Ихъ благоволенье; но коверъ съ узоромъ
Лучше всякой кучи или ямы съ соромъ.
Здѣсь корыто съ тюрей—а тамъ дорогія
Кушанья, есть погребъ, есть и кладовыя;
Тамъ свинина—роскошь! сыръ—очарованье!
Вѣрьте, что за вѣрность да за послушанье
Вы должны оттуда ждать себѣ подачки,
Иначе не ждите вы себѣ потачки....»
И рѣчамъ Валета кобели внимали,
Нюхали чѣмъ пахнетъ воздухъ и—вздыхали.
Лишь Карай да Сайга отвѣчали лаемъ
На такія рѣчи—и Валетъ, съ Караемъ
Покусавшись, молча убѣгалъ, какъ прыткій
Парень, и, конечно, не черезъ калитку,
А черезъ лазейку. Потакая свѣту,
Даже либераламъ, онъ лазейку эту
Восхвалялъ, какъ очень умную затѣю,
И, чтобъ бѣгать къ амкамъ, пользовался ею.
Ясно сознавали мы, не безъ печали,
Всю тщету собачьей зависти къ Валеткѣ,
И когда случайно баловня встрѣчали,
Мягко улыбались и хвостомъ виляли.
Искреннія чувства стали въ насъ такъ рѣдки,
Что мы лестью брали, то-есть выражали
Эту лесть такъ явно, что Валетъ былъ въ нравѣ
Думать, что на псарнѣ онъ въ великой славѣ.

ГЛАВА XI.

Искучно, и грустно.

Грустное настало времячко. Дождило.
На сырую псарню небо такъ уныло,
Пасмурно глядѣло, что, казалось, скоро
Намъ пошлетъ морозы красная Аврора;
Ужь не такъ Аврора улыбаться стала,
И ложилась раньше и позднѣй вставала;
А въ широкомъ полѣ, точно разстилалась
Простыня молочно-облачнаго цвѣта,
И, при тускломъ свѣтѣ алаго разсвѣта,
Медленно, въ густыя облака свивалась;
И опять дождило, и опять смеркалось!
Скучно стало, грустно! Слѣдуя природѣ,
Намъ казалось, всѣ мы сердцемъ охладѣли
И къ своей лазейкѣ, и къ своей свободѣ;
Но кой-что созрѣло въ эти двѣ недѣли,
Ибо недовольныхъ гражданъ стало вдвое:
Всѣ мы порѣшили, что людское племя
Самое пустое племя, и при этомъ,
Если только вѣрить молодымъ поэтамъ
И стихамъ ихъ,—племя глупое и злое;
Что необходимо только выждать время,
И собаки будутъ также упиваться,
Также обжираться или наслаждаться
Нѣгой, до полудня лежа на кровати.
Мы, въ виду грядущей этой благодати,
Поняли, что люди не были бы сыты,
Еслибъ не умѣли пользоваться нами,
Нашимъ чуткимъ носомъ, прытью и зубами
(Ибо не имѣютъ ни чутья, ни прыти),
Поняли, что люди у себя въ столовой

Ежегодно лѣтомъ жаждутъ дичи новой,
А собакъ не только въ домъ свой не пускаютъ,
Изъ поварни часто палкой выгоняютъ,
Даже отвергаютъ наше челобитье,
Не подозрѣвая нашего развитья;
Ибо согласитесь, что на псарнѣ нашей
Всѣ мы стали вдвое, втрое развитѣе
Многихъ сотенъ тысячъ Чукчей и Чувашей;
Что у насъ явилась если не идея,
То хоть хвостъ идеи, за который можно
Жадно уцѣпиться и кой-какъ тащиться
По слѣдамъ прогресса. Боги! какъ тревожно
Эти двѣ недѣли протекли! Влюбиться
Я хотѣлъ, и что же! Сердце истощилось
До того, что, право, еслибъ мнѣ случилось
Вдругъ подслушать пѣсню о любви (былую,
Сладостную пѣсню!), я бы за такую
Пѣсню укусилъ бы, кажется, любую
Музу... Ахъ! отъ жизни ничего не жду я!
Повторялъ я *до* и *послѣ* поцѣлуя...
И, холодный къ ласкамъ вялыхъ и безстрастныхъ
Барынь, перешелъ я въ область думъ опасныхъ,
Чуть съ ума не спятилъ... И со всѣми было
То же, что со мною (такъ насъ омрачила
Эта злая осень, съ этою ненастной,
Вѣтряной погодой!). Водолазъ несчастный,
Несмотря на холодъ, въ озерѣ купался,
Несмотря на эту баню, сухъ казался.
Мы его ругали за его безпечность,
За его стремленье знать что выше носа;
Такъ какъ для собаки нѣтъ глупѣй вопроса,
Какъ вопросъ примѣрно: что такое вѣчность?
Ибо, если время псарнѣ не поможетъ,

Вѣчность и подавно ей помочь не можетъ
(Стало быть, какое жь до нея намъ дѣло!).
Разъ, я помню, ночью въ небѣ посвѣтлѣло;
Брызнулъ свѣтъ въ окошко птичницы Арины,
Облака, то въ видѣ перьевъ изъ перины
Порванной, то въ видѣ порваннаго дыма,
Клочьями, тихонько проносились мимо
Мѣсячнаго диска и посеребрялись;
Амки спать ложились, кобели сбирались
Покутить: Карая, Сайгу пригласили,
Уломали Тезку, Стрѣлку заманили...
Только я, съ моею музою бродячей,
Приглашеннымъ не былъ на пикникъ собачій.
Чортъ возьми! Мнѣ было не до нихъ! Досадно
Было на Барбоса... Въ прелесть юной Тявки
Втюрившись, онъ понялъ, что внутри не ладно,
И, вообразите, за плетнемъ, въ канавкѣ,
Воду пилъ и къ боку приставлялъ піявки,
Чтобъ отвлечь отъ сердца жаръ любви недужный,
Для него опасный, для *нея* не нужный.
Ибо Тявка эта, хоть и обнищала,
Но не позабыла стараго подвала,
И любила только юношей подвальныхъ,
Праздныхъ, остроумно пошлыхъ и нахальныхъ,
И Барбосъ, конечно, оставался съ носомъ...
Я хотѣлъ остаться поболтать съ Барбосомъ;
Но не въ духѣ былъ онъ и, чтобъ отвязаться
Отъ меня, сказалъ мнѣ: я хочу проспаться,
Не мѣшай, голубчикъ!
И пошелъ я шляться:
Обошелъ я псарню, ригу, коноплянникъ,
Прачешную, баню, въ темный передбанникъ
Заглянулъ—тамъ пахло вѣниками—скверно!

Старый доѣзжачій, птичница кривая
И ея солдатикъ, пару поддавая,
Въ этой старой банѣ двѣсти разъ навѣрно
Парились, и баня пахла перепрѣлымъ
Квасомъ, пѣнной водкой и нагольнымъ тѣломъ.
И пошелъ я дальше и вошелъ въ ворота.
Вижу домъ и вижу, у подъѣзда что-то
Черное вскочило на ноги и лаетъ.
Подхожу—Орелка.
Глупый песъ дворовый!
Говорю: ну, что ты лаешь, безтолковый!
«Ну, ну, ну!» сказалъ онъ, «я законы знаю
И, какъ вѣрный сторожъ, для острастки лаю;
Если жь ты подтибрить что-нибудь намѣренъ,
Можешь и подтибрить; я въ тебѣ увѣренъ.
Лаю, не мѣшаю, дѣлай, что затѣялъ!»
Все мое уныньe этимъ онъ разсѣялъ.
И пошелъ я дальше, и обозрѣвая
Дворъ при лунномъ свѣтѣ, и припоминая
Кое-что, я думалъ: гдѣ же кладовая?
Гдѣ она? Туда бы, чортъ возьми, забраться!..
И въ фундаментъ носомъ началъ я соваться.
И нашелъ крылечко мокрое; невольно
На душѣ и горько сдѣлалось, и больно:
Тутъ Мирза когда-то насъ кормилъ, съ облавы
Воротясь (то были дни великой славы!).
Я ступеньки нюхалъ, и увы! ни слѣда,
Ни одной крупицы отъ того обѣда!!!...
Ничего!..
Но, видно, мой собачій геній
Былъ не чуждъ возвратныхъ, сладкихъ впечатлѣній;
И воспоминанье духъ мой озарило,
Что́ прошло, то стало поневолѣ мило,

И хотѣлъ завыть я—только удержался.
И побрелъ я дальше, озираясь робко.
Вотъ лежитъ пустая отъ конфетъ коробка;
Полизалъ. Вотъ банка, тутъ была помада:
Вынюхалъ и лапой оттолкнулъ. Вотъ щетка
Вытертая, съ ваксой. Ну ее!...
Ограда
Началась; повисли сумрачнаго сада
Сонныя вершины; бѣлая рѣшетка
Исполосовалась черными тѣнями...
Вотъ, иду я садомъ, вижу вдоль аллеи
То стволы—гиганты, то цвѣты—пигмеи.
Тамъ, гдѣ расцвѣтали розы и лилеи,
Астры и тюльпаны,—виснутъ паутинки,
Всюду только стручья, иглы да тычинки;
Слезы ихъ, должно быть, мѣсяцу понравясь,
Блещутъ какъ алмазы. Мокрый листъ, курчавясь,
Разбросался—блекнетъ и прилипъ къ дорожкѣ.
Вотъ бассейнъ—гляжу я—выставились рожки
Мраморнаго Фавна, Нимфа, вся нагая,
Поднялась и, бѣлымъ свѣтомъ облитая,
Вытянула руку и, ужь я не знаю,
Что такое держитъ:—раковину, чашку,
Или просто черепъ?—дескать, угощаю!..
Профиль Фавна тѣнью легъ у ней на ляжку;
У него, не знаю, отъ росы иль пота,
Лоснится затылокъ; глупо ухмыляясь,
Чисто по-собачьи, и приподнимаясь,
Онъ глядитъ въ лицо ей, словно ждетъ чего-то;
Думаю, каналья, непремѣнно выждетъ;
Но фонтанъ, должно быть, запертъ и не брызжетъ.

ГЛАВА XII.

Романическое приключеніе.

Въ томъ, что описалъ я красоту бассейна,
Каюсь передъ Музой и благоговѣйно
Ей цѣлую лапу, дабы съ облегченнымъ
Сердцемъ обратиться къ дамамъ, не лишеннымъ
Маленькаго сердца...
Слушайте, какая
Въ эту ночь случилась встрѣча, роковая
Для меня, для нашей псарни либеральной,
Даже для потомства... Слушайте!
Зѣвая,
Молча созерцалъ я, какъ луна ночная
Серебрила мраморъ, слишкомъ идеальный
Для моихъ понятій. Грустный и печальный,
Я хотѣлъ вернуться. Вдругъ—качнулась вѣтка
На концѣ дорожки... что-то замелькало
Бѣлое,—какъ будто, бѣлая жилетка.
Я въ кусты, прижался—сердце задрожало,
Вижу, въ лунномъ свѣтѣ шествуетъ Валетка!
Навострилъ я уши, притаилъ дыханье.
Явно, что Валетка вышелъ на свиданье;
Что-то шевелится около Валетки.
Наконецъ, я слышу голосокъ левретки.
(О, злодѣй! Ей-Богу, лучше этой крошки
Не было на свѣтѣ!). Маленькія ножки
По сырой дорожкѣ такъ переступали
Быстро, что подъ ними струнками играли
Узенькія тѣни, глазки чуть мелькали
Серебристымъ блескомъ...
И Валетъ, скосившись,
Слышу, говоритъ ей:

— Милая, влюбившись
Въ васъ, я такъ разсѣянъ, что отъ дѣлъ отбился.
Даже баринъ видитъ, какъ я расклеился.
— Вздоръ, вздоръ, вздоръ! нисколько вы не расклеились,
Зачастила крошка.—Гдѣ вы находились,
Помните, въ тотъ вечеръ, какъ, садясь за ужинъ,
Васъ Мирза хватился? А ужь какъ васъ звали!
Какъ вездѣ искали! Гдѣ вы пропадали?
— Помню, въ этотъ вечеръ, я вамъ былъ не нуженъ,
Отвѣчалъ Валетка, и уединился,
И ужь я не знаю, какъ я не лишился
Своего разсудка!
— Ахъ, какая жалость!
Развѣ я не вижу, что все это шалость,
Глупости! Ступайте въ псарню, тамъ влюбитесь.
— Grand merci! Ей-ей, вы Бога не боитесь,
Я хожу на псарню, но хожу по службѣ.
— Знаемъ вашу службу, служба ваша—сказки!
Тамъ не служба,—амки глупыя по дружбѣ
Моднымъ кавалерамъ расточаютъ ласки.
Перестаньте охать!..
— Милая, повѣрьте,
Если я не стану васъ беречь, то скоро
Я, и вы, и всѣ мы будемъ жертвой смерти,
Не сегодня—завтра...
— Не болтайте вздора...
— Смѣю васъ завѣрить, что, быть можетъ, нынѣ
Ночью все погибнетъ: барину, свининѣ,
Сыру, банкамъ, стклянкамъ, нашей воплощенной
Добротѣ—Мирзихѣ, вамъ—моей богинѣ,
А затѣмъ, конечно, и моей персонѣ
Угрожаетъ гибель. Пусть!
И, огорченный,

Замолчалъ Валетка.
Боги! въ грустномъ тонѣ
Голоса и въ каждомъ, такъ сказать, движеньи
Этого героя, сила убѣжденья
Такъ и пробивалась, такъ и пробивалась!
Нѣжная левретка такъ перепугалась,
Что у ней какъ будто подкосились ножки,
И она невольно, посреди дорожки,
Пріостановилась.
— Ну, ну, говорите!
— Для чего-съ! Меня вы слушать не хотите,
Я, вѣдь, вру...
— Однако, можно врать, но это
Свыше всякой мѣры...
И она Валета
Хвостикомъ мазнула по носу.
Валетка
Хоть бы облизнулся! Я такой притворной,
Грустно-строгой мины, строгой и покорной
Не видалъ ни разу (а видалъ, такъ рѣдко).
Этой грустной миной онъ попалъ такъ мѣтко
Въ цѣль, что съ легкой дрожью съежилась левретка.
(Вотъ, у насъ Валета называютъ фатомъ;
Я же убѣдился, что Валетъ родился
Быть необычайно ловкимъ дипломатомъ).
Долго не хотѣлъ онъ говорить, косился
На луну, на звѣзды, наконецъ рѣшился:
— Я предполагаю, началъ онъ,—что слово
«Звѣрчество» для слуха вашего не ново;
Но едва ль понятно вамъ его значенье:
Я поймалъ на псарнѣ это выраженье,
Сталъ слѣдить и понялъ, что́ все это значитъ.
Трепещу. Васъ это можетъ озадачить.

Звѣрчество-съ явилось между кобелями
Лозунгомъ союза съ дикими звѣрями.
Псарня, наша псарня-съ, въ праздности великой
Пребывая, бредитъ о свободѣ дикой,
Внемлетъ пропагандѣ, и на незаконный
Путь черезъ лазейку вышла, и съ волками
Снюхалась, и даже стала съ медвѣдями
Подъ одни знамена. Хитрая лисица
Тоже къ нимъ пристала. Ну-съ, вообразите,
Чтó это за сила! Чѣмъ вы устраните
Страшную опасность? Здѣсь вѣдь не столица,
Гдѣ войска, гдѣ можно такъ распорядиться,
Что маршъ-маршъ, пафъ-пафъ,—и все угомонится.
Но представьте только медвѣдей мордастыхъ
Сотни три—четыре, столько же зубастыхъ
Волчьихъ рылъ, да стаю хитрыхъ, куроядныхъ
Лисьихъ мордъ! И гдѣ же? У дверей парадныхъ
Нашего жилища! Чтó тогда? Едва ли
Намъ помогутъ ружья; мы же растеряли
Всѣ свои патроны, отсырѣлъ нашъ порохъ,
Баринъ спитъ... Тс! тише... чей-то слышенъ шорохъ...
Что-то чуетъ носъ мой...
Но, пока я съ вами,
Ничего не бойтесь...
Крошка со слезами
Слушала Валета.
— Нынче, какъ хотите,
Продолжалъ Валетка,—только положите
Вы меня у двери вашего покоя,
Гдѣ вы стережете ложе золотое
Молодой Мирзихи, и спокойно спите.
Милая, довѣрься! Никогда не вру я,
И тебя спасу я. Не живой, такъ мертвый,

Твоего достоинъ буду поцѣлуя,
Все отдамъ за звѣзды глазъ, за нѣжный взоръ твой!!
Боги! вотъ что значитъ сила эгоизма!
Я давно такого не слыхалъ лиризма!!!
И, развѣся уши, до того забылся,
Такъ былъ сердцемъ тронутъ, что пошевелился.
Но любовникъ пылкій вдругъ почуялъ близость
Моего дыханья, зарычалъ, рванулся
Съ мѣста, прыгнулъ тигромъ и—какая низость!
Прежде чѣмъ успѣлъ я въ страхѣ растануться
Въ позѣ беззащитной жертвы, т. е., прежде
Чѣмъ я поднялъ ноги вверхъ и заикнулся
О моемъ пардонѣ, въ сладостной надеждѣ,
Что меня проститъ онъ, острый зубъ Валета
Пронизалъ мнѣ шею. Я не взвидѣлъ свѣта
И ужь поневолѣ сталъ храбрѣе волка.
Мы тогда сцѣпились. Я вцѣпился въ ухо,
Онъ вцѣпился въ ляжку, и рычалъ я глухо:
Караулъ! Спасите!!...
Еслибъ не Орёлка,
Ахъ! живымъ на псарню мнѣ бы не вернуться.
Услыхалъ Орёлка, что въ саду дерутся,
Прибѣжалъ въ надеждѣ защищать Валетку,
И каковъ невѣжда!—прямо на левретку
Налетѣлъ съ размаху, и,—воображая,
Что она простая амка—гулевая,
Взялъ да и облапилъ! а она
— Спасите!
Завопила:—волки! ай, ай, ай, ай! волки!!
И Валетъ проклятый (случай, какъ хотите,
Для меня счастливый)... и Валетъ къ Орёлкѣ
Бросился съ такимъ же точно озлобленьемъ.
Я тогда, конечно, тягу далъ...

И толки
О моемъ побѣгѣ, съ явнымъ оскорбленьемъ
Чести, съ прибавленьемъ разныхъ глупыхъ сплетень,
Поглотили псарню.
Такъ, я сталъ замѣтенъ,
Знаменитъ и славенъ. У собакъ, извѣстно,
Что *скандалъ*, что *слава*, все равно.
Не лестно
Одолжаться славой глупости, но это
Не должно нисколько огорчать поэта,
Мы не переучимъ ни собакъ, ни свѣта.

ГЛАВА XIII.

Толки, сплетни и совѣты.

Раненый лежалъ я подъ своимъ навѣсомъ;
Мудрецамъ, героямъ, амкамъ и повѣсамъ,
Всѣмъ ко мнѣ былъ доступъ, всѣ ко мнѣ ходили,
Фыркали, жалѣли, выли и лѣчили.
Патріотъ Вопило говорилъ:
— Когда бы
Вы, за нашу псарню жертвуя собою,
Не щадили крови, было бъ лучше, я бы
Съ преклоненной мордой, даже со слезами
На глазахъ, приползъ бы къ вашему подножью;
Но дуэлью этой что́ вы доказали?!
То, что вы отпѣтый юноша и, ложью
Заразясь, какимъ-то верхоглядомъ стали:
Не за псарню бились, бились изъ-за чести!
Ничего преступнѣй нѣтъ подобной мести!
Уходилъ Вопило; Сайга приходила
И меня серьезно, искренно хвалила
За единоборство съ этимъ вѣчно сытымъ

Фаворитомъ, съ этимъ мужемъ знаменитымъ,
Что́ съ необычайнымъ, такъ сказать, нахальствомъ
Корчитъ человѣка, хочетъ быть начальствомъ.
— Вы, мнѣ лепетала Сайга, прокусили
Ухо у Валетки,—этимъ заслужили
Нашу благодарность. Еслибъ и другое
Прокусили ухо, мы тогда бы вдвое
Васъ благодарили, такъ какъ онъ шныряетъ
И вездѣ шпіонитъ, и хвостомъ виляетъ...
И затѣмъ, признаться, Сайга выражалась
Не совсѣмъ цензурно—наконецъ, прощалась.

Прилеталъ подвальный выскочка, тревожно
Озирался; глупо морда ухмылялась,
Онъ моргалъ и чавкалъ.—Ай, ай, какъ возможно?
Какъ это возможно!.. Нашего Валета?!..
Вы!?... ушамъ не вѣрю... Полно, вы ли это?
Такъ невѣроятно,—что коробитъ даже!..
Что́ теперь толкуютъ въ разныхъ сферахъ свѣта,
Въ поварской, въ прихожей, въ пышномъ бельэтажѣ,
И подумать страшно!.. О, да вамъ навѣрно
Отомстятъ и—дѣло кончится прескверно...
Жаль!
И уходилъ онъ, внутренно измятый
Жалостью и страхомъ, чтобъ аристократы
Что-нибудь Валету не надули въ уши.
— Вотъ оно что́ значитъ, вѣчно бить баклуши!
Такъ, ко мнѣ врываясь, выли демократы:
— Вотъ оно что́ значитъ, вѣчно бить баклуши!
Ерничать, въ чужія сферы забираться,
Не въ свои садиться сани, увиваться
Около богатыхъ; соблазнять невинныхъ
Дурочекъ, рожденныхъ только для гостиныхъ...

Какъ тебѣ не стыдно, братецъ!.. Эта крошка...
Что она такое? Лизаная кошка,
Черная козявка и—въ нее влюбиться!
Какъ тебѣ не стыдно!
Видя, что готовы
И они всѣмъ сплетнямъ вѣрить,—что вы?! что вы!
Что вы!! восклицалъ я, но не смѣлъ сердиться.
(Никакою злостью не унять намъ сплетень).
Оставалось только мысленно гордиться
Тѣмъ, что я на псарнѣ сталъ для всѣхъ замѣтенъ,
Тѣмъ, что наши амки, хоть и завирались,
О моемъ здоровьѣ иногда справлялись.
Но что́ отъ Валета я узналъ случайно,
Иначе, подслушалъ въ часъ его свиданья,
Повергало духъ мой въ смутныя мечтанья,
Мнѣ хотѣлось плакать отъ негодованья.
— Какъ, я думалъ съ болью, отъ меня есть тайна!..
Мнѣ недовѣряютъ, отъ меня скрываютъ!..
И закрывшись лапой, и глаза зажмуря,
Я лежалъ, а въ сердцѣ проносилась буря.
— Звѣрчество! шепталъ я—ты святое слово!
Звѣрчество?! какъ лирикъ, повторялъ я снова,
Ты велико, свято и меня пугаешь.
Оттого ль ты страшно, оттого ль ты грозно,
Что ручныхъ и хищныхъ ты объединяешь...
Звѣри сотни тысячъ лѣтъ блуждаютъ розно
И бѣгутъ другъ друга, и грызутъ другъ друга,
И у нихъ на мордахъ то печать испуга,
То печать злодѣйства; слишкомъ кротокъ слабый,
Слишкомъ кровожаденъ сильный. Ахъ! когда бы
Звѣрство намъ во имя звѣрчества утратить!
Да, стремясь за правдой, глазъ назадъ не пятить,
Не позорить мысли, не позорить чувства,

Полюбить науку, полюбить искусство.
Вѣдь, пока мы звѣри, до скончанья вѣка
Будемъ мы подъ грозной властью человѣка...
Такъ, больной мечталъ я и, глаза зажмуря,
Чувствовалъ, какъ въ сердцѣ проносилась буря.
Иногда всѣ звѣри мнѣ казались гадки,
Оттого, что весь я нылъ отъ лихорадки.
Иногда метался цѣлыя я сутки,
Оттого, что пусто было на желудкѣ.
Иногда я страстно звалъ и ждалъ Барбоса
И отъ страха смерти щупалъ кончикъ носа.
Иногда я раны зализать старался
И ругалъ Валета, или забывался.
Разъ во снѣ я вижу: будто бы пробрался
Я въ какой-то старый домъ, такой огромный
И пустой, и пыльный, и при этомъ темный,
Что ходилъ, ходилъ я, да и заблудился.
Вдругъ въ одномъ какомъ-то грязномъ корридорѣ,
У дверей, съ зеленымъ огонькомъ во взорѣ,
Появилась кошка. Я посторонился,
Спрашиваю: гдѣ бы къ выходу пробраться?
Вижу, начинаетъ кошка увиваться,
Подаетъ мнѣ лапку и хвостомъ виляетъ,
И мурлычитъ, точно что-то напѣваетъ;
Я, оскаливъ зубы, начинаю злиться,
А она мнѣ: Другъ мой! надо вамъ жениться:
Я за васъ, пожалуй, завтра выдамъ дочку,
А пока со мною проведете ночку...
Фу! какая гадость можетъ вдругъ присниться!
Не къ добру...
И точно не къ добру... Трезвонка
Прибѣжалъ и слышу, заливаясь громко,
— Ха, ха, ха! хохочетъ,—хорошо трепали!

Чай, насилу ноги доволокъ! Не ждали
Отъ тебя, дружище, что ты такъ поступишь:
Нападешь сначала, а потомъ отступишь
И, сердясь, подъ маской дружескаго тона,
Вотъ что я отвѣтилъ на привѣтъ Трезвона:
— Ты меня мордастѣй, ты меня зубастѣй,
Ибо—волкодавъ ты. Всяческихъ напастей
Отъ тебя не мало испыталъ Барбоска,
Отъ тебя недавно горько плакалъ Тезка,
Водолазу тоже отъ тебя досталось;
Отчего же ваша милость не пыталась
Ну, хоть ради шутки, проучить Валета?
Или ты боялся вредныхъ толковъ свѣта,
Или кучеровъ ты барскихъ сталъ бояться?
У Трезвона зубы стали появляться,
И—я заикнулся (оробѣвъ душою).
— Глупости! сказалъ онъ съ тою же кривою,
Растяжной улыбкой,—глупости, любезный!
Я не вижу толку въ травлѣ безполезной...
Больно я кусаюсь, но за дѣло, если
Вижу, что болваны въ умники полѣзли...
Я снесу гримасу, злость, обманъ, уродство,
Только не снесу я умныхъ превосходства.
Хоть Валетъ и силенъ, но не онъ вліяетъ
На умы, и значитъ: мнѣ онъ не мѣшаетъ.
Если я Валета и сживу со свѣта,
Нашъ Мирза другого заведетъ Валета,
Да еще, пожалуй, ты, какъ парень ловкій,
Самъ туда протрешься, съ лестью да съ сноровкой.
Ты жь хвостомъ виляешь иногда не даромъ.
— Нѣтъ! ужь это слишкомъ, перебилъ я съ жаромъ.
Еслибъ захотѣлъ я быть въ такомъ *фаворѣ*,
Я бъ донесъ о вашемъ тайномъ заговорѣ...

— О какомъ? спросилъ онъ, какъ бы удивляясь,
И пошелъ болтать я, сердцемъ увлекаясь:
— Полно, братъ, скрываться, страшное вы дѣло
Вздумали затѣять! Что-то слишкомъ смѣло!!
Вы отъ насъ тихонько снюхались съ волками,
Съ зайцами, съ ежами, даже съ медвѣдями.
Но скажи, зачѣмъ вамъ такъ нужна лисица?
Вѣдь она надуетъ, ибо мастерица
Рыть вездѣ лазейки. Если вы войдете
Въ домъ Мирзы съ лисицей, ни одной насѣдки,
Пѣтуха иль утки вы ужь не найдете,
Не спасутъ ихъ жизни никакія клѣтки.
Знаю, вы хотите цѣлою оравой
Домъ Мирзы ограбить и уйти со славой;
Знаю, что Валетка труситъ, я же слышалъ,
Что у нихъ и порохъ весь давно ужь вышелъ.
Такъ, безъ остановки, откровенно, глупо,
Я болталъ и думалъ, будто правду рѣжу.
(Видно, все что́ глупо, на слова не скупо).
А мой гость, конечно, думалъ, что я брежу;
Наконецъ, завылъ онъ, протянувши шею:
— Будь здоровъ, спасибо, братецъ, за идею...

(*Продолженіе въ будущемъ*).

ЛѢСНЫЯ ЧАРЫ.

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ФАНТАЗІЯ ДЛЯ ДѢТСКАГО ТЕАТРА.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Дѣвушки: **Зина**, 12 лѣтъ, } родныя сестры, дочери помѣщика.
Маша, 7 лѣтъ, }
Надя, 14 лѣтъ, } сосѣдки и пріятельницы Зины.
Леля, 11 лѣтъ, }

Лѣшій.

Колдунъ.

Русалочки и русалки.

Лада, богиня весны.

Дѣйствіе происходитъ въ дебряхъ лѣса. Изъ-за корявыхъ дубовъ видна рѣка и тростникъ. На первомъ планѣ развѣсистое дерево. Въ началѣ дѣйствія вечерняя заря, затѣмъ ночь и восходъ мѣсяца.

ЯВЛЕНІЕ I.

Надя, Зина, Маша и Леля входятъ съ зелеными вѣнками и недоплетенной гирляндой.

Надя.

. . . . . .

Вотъ если бъ я могла стихи писать,
Какъ Пушкинъ: ну, тогда и мнѣ, быть можетъ,
Воздвигли бъ памятникъ въ какомъ-нибудь
Саду, гдѣ сходятся дорожки, или
Гдѣ цвѣтники. Меня бы изваяли
Изъ мрамора, съ задумчивымъ лицомъ,
Съ вѣнкомъ и съ лирой...

(Надѣваетъ на голову зеленый вѣнокъ, но вѣнокъ такъ великъ, что падаетъ ей на плечи).

Но... куда мнѣ!.. Будь-ка
Я геній... я пера бъ не покидала,
И никогда бы замужъ не пошла!
Одинъ поэтъ...—онъ въ «Нивѣ» напечаталъ
Одно стихотворенье... мнѣ однажды
Сказалъ: Надина, я хочу страдать...
Но какъ бы ни любилъ я—не женюсь;
Нельзя любить въ одно и то же время
Жену и музу, риѳмы и дѣтей.

Зина.

Ну, это, можетъ быть, какой-нибудь
Изъ плохонькихъ... Не фантазируй,
Пожалуйста!.. Мнѣ кажется, что ты
Насъ завела въ такую дебрь, что мы,
Пожалуй, и не выйдемъ. Лѣсъ такой,
Что и конца ему не видно... Вотъ,
Разодолжимъ, коли и въ самомъ дѣлѣ
Заблудимся! Вотъ, будетъ мило!!..

Надя (разсѣянно).

Что?
Заблудимся!.. Какъ это можетъ быть!..

Маша.

А если?...

Надя (оживляясь)

Я же говорила вамъ,
Что дальше мы найдемъ дубки. Ну, вотъ
Вамъ и дубки... Мы жь въ лѣсъ пошли сегодня
Не для того, чтобъ вѣники вязать,
Или искать грибы... мы въ лѣсъ пошли
Затѣмъ, чтобъ свить дубовую гирлянду,
И завтра утромъ зеленью украсить
Могилку нашего поэта... За столомъ
Сидѣли мы почти до половины
Шестого;—собирались цѣлый часъ,
И вышли поздно:—стало-быть,
Кого же тутъ винить?! Я знала,
Я слышала, что дубъ прохладу любитъ,

И слышала, что есть въ лѣсу рѣка.
Ну, вотъ... и довела васъ... Вотъ рѣка,
А вотъ,—и дубъ—за неимѣньемъ лавра.

Зина.

И хоть бы бережокъ песчаный! Охъ,
Какъ я устала! Ой! (Садится подъ дерево).

Маша (картавя и надувая губки).

Тлопинку нашу
Мы потеляли. Афлосинью тоже
Мы потеляли. Эдакое голе!
И хоть бы лазъ аукнулась! Ау!
Никто не откликается!..

Надя.

Мы живо
Здѣсь цѣлый ворохъ наломаемъ сучьевъ
Дубовыхъ... (Ишь ты—жолуди какіе
Зеленые!)... и въ сумерки домой
Отправимся... И не успѣетъ зорька
У васъ въ прудѣ погаснуть, садомъ
Мы подойдемъ къ балкону... и—признаться,
Желала бъ я, чтобъ насъ никто не видѣлъ,
Чтобъ было время, молча, помечтать...

(Ломаютъ вѣтки, сносятъ и кладутъ около Зины)

Зина.

Да, здѣсь удобное мѣстечко! Только,
Ухъ! комаровъ какая пропасть!..

Леля.

Вечеръ
Такой чудесный!.. Въ воду такъ и тянетъ:
Пошла бъ купаться, да боюсь—глубоко...

Зина.

Какъ это можно, въ незнакомомъ мѣстѣ
Купаться...

Надя.

Для тебя знакомыхъ мѣстъ
Не много:—прудъ да старая купальня...
И право, какъ тебѣ не надоѣли
Знакомыя мѣста!... но... за работу!...
Садитесь... будемъ пѣть...

ЗИНА.

Ну пой, мы будемъ
Подтягивать.

НАДЯ (оборачиваясь).

Ахъ, что это за прелесть
Вечерняя заря!... Лѣсъ почернѣлъ
И пропускаетъ красные лучи...

ЗИНА.

И точно зарево...

Леля.

Нѣтъ, точно вѣеръ
Изъ розовыхъ лучей. Великолѣпно!

Надя.

И какъ это лучи вездѣ проходятъ?
А мы за все цѣпляемся, не можемъ
Продраться сквозь кусты... Смотрите,
Какъ исцарапала я руку...

Леля.

Что рука!...
Бахромку я оторвала отъ платья
И новыя ботинки—посмотрите...
На что похожи?... (Работаютъ и успокоиваются).

Надя.

Ну, теперь давайте пѣть.
Я знаю пѣсенку одну. Кто сочинилъ—
Я не скажу. А музыку сама
Подобрала...

(Поетъ.)

Розу алую сорвали,
Унесли ее въ покои,
И красиво прикололи
Къ волосамъ веселой Зои.

* *
*

Зоя весело порхала,
Разрумянясь въ блескѣ бала;

Только роза въ этомъ блескѣ
Задохнулась и увяла.

* * *

И, навѣки увядая,
Роза тайный вздохъ послала
Соловью, чья пѣснь далеко
На зарѣ въ саду рыдала...

Зина.

Кто это сочинилъ... мы знаемъ... Гмъ, да!
Не скромничай!

Надя.

Ба! Соловей запѣлъ.
Вотъ, легокъ на поминѣ!

Леля.

Былъ у насъ
Одинъ такой-то въ клѣткѣ... умеръ... Мы
Его въ саду и схоронили... Я
Фіалку посадила на его
Могилкѣ; но фіалку эту наши
Мальчишки вырвали и затоптали...

Надя.

Тсъ!... тише!... слышите, какъ онъ урчитъ?...

Маша.

Я ничего не слышу. Намъ пора
Домой...

Леля.

А я другую знаю пѣсню,
Совсѣмъ другую.

Зина.

Ну, коли ты знаешь—
И промурлычь...

Леля.

Пожалуй, промурлычу...
Я тоже пѣть-то не совсѣмъ горазда:
Слухъ есть, а голосу большого нѣтъ...

(Поетъ).

Какъ по лѣсу—лѣсу темному
Шла дѣвица—заплуталася;
Сбилась, бѣдная, съ дороженьки,
Пріустали ея ноженьки.
По листамъ шумитъ дробный дождичекъ,
По верхамъ идутъ тучки хмурыя.
Вотъ и ночь идетъ—приближается.
Вѣтерокъ подулъ—лѣсъ шатается.
Ну, дальше я не помню...

Зина.

Дай-то Богъ,
Чтобъ эта пѣсенка и намъ того же
Не напророчила... Становится темно.
Что, если мы заблудимся?

Маша (вскакивая).

Темно!...
Что, если мы да не найдемъ дологи?
Да по лѣсу плутать пойдемъ. И вдругъ...
Медвѣдь?!...

Надя.

И что это за глупость—трусить!
Ну, собирайтесь, и пойдемте вмѣстѣ.

Я впереди, а вы за мной: Берите.
Вѣнки и вѣтви.

(Маша плачетъ)

Маша! перестань. (Уходятъ).

ЯВЛЕНІЕ II.

(Изъ-за тростниковъ появляется русалка).

Русалка.

Я выплыла изъ темной глубины,
И залегла въ зеленыхъ тростникахъ,
И не замѣтили онѣ моихъ
Зеленыхъ косъ, когда мой синій глазъ
Сверкалъ и пристально слѣдилъ за ними.
Мнѣ такъ хотѣлось съ ними пошалить...
Онѣ такія жь дѣти, какъ и я...
И вдругъ, онѣ запѣли... Жадно, жадно
Я стала слушать ихъ...
Въ ихъ голосахъ
Я не слыхала—ни журчанья струй,
Ни шороха зеленыхъ тростниковъ,
Ни пузырей бульбульканья, ни звука,
Похожаго на чмоканье, когда
Тяжелыя, какъ жемчугъ крупный,
На грудь къ намъ съ листьевъ дождевыя капли
Слетаютъ... Это были пѣсни
Земныя. Ахъ, какъ жалобно поютъ
Земныя дѣти!.. Какъ мнѣ жаль ихъ! Но
Куда онѣ ушли? Куда? А я-то,
А я-то думала ихъ въ воду заманить!

Ужь какъ бы тамъ мы въ нашей глубинѣ,
Прозрачной и прохладной, обласкали
Такихъ малютокъ... Мы бъ зацѣловали,
Мы такъ бы нѣжно ихъ зацѣловали,
Что имъ потомъ спалось бы сладко.
— Ахъ! такъ бы сладко имъ спалось, какъ намъ
Не спать вовѣки... Да куда жь онѣ дѣвались!
Или сквозь землю провалились. Эй! (сердится).
Эй, лѣшій-дѣдушка!! Встаютъ туманы—
Вставай и ты... Иди сюда... иди...

(Манитъ рукой. Изъ чащи показывается лѣшій).

Лѣшій.

О-го-го-го!..

Русалка.

Ну, что горланишь! слушай!

Лѣшій.

Что-о?...

Русалка.

Здѣсь были дѣвочки, такія
Смѣшныя, пестренькія! Прилетѣли,
Какъ бабочки, и улетѣли. Я хочу,
Чтобъ ты имъ помѣшалъ уйти. Хочу!—
Ступай и обойди ихъ.

Лѣшій.

А-га-га-га!

Русалка.

Не то мы росу выпьемъ, и дождя
Ты не дождешься, и тебя подъ утро
Отъ жажды скрючитъ.

Лѣшій.

А! иду, иду!.. (уходитъ).

Русалка.

Не улизнутъ!..
Ужь мѣсяцъ на восходѣ,
Таинственный и блѣдный лучъ его
Расплылся въ сумракѣ... И духи
Роятся надъ болотами; они
Того гляди что вспыхнутъ... У совы
Блеснулъ зрачокъ и смотритъ въ чащу лѣса,
Гдѣ черная сгустилась сѣть вѣтвей,
Гдѣ птичка задремала и гдѣ бѣлка
Послѣдній свой орѣхъ грызетъ... Чу, слышны
Шаги и торопливый шорохъ... Филинъ
Цѣпляется за сучья и кричитъ...
Пора! Иду и вызову сестеръ!

ЯВЛЕНІЕ III.

(Въ лѣсу слышны проказы лѣшаго. Выходятъ **Надя**, **Зина**, **Маша** и **Леля**. Первая выбѣгаетъ Зина).

Зина.

Да это ужасъ, ужасъ что такое!

Леля.

Ну, кончено... мы заблудились...
И не вернемся...

Маша (ухватившись за подолъ Леля).

Не вернемся! Ахъ!
Ахъ, мама, мама!.. что теперь?.. Что будетъ?..

(Плачетъ).

Зина.

Иду и вдругъ передо мной туманъ...
Не то туманъ, не то какой-то призракъ.
Стоитъ... киваетъ,—и не то скрипитъ,
Не то хрипитъ... то низенькій, то выше
Березы... то... Богъ знаетъ, что такое!..

Маша.

Ахъ, няня, няня, гдѣ ты, няня! Ахъ!
Кабы ты знала!

Зина.

Надя! какъ тебѣ
Не грѣхъ, не совѣстно... Ахъ, Надя, Надя!
Мы думали, что ты дорогу знаешь,
Мы на тебя надѣялись...

Леля.

А я
Зашла въ болото... чувствую, что ноги
Промокли... Это ты насъ завела...

Надя (съ досадой).

И у меня промокли. Что же дѣлать!
Знать, лѣшій обошелъ. И поглядите,
Куда пришли.

Леля.

Куда?

Надя.

На то же мѣсто!
Шли прямо... на закатъ, откуда
Была заря видна... и очутились
На прежнемъ мѣстѣ... Просто чудеса!

Леля.

И въ самомъ дѣлѣ... Вотъ и дубъ тотъ самый...
Но что же тутъ хорошаго, что мы
Кружили понапрасну...

Зина.

Мы пропали:
Нѣтъ ничего у насъ... ни сухарей,
Ни булокъ, ни платковъ, чтобъ ноги
Укутать... Ничего!.. Помремъ мы здѣсь...
(Маша плачетъ).

Надя.

Какія глупости! Помремъ! Какъ будто
Мы за сто верстъ ушли отъ дому.
И почему—хоть разъ, ну, хоть разочекъ,
Не ночевать намъ подъ открытымъ небомъ!

Въ такую мѣсячную ночь... въ такую
Погоду!.. Маша, погляди, какія
Надъ нами звѣзды... Погляди, какъ сухо
Подъ этимъ самымъ дубомъ... Сядемъ въ кучку
И будемъ разговаривать... Я сказки
Начну разсказывать, и незамѣтно
Ночь пролетитъ; а завтра, на зарѣ,
Богъ дастъ, отыщутъ насъ, а можетъ быть,
И сами мы найдемъ домой тропинку.
Не высѣкутъ же насъ за то, что лѣшій
Насъ обошелъ. Конечно, побранятъ
За то, что мы ушли отъ Афросиньи.
А чѣмъ мы виноваты, что она
Ползетъ, какъ черепаха, да садится
На каждый пень. Чѣмъ виноваты мы,
Что нѣтъ у насъ одышки, и что мы
Умѣемъ бѣгать: ну, и забѣжали!
За то, за то, какія впечатлѣнья
Мы вынесемъ...
И что за глупость—хныкать
Вѣдь мы слезами горю не поможемъ.

Зина.

Да, больно ты умна!..

Надя.

Да тутъ и умъ
Не нуженъ... Смѣлость города беретъ...
Ну, вотъ, я ничего и не боюсь...
И не боюсь, и даже очень рада...

Зина.

Ишь, храбрая! А все же никогда
Во вѣки съ тобою не пойду...

Надя.

Будь буря, громъ, дождь—ливень или градъ,
Ну да,—тогда мнѣ было бъ жаль васъ, да!..
А въ эту поэтическую ночь,
Когда ни облачка, ни даже вѣтерка...

Зина.

Вотъ, погоди еще, что будетъ!

Надя.

Ну, что́ будетъ—
То будетъ! Нечего заглядывать впередъ.
Жалѣю, что я заблудилась не одна,
А вмѣстѣ съ вами. Всякимъ приключеньямъ
Была бъ радехонька! Ну вотъ, мы сядемъ
И ножки подожмемъ (Садится). Ты, Маша,
Прилягъ; свою головку положи
Мнѣ на колѣни. Леля, крѣпче, крѣпче
Прижмись ко мнѣ. Вотъ такъ...
Здѣсь такъ уютно...
И, ахъ, какъ пахнетъ... и водой, и смолкой
И богородицыной травкой, и
Ужь я не знаю чѣмъ... такъ чудно пахнетъ,
Что дышишь,—не надышишься.

(Вдыхаетъ въ себя воздухъ, и всѣ дѣлаютъ то же самое).

А мѣсяцъ!..
Какъ свѣтитъ—чудо!
Ну, мы заблудились,
Ну, экая бѣда, что заблудились!

Маша.

А волки?..

Надя.

Волки шляются зимой,
А лѣтомъ ихъ съ собаками не сыщешь —
Уходятъ къ сѣверу...

Маша.

А если... вдлугъ?!..

Надя.

Ну, если и заглянетъ волкъ... мы такъ-то
Всѣ вмѣстѣ рявкнемъ... а-а-а-а!

(Всѣ кричатъ, что есть силы: а-а-а-а!).

Зина.

Ой... по лѣсу-то какъ реветъ!.. Ай-ай!..

Надя.

Должно быть,—эхо... А случалось вамъ
Зимой въ лѣсу быть въ мѣсячную ночь?

Зина.

Нѣтъ, не случалось.

Надя.

Волшебство! Представьте:
Весь лѣсъ... напудренъ и сверкаетъ. Точно—
Въ хрусталикахъ и мелкихъ брилліантахъ:

Глядишь—и все какъ будто коридоры
Какіе-то, и ниши, и пещеры,
И дымчатые своды... Снѣгъ хруститъ
И бѣлъ—бѣлъ, точно сахаръ... Тѣнь на немъ.
Ну, точно кружево тончайшее!..
Будь я лѣсной богиней,—я зимою
Такіе бы волшебные чертоги
Себѣ воздвигла... тысячи бы люстръ
Зажгла среди колоннъ, покрытыхъ матомъ
Серебрянымъ и звѣздочками... Васъ бы
Я въ гости позвала къ себѣ, и вы бы
Все побросали—книги, ноты, гарусъ,
И прибѣжали бы ко мнѣ... Чу!.. вѣтерокъ...

Маша (поднимая голову).

А вотъ и буля начинается.

Леля.

Не буря,
А что-то по лѣсу гудетъ...

Зина.

И воетъ...

Леля.

И эдакъ... у!.. у!.. у!..

Надя.

Желала бъ я,
Чтобъ что-нибудь чудесное надъ нами
Стряслось, чтобъ появились феи, вѣдьмы!

Зина.

Ну, нѣтъ, merci! пожалуйста, не вѣдьмы!

Леля.

Будь я одна—давно бы умерла
Со страху...

Зина.

Надя, сдѣлай одолженье
Болтай... Пожалуйста, пожалуйста, болтай!
Пока ты говоришь—мнѣ легче. Говори.

Надя.

А вотъ, сейчасъ я сказку вамъ начну
Разсказывать... Давно ужь это было.
За тридевять земель и въ тридесятомъ царствѣ
Жилъ былъ одинъ царь чародѣй, и было
У этого царя двѣнадцать дочерей...
Ну, вотъ...

Леля.

Постой!.. (Испуганно) Вы слышите?..

Зина (поворачивая голову).

Что тамъ такое?

Надя.

А! радуйтесь и веселитесь!..

Маша (приподнимаясь).

Что-о?

Надя.

Въ рѣкѣ купаются дѣвчонки. Это значитъ,
Деревня пòдъ бокомъ... Мы вмѣстѣ съ ними
Отправимся въ деревню, а оттуда
Найдемъ телѣгу и домой вернемся
Въ телѣгѣ... То-то удивятся! Просто,
Отъ удивленья ротъ разинутъ... То-то...

Зина.

Да, это будетъ хорошо—въ телѣгѣ...
Велимъ крестьянамъ сѣна наложить,
Побольше сѣна, такъ, чтобъ не трясло...
Я никогда не ѣздила въ телѣгѣ...
Великолѣпно!.. Душенька! пойдемъ,
Посмотримъ, какъ купаются дѣвчонки
И вызовемъ ихъ изъ воды... (Встаютъ).

Маша.

Ну, слава Богу!

Лиля.

А я раздѣнусь и махну къ нимъ въ воду...
Должно быть, мелко... Ишь, какъ расплескались!
Хохочутъ... весело въ водѣ .. Ужасно.—
Ужасно хочется мнѣ покупаться.
Заѣли комары... и по спинѣ
Все что-то ползаетъ... должно быть, муравьи...

Зина.

Что муравьи!.. Лягушекъ—вотъ чего
Терпѣть я не могу...

(Слышно пѣніе).

Надя.

Ба! что такое?..

(Всѣ поражены и стоятъ въ оцѣпенѣніи).

Хоръ русалокъ.

По рѣкѣ, по темно-синей,
Ночь лѣсамъ пары несетъ.
И блестя, какъ зимній иней,—
Пѣна бѣлая плыветъ.

* * *

И, какъ пѣна, мы мерцаемъ,
Колыхаясь на волнахъ,
То плывемъ, то вдругъ ныряемъ,
То ложимся въ тростникахъ.

Одинъ голосъ.

Я легла,—за тростниками
Въ паръ закутались лѣса,
Шевелитъ звѣзда лучами,—
Съ неба падаетъ роса!

Другой голосъ.

Я легла, закинувъ руки,
И въ немолчномъ плескѣ струй,
Слышу я—то стонъ разлуки,
То свиданья поцѣлуй.

Хоръ.

Нѣтъ свиданья, нѣтъ разлуки
Тамъ, гдѣ холодъ и покой;

Слезы счастья, слезы муки,
Все смывается водой.

Надя.

Я очарована... Нѣтъ, это не крестьянки:
Нѣтъ, нѣтъ... Такъ пѣть онѣ не могутъ. Это...
Сама рѣка поетъ, или—русалки!..

Зина.

Русалки... злыя, гадкія русалки!
Ой! что ты говоришь?.. Не поминай ихъ!
Вѣдь это ужасъ, что такое!

Маша (плаксиво).

Я боюсь...

Леля.

И я... Послушай, Надя, убѣжимъ,
Пока есть время. Спрячемся въ лѣсу...

Надя.

Нѣтъ, я не спрячусь... дайте поглядѣть.
Чего бояться? Это, можетъ быть,
Мы спимъ и грезимъ... Ну, вообразите,
Что мы заснули, и что намъ все это
Мерещится... Великолѣпный сонъ...
Божественный!.. Народъ въ русалокъ вѣритъ.
Онъ наяву видалъ ихъ,—ну, а мы...
Мы хоть сквозь сонъ увидимъ и повѣримъ.
(Подходитъ ближе къ рѣкѣ).
Еще, еще намъ спойте что-нибудь.

Зина.

Она съ ума сошла...

Надя.

Еще, еще намъ спойте!

Хоръ русалокъ.

Чу, красавицы-дѣвицы
Подаютъ намъ голосокъ.
Выходите, вы сестрицы,
На пологій бережокъ...
Ау!

Надя.

Ау!

Хоръ русалокъ.

Руки ихъ вплетемъ, играя,
Мы въ свой рѣзвый хороводъ,
Шевелися, жизнь земная,
Шевелися, лоно водъ!

ЯВЛЕНІЕ IV.

Тѣ же и русалки.

(Тихая музыка. Русалки поднимаются изъ воды и мелькаютъ на заднемъ планѣ сцены. При видѣ дѣтей онѣ пріостанавливаются и, постепенно приближаясь, окружаютъ ихъ).

Русалка (выходя впередъ).

Ага, вернулись!

(Леля лѣзетъ на дерево).

Всѣ ли вы вернулись?
Вѣдь я не знаю счета... вѣдь у насъ

Хоть сотни тысячъ лѣтъ считай цвѣтные
Каменья, струйки, корешки, да нити
Блѣдно-зеленыя подводныхъ травъ,
Да бѣлыя кувшинки, да стада
Золотоперыхъ, вольныхъ рыбокъ,—ну,
И не сочтешь! и нечего считать...
Вонъ, вижу я, одна изъ васъ полѣзла
На дерево... (Сукъ обламывается, и Леля спрыгиваетъ на землю).
Мы сами по деревьямъ
Умѣемъ лазить, на вѣтвяхъ качаться,
И прыгать въ воду—бухъ! Въ водѣ—приволье.
Тамъ мы вольнѣй волны послушной вѣтру,
И любимъ мы изъ синей глубины
Нырять и погружаться въ лунный свѣтъ,
И упиваться сладкою росой...
Но люди злы:—у нихъ намъ мѣста нѣтъ—
И нѣтъ намъ мѣста—*тамъ!* (Указываетъ на небо).

Надя (пристально ее разглядывая, не безъ робости).

А вы намъ зла
Не сдѣлаете?...

Русалка.

Мы отъ всякихъ золъ
Васъ спрячемъ... (Останавливается и смотритъ въ лѣсъ).
Тамъ кто-то ходитъ... Запахъ
Особенный—намъ непріятный запахъ...
Онъ къ ароматамъ ночи примѣшался...
И отравилъ ихъ... Это человѣкъ...

Зина.

Ахъ, если бъ это былъ мой пàпа!

Русалка.

Пàпа?!
Что это значитъ «папа»? Съ роду не слыхала
Я этого словца... но... ты не бойся.
Мы не допустимъ... (Входитъ колдунъ).

ЯВЛЕНІЕ V.

Тѣ же и колдунъ съ котомкой.

Колдунъ.

Я васъ не боюсь...
Ха!... это дѣти съ барскаго двора.
Какъ это вы сюда зашли? эге!
Дадите рубликъ—проведу домой,
А не дадите—какъ хотите...

Зина.

Слава Богу,
Нашъ мужичекъ...

Русалка.

Дѣтей и стариковъ
Мы не щекочемъ... Мы щекочемъ
Тѣхъ парней, что, увидя насъ, въ лѣсу
Иль у рѣки, позабываютъ клятвы
И суженыхъ своихъ позабываютъ,
И обручальныя теряютъ кольца.

Тѣхъ мы щекочемъ...

Ха-ха-ха...

(Дѣти заражаются смѣхомъ и начинаютъ хохотать).

Маша.

Намедни...
Я щекотала Васю... Ахъ! какъ онъ
Визжалъ!... Какъ мы смѣялись!.. Ха-ха-ха...

Русалка (колдуну).

Ночь надъ водой колдуетъ,—ты надъ чѣмъ?
И отчего ты сѣдъ, а борода
И брови—точно смоль? Нашелъ ли ты
Разрывъ-траву и корень приворотный?
Приворожи, коли найдешь, лѣсную
Кикимору...

Колдунъ.

Толкуй себѣ... бормочь...

(Садится на пенекъ).

Леля (колдуну.)

Голубчикъ, старичекъ... Ты видишь ихъ?

(Указываетъ на русалокъ).

Колдунъ.

Что видѣть-то... видалъ... Такъ, мразь одна...
Я и не то еще видалъ... Хотите
Васъ позабавлю... покажу вамъ штуку.

Зина.

Не страшную?..

Маша.

А ты меня не съѣшь?

Колдунъ.

Не съѣмъ.

Маша.

И не убьешь?

Колдунъ.

И не убью.
А захочу... въ зайчатъ васъ оберну,
А самъ залаю... вы и побѣжите
Во всѣ лопатки...

Леля.

Ха-ха-ха! въ зайчатъ!
Зайчатами мы прибѣжимъ домой,
И сядемъ у стола пить молоко,
И на свои кроватки вспрыгнемъ... Ха-ха-ха!
Вотъ будетъ штука-то!...

Колдунъ.

Экъ обуяло ихъ!
Не трусятъ!... Ну, я вамъ задамъ загадку.

Надя и Зина.

Ну, задавай, ну, задавай!..

Колдунъ.

Что значитъ—
«Переимчивъ на все, а своего не выдумаетъ»?
Кто отгадаетъ—покажу тому
Личину... сирѣчь, нѣкое лицо,
И будетъ то лицо тому, кто на него
Посмотритъ, вѣчно дорого и мило.

Надя.

Что переимчиво и что само
Не можетъ ничего придумать... Ба!
Что бъ это значило?! (Задумывается).
Не попугай ли!...

Русалка.

Какъ—«попугай»? Что значитъ «попугай»!...

Леля.

Хоть плачь, не отгадаю...

Русалки.

Ха-ха-ха!

Колдунъ.

Кто отгадаетъ—дамъ тому я корешокъ
Такой, что все, что ни взбредетъ на умъ,
Все будетъ... только пожелай...

Надя.

А если
Я пожелаю поэтическаго дара?...

Колдунъ (хлопаетъ глазами).

(Русалки хохочутъ).

Чаво?!..

Зина (на ухо русалкѣ).

Ты—милая! тебя нисколько
Я не боюсь теперь... Скажи мнѣ,
Что переимчиво и что само
Не выдумаетъ ничего...

Русалка.

Должно быть, лужа.
Она переимаетъ мѣсяцъ, а сама
Темна...

Зина (колдуну).

Не лужа?

Колдунъ.

Нѣтъ, не лужа.

Зина (задумываясь... нерѣшительно).

Не зеркало ли?

(Въ воздухѣ разливается розовый свѣтъ. Слышенъ крикъ поднявшихся галокъ).

Колдунъ.

(Киваетъ головой въ знакъ согласія)

Ты отгадала.

Зина.

Отгадала!?... да?!

А! какъ я рада!... Ну, кажи теперь
Лицо, которое мнѣ будетъ вѣчно милымъ?

(Колдунъ вынимаетъ изъ котомки зеркальце и держитъ его передъ Зиной. Зина заглядываетъ).

Что жь это?... Я свое лицо въ немъ вижу!!!

(Дѣти и русалки хохочутъ).

Надя.

Превесело...

Зина.

Ну, гдѣ же корешокъ?
Давай!.. (Беретъ что-то изъ рукъ его).
Повелѣваю... Что бы мнѣ такое
Вдругъ пожелать!.. Желаю, чтобъ цвѣты,
Всѣ лучшіе цвѣты изъ околотка—
Гвоздики, лиліи, жасмины, маргаритки
И колокольчики... всѣ собрались сюда,
И чтобъ изъ нихъ сплелась гирлянда...

(Изъ лѣсу появляется фантастическая дѣвушка—Лада и начинаетъ бросать цвѣты на воздухъ, русалки ловятъ ихъ, и въ рукахъ ихъ вытягивается гирлянда изъ цвѣтовъ).

Довольно... ухъ! Пестритъ, и голова
Какъ будто... кружится... Довольно!

(Фантастическая дѣвушка исчезаетъ).

Теперь, желаю, чтобъ зажглись огни,
И чтобъ свѣтлѣе было, чѣмъ на балѣ.

(Изъ лѣса появляются блуждающіе огоньки, въ видѣ уродливыхъ мальчиковъ, съ факелами и фонарями. Изъ чащи лѣса вытягиваются трубы и дудки. Музыка).

Русалка.

Плясать, плясать!

Надя.

Все, что хотите...

Зина.

Вотъ ночь—такъ ночь!...

Надя.

Русалки, пойте!...

Хоръ русалокъ (начинающихъ двигаться и протягивать руки дѣвочкамъ).

Ледъ у насъ на персяхъ таетъ,
Потухаетъ и гроза...

Буль—буль—буль!

Наша пляска раздражаетъ
Сонно-пьяные глаза...

Буль—буль—буль!

Пылки грезы увлеченныхъ
Въ нашъ полночный хороводъ...

Буль—буль—буль!

Много грезъ похороненныхъ
Прозябаетъ въ лонѣ водъ...

Буль—буль—буль! *).

Зина.

И слушаю... и ровно ничего
Не понимаю...

(Изъ-за папоротниковъ выскакиваетъ большая зеленая лягушка).

Маша.

Батюшки мои! какая
Лягушка!

Зина.

Гдѣ?... Какъ странно! Ничего...
Лягушки даже не боюсь!...

(Смотритъ, какъ Маша старается сѣсть верхомъ на лягушку; лягушка прыгаетъ. Русалки, подхвативъ за руки Зину и Машу, начинаютъ хороводъ и пляски. Музыка и хохотъ).

---

*) *Или*:

Люди-трупы намъ игрушкой служатъ,
Попадутъ къ намъ, и уже не тужатъ.
Буль—буль—буль!
Мы не разъ въ песокъ ихъ зарывали,
Изъ песку цвѣточки выростали.
Буль—буль—буль!
Тѣ цвѣточки тихо колыхались,
Отъ сѣтей въ нихъ рыбки укрывались.
Буль—буль—буль!

Колдунъ.

Заколдовала
Ихъ вражья сила... Закружатся,
И бухнутъ... буркулы пущать... (Уходитъ).

Русалки.

Къ водѣ,
Къ водѣ! Къ прохладѣ, на просторъ!

Зина.

Чудесно!
И пляшется само собой, и ногъ
Не надо поднимать.

Леля.

Куда же мы?

Надя.

Куда бы ни было... хоть въ воду... Утону—
«Очнусь русалкою холодной и могучей» *).
Идемъ, куда влекутъ!...

(Подвигаются къ рѣкѣ. Слышенъ голосъ Маши).

Я тоже буду плавать!
Я не боюсь...

(Вдругъ раздается дальній ударъ церковнаго колокола. Огни потухаютъ. Русалки падаютъ въ воду, и какъ бы расплываются въ туманѣ. Все темно и тихо; слышны только крики деревенскихъ пѣтуховъ. Изъ-за деревьевъ бѣлѣется полоса—предвѣстница утра).

*) Изъ Пушкина.

ЯВЛЕНІЕ VI.

Надя (останавливаясь среди сцены).

Что это?—наяву или во снѣ?

Зина (садится подъ дерево).

Никакъ звонятъ къ заутрени. А-а!
Какъ я устала... (Потягивается и зѣваетъ).

Маша (протираетъ глаза).

А мнѣ казалось, будто на большущей
Лягушкѣ я велхомъ сидѣла,
И плыгала... Мнѣ холодно. Нельзя ли
Хоть чѣмъ-нибудь приклыть мнѣ ноги.

Леля.

Я ровно ничего не понимаю!..

Зина.

А гдѣ цвѣты?

Леля.

Какіе?...

Надя.

Это былъ
Не сонъ... Нѣтъ, это было навожденье.

Отъ суевѣрія, мы страху поддались—
И потеряли всякій страхъ, когда
Очаровала насъ невѣдомая сила...
И не раздайся блáговѣста—мы
Попáдали бы въ омутъ и—тогда....
Помилуй, Господи!..

(Въ лѣсу слышны голоса и ауканье).

Маша и Зина (вскакивая).

Насъ ищутъ—ищутъ!..
Ау! Ау!..

(Всматриваются въ чащу лѣса).

Ахъ! это наши люди!
Мы спасены... Идемъ, идемъ, идемъ...

Надя (подбирая вѣнки, вѣтви и недоконченную гирлянду).

Предчувствую, что завтра мы проспимъ,
И нашъ поэтъ останется безъ нашихъ
Дубовыхъ лавровъ...

(Занавѣсъ падаетъ).

ВЛОЖИ СВОЙ МЕЧЪ*).

(Нѣмецкому народу).

Не даромъ создалъ ты порядокъ полный силъ
И воспиталъ въ себѣ отвагу:
Твой врагъ, какъ плѣнникъ, отдалъ шпагу,
Какъ императоръ—скипетръ уронилъ;
Во всеоружіи ты всталъ и отрезвилъ
Войнолюбивое, слѣпое племя,
И опасенія свои угомонилъ—
Такъ, *совершилъ ты все, что подсказало время.*
Довольно! зло войны должно имѣть предѣлъ.—
И если слава—твой удѣлъ,
Ты будешь истинно великою державой,
Гнушаясь варварскою славой
Надъ пепломъ городовъ, среди кровавыхъ тѣлъ...

«Довольно!!» говорили мы—
Съ младенчества тобой повитые умы—
Недальновидные сосѣди.
Довольно пороху, калёной стали, мѣди,
Свинцу и чугуна—ихъ гулъ, ихъ дымъ и громъ
Сливаетъ рѣки слёзъ съ побѣднымъ торжествомъ;

---

*) Писано во время осады Парижа въ 1870 г.

Твои трофеи—символы печали,
Тоски и ужасовъ.—Довольно!—восклицали
Всѣ, для которыхъ идеалъ
То человѣчности, то правды, то свободы
Ты такъ роскошно въ блескъ и звуки облекалъ,
Когда къ лобзанью призывалъ
Устами Шиллера весь міръ и всѣ народы.

. . . . . .

Всё измѣнилось!—
Юноши твои
Уже не жаждутъ міровой любви,
Искусство ихъ—военное искусство
(Наука съ увлеченьемъ пушки льетъ)

. . . . . .

И тотъ лишь у тебя великій патріотъ,
Кто, изъ презрительнаго чувства
Къ другимъ народамъ,—говоритъ,
Что самъ Господь тебѣ велитъ...
Востокъ и Западъ—онѣмечить!

. . . . . .

Съ почетомъ принялъ ты подъ свой покровъ того,
Кто могъ и смѣлъ тебѣ недавно поперечить,
Кто думалъ произволъ собой увѣковѣчить
И палъ отъ произвола своего,—
Съ почетомъ принялъ—и—клевретами его
Обезоруженный народъ пошелъ калѣчить.
Вѣнчая славою безнравственный успѣхъ,
Инстинктамъ дикаря послушенъ,
Теперь ты, какъ палачъ, стоишь въ виду у всѣхъ,
И къ воплямъ жертвы равнодушенъ.
Ты ей на горло наступилъ,
Ты въ ней одобрилъ духъ измѣны,
Ты какъ на плахѣ раздробилъ
Ея трепещущіе члены...

На мертвыя тѣла жёнъ, стариковъ, дѣтей
Косясь, внесешь ли ты въ Парижъ грабежъ повальный
Или почтишь ихъ тризной погребальной
И лицемѣрный гимнъ споешь Царю царей?!....
О, просвѣщеннѣйшій народъ!
О, нашъ великій просвѣтитель!
Знай, если Франція падетъ—
Съ ея могилы встанетъ мститель.
Онъ проскользнетъ къ тебѣ, какъ змѣй;
Онъ дастъ тебѣ понять всю силу
Полураздавленныхъ идей,
Непомѣстившихся въ могилу.....
Онъ—Немезида нашихъ дней,
Тебѣ,—едва лишь изъ трофеевъ
Ты выкроишь вѣнки для всѣхъ своихъ страстей,—
Руками тысячи пигмеевъ
Разставитъ тысячи сѣтей....
И если ты—хоть это знаешь,
Свои надежды возлагаешь
На мудрость собственныхъ дѣтей,—
Чтобъ эта мудрость не зачахла,
Скорѣй вложи твой мечъ и руку ту отмой,
Которая грозой пороховой—
Кровавымъ запахомъ пропáхла.....

ГРУЗИНСКІЕ ОЧЕРКИ.

(1846—1850 г.)

Делибаштала.

Грузинская сказка.

(Изъ путевыхъ записокъ 1847 г.).

Ночевалъ я въ одномъ грузинскомъ селеніи. Остановились мы въ саклѣ у сельскаго священника. Въ саклю провелъ меня дьячокъ, потому что самъ хозяинъ былъ въ отлучкѣ. Жилье это показалось мнѣ роскошнымъ по сравненію съ тѣми, въ которыхъ приходилось мнѣ ночевать почти все лѣто. Между столбиками, подпирающими передовой навѣсъ, были плетеныя стѣнки, обмазанныя бѣлою глиной; дверь запиралась на крючекъ, и два небольшихъ квадратныхъ окошечка, безъ рамъ и стеколъ, освѣщали комнату, въ которой, къ довершенію моего благополучія, стояла кровать и помѣщался столикъ. Со мной ѣхалъ нѣкто Моисей Соломоновичъ, родомъ грузинъ, состоящій на службѣ при участковомъ засѣдателѣ. Въ этотъ вечеръ былъ я одолженъ ему многими интересными разсказами о поимкѣ разбойниковъ,—вечеръ прошелъ незамѣтно. Часу въ де-

сятомъ, услужливый дьячокъ принесъ мнѣ закуску; ужинъ состоялъ изъ грузинской лепешки, грузинскаго сыру, бутылки кислаго вина и пережареннаго сухого цыпленка. Моисей Соломоновичъ вмѣстѣ съ моимъ переводчикомъ изъ татаръ, есауломъ, дьячкомъ и деревенскимъ старостой (нацваломъ) предпочли ужинать въ сосѣдней саклѣ, расположившись вокругъ огня, на которомъ готовился общій ужинъ нашъ.

Послѣ ужина я легъ спать, проснулся далеко за полночь и удивился: свѣча моя горѣла, дверь на дворъ была отворена, а мои спутники, которые должны были спать около моей комнаты въ темной каморѣ, еще не возвращались. Гдѣ они? подумалъ я,—накинулъ бурку, вышелъ на дворъ или на улицу, что́ все равно, потому что въ здѣшнихъ деревняхъ нѣтъ собственно ни дворовъ, ни улицъ, есть только промежутки между саклями да земляныя кровли съ отлогими со всѣхъ сторонъ скатами, по которымъ легко можно разъѣзжать верхомъ на лошади.

Послѣ утомительно-жаркаго дня—ночь была свѣжа, и несмотря на то, что мѣсячный серпъ свѣтилъ на небѣ—такъ темна, что въ десяти шагахъ трудно было отличить кучу хвороста отъ задремавшаго буйвола. По сторонамъ, въ сумракѣ лѣсистыхъ горъ, мелькали костры пастуховъ, тихій вѣтеръ дулъ со стороны Мухранской долины и доносилъ отдаленный лай собакъ, стерегущихъ виноградники.

Долго бы простоялъ я, прислушиваясь къ звукамъ и шорохамъ ночи, если бъ не смѣхъ и не тихій говоръ въ сосѣдней саклѣ: это напомнило мнѣ, что я вышелъ не съ тѣмъ, чтобъ зябнуть, а чтобы узнать, куда дѣвались мои провожатые. Мнѣ, сказать по правдѣ, въ эту минуту не было въ нихъ ровно никакой необходимости;

но дверь въ сосѣднюю саклю была полуотворена и я заглянулъ туда.

И вотъ, я вижу, на цыновкахъ сидитъ порядочная кучка народу, и, при свѣтѣ потухающаго пламени, куритъ трубки. Какой-то усачъ въ шапкѣ что-то разсказываетъ, остальные молчатъ и слушаютъ. Знай я по-грузински, я, конечно, вмѣстѣ съ ними пріютился бы у огонька, но мои спутники кое-какъ говорили по-русски, и я спросилъ ихъ:

— Неужели вы все еще до сихъ поръ ужинаете?

Разсказчикъ замолчалъ, слушатели зашевелились. Моисей Соломоновичъ первый вышелъ ко мнѣ на чистый воздухъ.

— Вы все еще ужинали? спросилъ я.

— Нѣтъ, мы ужь давно кончили—мы такъ сидѣли.

— Что же вы дѣлали?

— Да такъ-съ, ничего—сказки сказывали другъ другу, отвѣчалъ онъ, и сконфузился, предполагая, что такое занятіе я найду неприличнымъ званію чиновника.

Какъ хотите, а это черта оригинальная. Между ними не было ни одного ребенка; всѣ они были ребята дюжіе, а у *нацвала* *) такъ даже сѣдина въ бородѣ проглядывала, но ни лѣта, ни почетное званіе, каково, напримѣръ, званіе дьячка и нацвала, ничто не помѣшало имъ, собравшись, засидѣться далеко за полночь и, покуривая трубочки, разсказывать другъ другу сказки.

Какъ послѣ этого сомнѣваться въ національности грузинской литературы! Отъ царя Вахтанга до царя Ираклія вся она переполнена сказками.

— Что жь дѣлать отъ скуки! сказалъ Моисей Соломоновичъ.

*) Нацвалъ—староста.

— Досадно, что я не знаю по-грузински: я бы пришелъ послушать васъ.

— Неужели пришли бы! замѣтилъ онъ съ недовѣрчивостью,—вы, стало быть, охотникъ до сказокъ.

— Да, и намѣренъ просить васъ хоть одну разсказать мнѣ по-русски—мы на это найдемъ время; не правда ли?

— Совершенная правда-съ.

Черезъ четверть часа послѣ этого разговора, я уже спалъ.

Черезъ три дня, съ той же самой компаніей, вечеромъ, я ѣхалъ изъ Осетинскихъ деревень, и былъ на половинѣ дороги отъ Душета. Дорога извивалась лѣсомъ по направленію къ Аргунскому ущелью,—была довольно живописна и напоминала Крымъ одному изъ моихъ спутниковъ.

— Моисей Соломоновичъ!

Онъ подъѣхалъ.

— Начинайте сказку, — вы обѣщали, — мы ѣдемъ шагомъ, лошади устали—спѣшить незачѣмъ.

Онъ поправилъ на головѣ грузинскую шапку и сказалъ: какъ вамъ угодно.

— Ну, начинайте.

Онъ началъ:

«У одного царя было три сына».

Ну, подумалъ я, вѣрно, двое умныхъ, а третій дуракъ,—непремѣнно три сына; почему бы, кажется, не четыре? Началю не обѣщало ничего оригинальнаго.

«Царь былъ старикъ и уже чувствовалъ, что не долго пожить ему на свѣтѣ. Позвалъ онъ къ себѣ сыновей и объявилъ, что скоро умретъ. Раздѣлите, сказалъ онъ имъ, царство мое на три *участка* *), и пусть каждый изъ васъ владѣетъ тѣмъ, что ему достанется.

*) Не потому ли, что Закавказскія губерніи раздѣлены на участки.

Вотъ, сказавши, что онъ скоро умретъ, онъ, дѣйствительно, скоро умеръ. Сыновья поплакали и похоронили его, какъ слѣдуетъ. Поплакавши и похоронивши, поѣхали они обозрѣвать все царство, и неизвѣстно, сколько времени они тамъ ѣздили и долго ли обозрѣвали, только, возвращаясь назадъ, неподалеку отъ города, отъ столицы то-есть, видятъ — на одномъ полѣ стоитъ преогромная печь».

Тутъ всѣ остальные мои спутники чутьемъ догадались, что—сказка, кто былъ впереди—поотсталъ, кто былъ назади—пріударилъ лошадь, и такимъ образомъ мы поѣхали кучей, что очень рѣдко случается; вѣчно вьюкъ отстанетъ, вѣчно кто-нибудь уѣдетъ впередъ, благодаря случайно попавшейся шагистой кобылѣ или горячему жеребцу, котораго трудно держать цѣлый день на поводахъ и ѣхать шагомъ.

«Стоитъ на полѣ печь, — продолжалъ Моисей Соломоновичъ,—и жарко топится; такъ и пышетъ полымя. Вотъ, слышутъ царевичи, что изъ печки кто-то зоветъ ихъ на помощь и кричитъ: помогите, я сожигаюсь!»

— То-есть, горю,—поправилъ я разсказчика.

«Да, то-есть, горю;—помогите, кричитъ, — горю! и такимъ жалобнымъ, плачущимъ голосомъ, что царевичи, не зная, что и подумать, подъѣхали къ печи; видятъ—горитъ, слушаютъ — ничего не слыхать — только огонь трещитъ да дымъ валитъ, а ужь голосу и не слышно. Начали окликать—никто не отзывается. Ну, видя, что дѣлать нечего, рѣшились ѣхать домой. Одинъ только третій братъ никакъ не хотѣлъ ѣхать, попросилъ братьевъ оставить съ нимъ двухъ служителей, остался на полѣ, и когда тѣ уѣхали, приказалъ таскать воду и заливать огонь. Долго они заливали; наконецъ огонь потухъ. Царевичъ велѣлъ раскапывать уголья—искать нѣтъ

ли тамъ человѣка или по крайней мѣрѣ костей человѣческихъ, но ничего, рѣшительно ничего не нашелъ. Что же дѣлать! Поѣхалъ онъ себѣ домой, и легъ спать по обыкновенію. Ночью видитъ онъ сонъ: приходитъ къ нему старикъ въ бѣломъ платьѣ и говоритъ ему: Царевичъ, слушай, когда вы раздѣлите царство, продай свою часть, и на вырученныя деньги построй на большой дорогѣ караванъ-сарай*). Слушайся меня, если хочешь быть счастливъ; а я хочу наградить тебя за твое доброе сердце».

Сказка не безъ морали, подумалъ я, и, соображая подробности разсказа, заключилъ между прочимъ, что печь—была грузинская печь, то-есть круглая яма, выложенная кирпичами и гладко вымазанная внутри глиной.

«Только что царевичи успѣли раздѣлить царство покойника отца, меньшой братъ ихъ продалъ все, что ему досталось, и на вырученныя деньги на большой дорогѣ построилъ огромный караванъ - сарай, съ конюшнями, разнымъ жильемъ—комнаты чудесныя отдѣлалъ, ячменю накупилъ—провизіи; и всѣ прохожіе и проѣзжіе стали у него останавливаться—ночуютъ—и на другой день, разумѣется, какъ слѣдуетъ хотятъ расплатиться, только царевичъ ни за что ничего не хочетъ брать отъ нихъ. Такъ прошелъ годъ, и въ этотъ годъ ничего особеннаго не случилось. Вдругъ, однажды зашелъ въ этотъ караванъ-сарай купецъ, бѣдный, усталый, и попросилъ позволенія пріютиться и отдохнуть. Царевичъ принялъ его очень ласково,—угостилъ его,—спросилъ: откуда и куда онъ идетъ, и нѣтъ ли чего-нибудь новаго?

— Я, говоритъ прохожій, былъ когда-то купцомъ первой гильдіи»...

---

*) Иначе, гостинница или постоялый дворъ.

— Моисей Соломоновичъ! пожалуйста, не искажайте вашей сказки своими прибавленіями. Какой первой гильдіи? Просто богатый купецъ.

Моисей Соломоновичъ покраснѣлъ и сказалъ мнѣ, что точно, это былъ просто богатый купецъ.

— Ну, теперь продолжайте.

«Первый, говоритъ, я былъ по богатству; поѣхалъ съ милліонами, а возвращаюсь нищимъ.

— Отчего же это съ вами такъ случилось? говоритъ царевичъ.

— Да такъ, говоритъ,—услыхалъ я, къ несчастію моему, что въ одномъ царствѣ, у одного царя есть дочь, необыкновенная красавица, какой никогда еще не было на бѣломъ свѣтѣ. Влюбился я, заочно, по однимъ разсказамъ, и захотѣлось мнѣ посмотрѣть на предметъ моей страсти. Вотъ собрался я въ дорогу и поѣхалъ въ тотъ самый городъ, гдѣ живетъ красавица — царская дочь. Долго я тамъ жилъ; но сколько стараній ни употреблялъ, чтобъ увидать ее, что ни дѣлалъ — истратилъ все свое богатство, всѣ свои милліоны, и ничего,—говоритъ,—ничего не могъ добиться,—добился одного только, что досталъ портретъ этой необыкновенной красавицы.

— Покажите мнѣ этотъ портретъ, сказалъ царевичъ.

— Извольте, я, пожалуй, говоритъ, вамъ покажу его.

Тутъ онъ вынулъ небольшой портретъ, развернулъ его и показалъ царевичу.

Царевичъ упалъ въ обморокъ».

— Да отчего же? — спросилъ я, не безъ удивленья.

— Да ужь такъ влюбился, что и на ногахъ не могъ устоять.

«Когда же очнулся, сталъ умолять купца уступить ему этотъ портретъ, и сказалъ, что не пожалѣетъ за него отдать ему все свое состояніе. Но купецъ ни за что не хотѣлъ разстаться съ этой вещью. Ничего, говоритъ, мнѣ не надобно, ничего, говоритъ, не возьму.

— Ну, скажите мнѣ, по крайней мѣрѣ, гдѣ и въ какомъ царствѣ живетъ эта красавица?

Купецъ сказалъ, въ какомъ царствѣ... и на другой же день рано утромъ отправился.

Царевичъ проснулся также рано, велѣлъ осѣдлать трехъ лошадей, взялъ съ собой двухъ служителей и поѣхалъ.

Ѣдетъ царевичъ, а самъ даже и дороги не знаетъ, позабылъ спросить купца, а теперь и спросить некого. Ѣдетъ наудачу,—мудрено ли заблудиться. Ѣдетъ день—два; захотѣлось ѣсть. Вотъ расположился онъ у подошвы одной крутой горы; сѣлъ у одного куста, а служители у другого; стали они закусывать. А гора-то была, какъ бы вамъ сказать, ну вотъ, такая точно, какъ Алевъ гора, на которой мы сейчасъ только что были, — крутая и высокая. Въ горѣ пещера, а на горѣ зданіе построено. Вдругъ, видитъ царевичъ, съ горы идутъ къ нимъ три дѣвки—то-есть дѣвушки, я хотѣлъ сказать, три прелестнѣйшихъ дѣвушки. Одна изъ нихъ подошла къ царевичу, а двѣ другія подсѣли къ служителямъ, стали ихъ всячески обвораживать—обнимать, знаете, и наконецъ упрашиваютъ выпить по азарпешѣ вина, которое онѣ принесли съ собою. Вино было чудесное, лучше даже кахетинскаго самаго лучшаго: немудрено, потому что, надо вамъ сказать, это были три дьявола, въ видѣ дѣвушекъ».

— Что жь, вѣрно, царевичъ догадался, и не сталъ

пить,—сказалъ я, но, какъ видно, дѣло вышло гораздо *правдоподобнѣе*.

— Помилуйте! замѣтилъ Моисей Соломоновичъ:— «видитъ онъ, просятъ его выпить за здоровье — нельзя же не выпить! Хоть бы вы, напримѣръ, прибавилъ онъ въ оправданіе царевича, какъ бы вы отказались— не выпили!.. нельзя! Царевичъ выпилъ, служители его также выпили,—и только что успѣли опорожнить по одной какой-нибудь азарпеши, повалились и заснули крѣпкимъ сномъ. Дѣвушки вынули кинжалы, и уже хотѣли было зарѣзать ихъ, потому что, какъ я уже замѣтилъ вамъ, это были злые духи, — дьяволы, а не дѣвушки.

Только что вынули онѣ кинжалы, какъ вдругъ, откуда ни возьмись, является огромнаго роста человѣкъ, весь голый, только одинъ башмакъ на одной ногѣ. Выхватываетъ онъ у соннаго царевича шашку, и ну рубить дѣвушекъ. Положилъ ихъ всѣхъ на мѣстѣ и сталъ будить царевича.

Царевичъ проснулся, и его служители также проснулись.

Всѣ трое ужаснулись и чуть не заплакали, когда увидали, что всѣ три дѣвушки лежали изрубленными; а какой-то голый человѣкъ стоитъ, опершись на шашку, и смотритъ на нихъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Царевичъ очень струсилъ; но голый человѣкъ подошелъ къ нему и сказалъ: не бойся, я избавилъ васъ отъ явной смерти. Эти дѣвушки — не что иное, какъ злые духи. Онѣ, говоритъ, хотѣли погубить васъ; но имъ не удалось, потому что я изрубилъ ихъ.

— Да кто же ты? спросилъ его царевичъ,—что за человѣкъ? скажи, пожалуйста.—Я, говоритъ, Делибаштала, вѣрный слуга твой. Все, что ни прикажешь, все, гово-

ритъ, для тебя сдѣлаю. Теперь я отъ тебя не отстану— куда ты, туда и я.

— Пожалуйста, мнѣ тебя не нужно! сказалъ царевичъ. Возьми за твое доброе дѣло все, что хочешь, только отстань.—Нѣтъ, говоритъ, я отъ тебя не отстану; безъ меня тебѣ и дороги не найти. Знаю, зачѣмъ ты ѣдешь, и непремѣнно пойду въ тотъ самый городъ, гдѣ живетъ царевна.

— Помилуй, скажи, какъ же ты пойдешь со мной въ городъ, да ты меня осрамишь,—ты совсѣмъ голый, ничего на тебѣ не закрыто! На меня будутъ пальцемъ указывать. Я отъ стыда не буду знать, куда и дѣваться. Помилуй, Делибаштала, не ходи со мной!—Нѣтъ, говоритъ, я съ тобой! Ну, что дѣлать? Поѣхалъ царевичъ, голый человѣкъ шагаетъ подлѣ,—только одинъ башмакъ на ногѣ хлопаетъ. Какъ ни скачетъ царевичъ—голый человѣкъ хоть и шагомъ идетъ—не отстаетъ, оттого что, понимаете, ноги-то длинныя; разъ шагнетъ — перегонитъ. Ничего нѣтъ невѣроятнаго».

Согласившись съ Моисеемъ Соломоновичемъ, что въ его сказкѣ ничего нѣтъ невѣроятнаго, я попросилъ его продолжать, такъ какъ голый Делибаштала начинаетъ интересовать меня. Что-то будетъ...

— Посмотрите, что еще будетъ! это чудесная сказка, сказалъ Моисей Соломоновичъ и поправилъ на головѣ грузинскую шапку.

— Я самъ вижу, что чудесная, отвѣчалъ я.

— А хотите, у меня есть еще другая сказка, я начну вамъ другую.

— Нѣтъ, ужь кончите сперва эту. Я хочу знать, что случилось съ царевичемъ, и пріѣхалъ ли онъ въ городъ.

«Пріѣхалъ онъ въ городъ и остановился въ одной гостинницѣ. Голый человѣкъ рѣшительно его сконфузилъ.

Представьте себѣ, идетъ по улицѣ — голый! Всѣ глядятъ—останавливаются; а ему и горя нѣтъ. Царевичъ покраснѣлъ отъ стыда; но дѣлать было нечего. Какъ онъ его ни упрашивалъ отстать хоть немного, голый Делибаштала все время шелъ возлѣ лошади, до самой гостинницы.

Въ гостинницѣ царевичъ сталъ разспрашивать о царской дочери. Никто ея не можетъ видѣть, отвѣчали ему приходящіе—напрасно и пріѣзжать! Это такая удивительная красавица, что такой красоты еще и подъ солнцемъ не было; ея взгляда одного никто не можетъ вынести. Передъ дворцомъ, на площади, сами увидите, какъ много несчастныхъ, желающихъ ее видѣть.—Неужели? сказалъ царевичъ и вечеромъ того же дня пошелъ на площадь. Видитъ, передъ царскимъ дворцомъ, противъ самаго балкона, на площади, вырыты ямы. Въ этихъ ямахъ, сказали ему, по нѣскольку лѣтъ уже, сидятъ влюбленные въ царевну; сидятъ день и ночь, боятся пропустить случай увидать ее, и ждутъ, не выйдетъ ли она на балконъ; но никто до сихъ поръ не видалъ ея. Тутъ царевичъ подошелъ къ одной ямѣ, которая была всѣхъ ближе къ балкону, и видитъ—сидитъ въ ней человѣкъ, блѣдный и худой, такъ и видно, что даже ночей не спитъ, сидитъ и плачетъ.—Пусти меня, пожалуйста, сказалъ ему царевичъ, уступи мнѣ эту яму.—Нѣтъ, сказалъ ему незнакомый человѣкъ, много денегъ я прожилъ въ этомъ проклятомъ городѣ, сидя въ этой ямѣ, прожилъ все, что имѣлъ, знаю, что мнѣ никогда не увидать царевны; но посуди самъ, что за охота возвращаться мнѣ безъ денегъ на родину! Заплати мнѣ все, что я прожилъ, тогда, говоритъ, пожалуй, я пущу тебя.

Царевичъ обрадовался, заплатилъ ему деньги,—полѣзъ въ яму, сѣлъ на его мѣсто, и сталъ смотрѣть на балконъ.

Долго бы просидѣлъ царевичъ въ этой ямѣ, если бъ Делибаштала не отыскалъ его.—Что ты тутъ дѣлаешь? ступай вонъ, сказалъ онъ царевичу, вылѣзай! Царевичъ вылѣзъ.—Ступай себѣ въ гостинницу и сиди тамъ,—я знаю, что дѣлать.—Что же ты сдѣлаешь?—Не твое дѣло.

Царевичъ пошелъ въ гостинницу, а Делибаштала взобрался на царскій балконъ, и ну ходить по балкону. Видитъ царь въ окошко, что какой-то голый, съ башмакомъ на одной ногѣ, ходитъ по балкону.—Какой тамъ невѣжа осмѣлился ходить у меня на балконѣ? что за человѣкъ? послать, спросить его! сказалъ царь, не шутя разсердившись. Пришли посланные отъ царя спросить Делибашталу, что онъ за человѣкъ. Делибаштала отвѣчалъ, что хочетъ видѣть царя и что только царю скажетъ, что онъ за человѣкъ. Посланные испугались и воротились. Царь велѣлъ позвать его и спросилъ: кто ты такой? Разумѣется, Делибаштала объявилъ ему, кто онъ такой, то есть, назвалъ себя по имени, и сказалъ, что присланъ посломъ отъ такого-то царевича, который проситъ руки его дочери. Царь, посмотрѣвши на голаго, засмѣялся.—Ну, хорошо, говоритъ, скажи твоему царевичу: если пришлетъ онъ мнѣ 500 дѣвушекъ и 500 мальчиковъ, такъ чтобъ всѣ они были одного роста и пятнадцати лѣтъ, ни больше ни меньше, да, говоритъ, если будутъ они одѣты въ богатое платье, и принесутъ мнѣ на головахъ золотыя блюда съ разными фруктами, тогда, пожалуй, я отдамъ за него дочь мою».

— Ну, у этого царя, какъ я вижу, былъ чисто восточный вкусъ; зачѣмъ ему нужно было 500 мальчиковъ?

— Такая ужь это сказка! наивно возразилъ мнѣ Моисей Соломоновичъ.

Въ это время мы подъѣхали къ оврагу; дорога стала

спускаться внизъ каменными, неровными уступами. Я вспомнилъ, что сѣдло мое безъ подхвостника, что оно легко можетъ съѣхать на гриву лошади, и такъ какъ голова немного дороже сказки—я остановился и соскочилъ на землю. Всѣ сошли съ лошадей, и, хватаясь за древесные сучья, подъ уздцы, осторожно стали сводить ихъ подъ гору. Внизу шумѣлъ потокъ и пропадалъ въ изворотахъ темной балки.

Переправившись и поднявшись на другую сторону, мы отдохнули немного, раскурили трубки и поѣхали. Изъ насъ всѣхъ смѣшнѣе былъ мой переводчикъ изъ татаръ. Въ одной осетинской деревушкѣ онъ прилегъ было заснуть на землѣ, подъ навѣсомъ сакли, какъ вдругъ почувствовалъ ознобъ и головную боль; испугавшись лихорадки, онъ взялъ мою старую сѣрую студенческую шинель, уже безъ капюшона, и надѣлъ ее въ рукава; сверхъ шинели повѣсилъ свою, никуда негодную, шашку, а горло обмоталъ моимъ же краснымъ шарфомъ. Чтобъ еще болѣе разогрѣть себя, онъ началъ скакать взадъ и впередъ, выхватывалъ шашку, наскакивалъ, замахивался и дѣлалъ видъ, будто рубитъ нашимъ провожатымъ головы. Но какъ только услыхалъ онъ, что сказка снова начинается, вложилъ свой побѣдоносный мечъ въ ножны, присмирѣлъ и поѣхалъ сзади. Солнце сіяло яркимъ вечернимъ блескомъ, облака не мѣшали свѣтить ему—тихій вѣтеръ шелестилъ сухими буковыми листьями, и пахучіе теплые пары едва замѣтно поднимались съ увлаженной почвы. До Душета оставалось не болѣе семи верстъ. Едва замѣтные слѣды арбы сквозь лѣсъ указывали намъ дорогу. Всѣ были расположены молчать, ѣхать шагомъ и слушать.

«Делибаштала, — началъ Моисей Соломоновичъ, — Делибаштала, не сказавши ни слова царевичу, сейчасъ

же пошелъ на ту гору, гдѣ, помните вы, онъ убилъ трехъ дѣвушекъ.

Забралъ тамъ, въ ихъ пещерахъ, безчисленное множество денегъ—золота, серебра, каменьевъ драгоцѣнныхъ, и пошелъ въ сосѣднія государства. Тамъ, не жалѣя денегъ, накупилъ онъ 500 дѣвушекъ и 500 мальчиковъ, нарядилъ ихъ въ богатое пурпуровое платье, велѣлъ имъ нести на головахъ золотыя блюда и чаши, а вмѣсто фруктовъ насыпалъ на нихъ драгоцѣнные камни, и повелъ ихъ въ городъ, къ тому царю, у котораго дочь красавица. Царь, увидѣвши такія сокровища, самъ не зналъ, вѣрить ли ему глазамъ... и когда Делибаштала сказалъ ему, что все это ему въ подарокъ прислалъ царевичъ, который самъ остановился въ гостинницѣ, отдохнуть съ дороги—и, между прочимъ, велѣлъ спросить, исполнитъ ли царь свое обѣщаніе и выдастъ ли за него дочь свою, царь послалъ просить къ себѣ царевича. Делибаштала побѣжалъ въ гостинницу.—Ну, говоритъ, царевичъ, такъ и такъ, одѣвайся скорѣй и иди къ царю. Царевичъ не зналъ, что́ и подумать, одѣлся въ богатое платье и поѣхалъ во дворецъ. Когда явился онъ во дворецъ, царь ласково его встрѣтилъ, познакомился съ нимъ, благодарилъ его за подарки (а за какіе подарки, тотъ и самъ не зналъ); потомъ велѣлъ позвать дочь свою, для того, разумѣется, чтобъ представить ее царевичу, какъ невѣсту. Только что вошла царевна,—царевичъ только что успѣлъ взглянуть на нее, какъ сейчасъ же упалъ въ обморокъ».

— Ужь не оттого ли,—спросилъ я,—что вмѣсто красавицы, царевичъ увидалъ старуху?—Вѣдь она точно также могла состариться, какъ и тѣ господа, которые всю свою жизнь сидѣли въ ямахъ, дожидаясь ея выхода.

— Нѣтъ-съ, помилуйте, совсѣмъ не оттого. Это

была такая удивительная красавица, что надо было имѣть привычку, чтобъ только смотрѣть на нее.

Эти слова Моисей Соломоновичъ произнесъ съ видомъ совершеннаго убѣжденія въ несомнѣнности сказочной красавицы, и, признаюсь вамъ, мнѣ нравилось, что онъ разсказывалъ свою сказку не безъ охоты и даже не безъ нѣкотораго увлеченія. Не знаю, былъ ли съ своей стороны онъ доволенъ моимъ вниманіемъ, но думаю, что любить сказки способна только простая, безхитростная душа и спокойная совѣсть. Любовь простого народа къ сказкамъ намекаетъ больше на хорошія, чѣмъ на дурныя черты его характера.

Моисей Соломоновичъ, продолжая разсказывать о свадьбѣ царевича съ царевной, упомянулъ, что вѣнчать ихъ позвали священника. Этотъ священникъ такъ же не кстати является въ восточной сказкѣ, какъ и купецъ первой гильдіи.

Я не могъ не сдѣлать этого замѣчанія, потому что сказка можетъ интересовать меня только какъ плодъ чистой народной фантазіи, и притомъ настолько, насколько она намекаетъ на свое первоначальное происхожденіе. Долговѣчныя, подобно пѣснямъ, сказки ближе пѣсенъ къ общему источнику всѣхъ повѣрій,—т. е. къ Востоку. Уцѣлѣвшіе памятники, запустѣлыя развалины знаменуютъ распри и борьбу народовъ; сказки же и повѣрья, напротивъ, говорятъ намъ о ихъ дружественныхъ, близкихъ сношеніяхъ, о ихъ вліяніи другъ на друга въ мирное время. Но, извините, я вовсе не намѣренъ писать разсужденія, и потому въ этихъ запискахъ продолжаю припоминать себѣ разсказъ любезнаго Моисея Соломоновича и записывать слова его.

— Ну, сказалъ я,—женился царевичъ, тѣмъ все и кончилось—сказкѣ конецъ. Не правда ли?

— Нѣтъ еще, погодите! «Только что царевичъ обвѣнчался съ царевной, вечеромъ явился къ нему Делибаштала и говоритъ:—ну, говоритъ, вотъ что я для тебя сдѣлалъ; благодаренъ ли ты мнѣ за мою услугу? Царевичъ сталъ благодарить его: очень, говоритъ, я тебѣ благодаренъ, не знаю, чѣмъ и отплатить мнѣ за твою услугу! Проси у меня все, что хочешь, ни въ чемъ, говоритъ, я не откажу тебѣ. Делибаштала сказалъ, что за услугу его, въ благодарность, онъ долженъ уступить ему на нѣкоторое время свою царевну, т. е. . . . . —понимаете. Царевичъ никакъ сперва не хотѣлъ согласиться на такое предложеніе, плакалъ, упрашивалъ его не дѣлать ему и ей такого безчестія; но Делибаштала никакъ не хотѣлъ уступить ему. Какъ ни сердился царевичъ, но принужденъ былъ согласиться Когда пришла ночь и царевна легла спать, Делибаштала первый вошелъ къ ней въ спальню, какъ вдругъ выскочили изъ нея два злыхъ демона, попросту—два чорта, и полагая, что пришелъ царевичъ, хотѣли было задушить его; но Делибаштала началъ съ ними сражаться и убилъ ихъ. Когда же онъ убилъ ихъ, воротился къ царевичу и сказалъ ему: теперь ступай—твоя очередь, я свое дѣло сдѣлалъ. Царевичъ пошелъ къ царевнѣ и удивился. . . . . сталъ ее спрашивать; но царевна думала, что это онъ входилъ къ ней, и сама удивлялась, отчего царевичъ не хотѣлъ даже обнять ее. На другой или на третій день послѣ свадьбы, не помню навѣрное,—царевичъ съ молодою женой простились съ царемъ, и поѣхали домой. Делибаштала съ ними же отправился. Когда они въѣхали въ одинъ лѣсъ—Делибаштала опять заупрямился и сталъ увѣрять царевича, что жена его принадлежитъ по праву обоимъ, и что царевичъ долженъ раздѣлить ее на-двое.

«Ты себѣ бери одну половину, а я себѣ другую!» Царевичъ и спорилъ, и плакалъ, и злился; но Делибаштала былъ неумолимъ и на своемъ настаивалъ до тѣхъ поръ, пока въ отчаяніи царевичъ не сказалъ ему: ну, дѣлай что хочешь!

Делибаштала привязалъ царевну къ дереву, вынулъ шашку и объявилъ, что намѣренъ разрубить ее на-двое: одну половину себѣ оставить, а другую царевичу.

— На что же, посуди самъ, Делибаштала, на что же мнѣ она мертвая! вѣдь ты убьешь ее! Какъ же это можно рубить на-двое, или ты съ ума сошелъ! Но Делибаштала не слушался царевича, замахнулся шашкой,—царевичъ отъ ужаса безъ чувствъ упалъ на землю, а царевнѣ отъ испуга стало тошно и множество нечистыхъ злыхъ духовъ стали вылетать и выползать у нея изо рта. Делибаштала всѣхъ, одного за другимъ, убивалъ своей шашкой, и когда всѣхъ убилъ до послѣдняго, развязалъ царевну и заставилъ очнуться царевича. Царевичъ, увидавъ жену свою живою, обрадовался, и долго не вѣрилъ глазамъ своимъ. Но Делибаштала показалъ ему на убитыхъ дьяволовъ и сказалъ: «Только теперь я отблагодарилъ тебя за твою услугу; знай, что я тотъ самый, котораго ты спасъ изъ огненной печки. Помнишь ли, говоритъ, какъ ты остался на полѣ и сталъ заливать ее! Если бъ я теперь не замахнулся, чтобы убить царевну, знай, что эти черти остались бы навсегда жить въ ней и непремѣнно бы тебя погубили; но теперь ты можешь жить съ ней спокойно и счастливо. Поѣзжай на ту гору, гдѣ убилъ я трехъ дѣвушекъ, тамъ есть пещера, гдѣ ты можешь набрать себѣ столько золота и разныхъ сокровищъ, сколько пожелаешь; меня же ты уже больше никогда не увидишь; прощай!» Сказавши это, онъ пропалъ въ одну минуту. А царевичъ поѣхалъ съ женой

на свою родину и тамъ, разумѣется, сталъ жить очень счастливо».

Тѣмъ сказка и кончилась. Кто знакомъ съ русскими сказками, тому конецъ ея вовсе не покажется оригинальнымъ. И въ нашихъ сказкахъ точно также нечистые духи обитаютъ въ красавицахъ, на которыхъ не только замахиваются, но даже и рубятъ ихъ безъ церемоніи, имѣя, разумѣется, на этотъ случай въ запасѣ по стклянночкѣ живой и мертвой воды.

Сказка досказалась во́-время. Были уже позднія сумерки, за деревьями уже мелькали стѣны и башни гостепріимнаго замка Ч—ыхъ,—мы спѣшили и, несмотря на неровности холмистой дороги, усѣянной камнями, понеслись скорой рысью, прямо къ замку. Потомъ, повернувъ налѣво, между садами и огородами, въѣхали въ Душетъ и очутились на Милліонной улицѣ.

Такъ, шутя, гг. душетскіе чиновники называютъ здѣсь главную улицу. Говорятъ, когда-то, во время оно, а можетъ быть и очень недавно, въ Душетъ поздно вечеромъ, на перекладной, въѣзжалъ какой-то прапорщикъ. Вообразивъ себѣ Душетъ огромнымъ и красивымъ городомъ, онъ думалъ, что ямщикъ везетъ его околицей.—Пошелъ, болванъ, по главной улицѣ! Я жь тебѣ говорю, мошенникъ, пошелъ по главной! — грозно кричалъ онъ, толкая въ спину ямщика. Ямщикъ (изъ русскихъ) обернулся и отвѣчалъ: «помилуйте, ваше благородіе! что вы! да это самая главная улица — Милліонная!»..

Квартира въ татарскомъ кварталѣ.

I.

Это было въ самый жаркій часъ едва ли не самаго жаркаго іюльскаго дня въ Тифлисѣ.

Солнце было неумолимо, а я безъ зонтика долженъ былъ идти съ Авлабара на Эриванскую площадь *). Какъ нарочно, ни одного извозчика! На старомъ деревянномъ мосту на одну минуту остановился я послушать шумъ Куры, полюбоваться быстротою волнъ, стѣсненныхъ выступами береговыхъ утесовъ, подышать свѣжимъ воздухомъ. Но на мосту показалось мнѣ еще жарче, чѣмъ на улицѣ; казалось, деревянный мостъ готовъ былъ подо мною вспыхнуть: такъ было горячо подошвамъ. По синему небу не проносилось ни одного облака. Вѣтеръ, который изрѣдка поднималъ пыль, вѣроятно, зарождался гдѣ-нибудь по близости въ ущельяхъ, раскаленныхъ солнцемъ, и не давалъ прохлады.

На Майданѣ **) было довольно пусто; кучки азіатовъ сидѣли на буркахъ, въ тѣни домовъ, или стояли на тротуарахъ, подъ холстинными навѣсами. Запахъ копченой рыбы, нефти, шафрану, мыла и сальныхъ свѣ-

*) Мой разсказъ относится къ тому еще времени, когда на Эриванской площади не было театральнаго зданія.

**) Майданъ—татарская базарная площадь.

чей попеременно услаждалъ мое обоняніе. Бакалейщики *) выливали на мостовую воду, въ которой полоскали пыльную зелень и овощи, дабы полуденный жаръ ихъ не высушилъ.

На Армянской улицѣ мнѣ пришла въ голову мысль отдохнуть въ табачной лавочкѣ.

Забравшись подъ низенькій холстинный навѣсъ, я кивнулъ головой табачному продавцу, вѣроятно арзерумскому или трапезонтскому турку, пасмурному на видъ, желтому, какъ шафранъ, и толстому, какъ бурдюкъ. Въ коричневой курткѣ, вышитой черными шнурками, и въ чалмѣ, онъ сидѣлъ на широкомъ чистомъ прилавкѣ, свернувши ноги такъ, что одинъ только полосатый носокъ выглядывалъ изъ-подъ складокъ широкихъ шараваръ, и лѣниво покуривалъ трубку съ янтарнымъ мундштукомъ.

— Здравствуй! сказалъ я турку.

— Здравствуй, отвѣчалъ онъ мнѣ соннымъ голосомъ, и струйка дыму заволокла усы его.

— Есть хорошій табакъ?

— Есть.

— Хорошій?

— *Дурной* нѣтъ.

Я усѣлся подлѣ него на прилавкѣ, свѣсилъ ноги на улицу, снялъ фуражку и вытеръ лобъ.

Купецъ молча предложилъ мнѣ трубку, я молча взялъ ее и сталъ курить... Глаза его, черные и въ то же время тусклые, какъ будто сквозь сонъ посматривали на меня съ выраженіемъ совершеннаго равнодушія къ моему присутствію.

Подъ навѣсомъ лавочки было такъ уютно и до того

---

*) Бакалейщикъ—продавецъ овощей и фруктовъ.

сносно жарко, что я готовъ былъ просидѣть въ ней до самаго вечера.

На улицѣ народу было мало; въ жаркіе дни тифлисская жизнь обыкновенно кипитъ или рано утромъ, или вечеромъ; съ полудня же до пяти часовъ, ѣдутъ и идутъ только изъ крайней необходимости. Противъ меня, на противоположномъ тротуарѣ, сидѣлъ нищій старикъ, сухой, длиннобородый и сѣдой, какъ лунь; голова его была покрыта войлочной пыльной шапкой. Старикъ на проходящихъ не обращалъ ровно никакого вниманія, и, какъ философъ, весь былъ погруженъ въ разсматриваніе своихъ собственныхъ лохмотьевъ, скудно прикрывающихъ наготу его. Возлѣ этого почтеннаго старца, упираясь головой въ какой-то мѣшокъ, на голыхъ, солнцемъ раскаленныхъ кирпичахъ, лежалъ мальчикъ, лѣтъ восьми; его била лихорадка: онъ дрожалъ и безпрестанно закрывалъ затылокъ свой коротенькой буркой; у обнаженныхъ, посинѣлыхъ ногъ его лежала косматая баранья шапка, изъ которой торчалъ заржавленный кинжалъ и кусокъ арбуза.

— Какъ жалко! сказалъ я невольно вслухъ, всмотрѣвшись въ живописную группу нищихъ.

— Гм! да!.. жарко, отозвался турокъ.

— Правда ли, что здѣсь иногда въ простомъ народѣ отъ лихорадки лѣчатся арбузами?

Купецъ или не понялъ меня, или не разслушалъ.

— Да, сказалъ онъ, послѣ нѣкотораго молчанія:— арбузъ хорошо и дыня хорошо...

— Хорошо!... отвѣсь же мнѣ фунтъ хорошаго табаку.

Турокъ потянулъ было ноги, чтобъ привстать, вѣроятно, для того, чтобъ взять вѣсы, но опять усѣлся; вставать ему рѣшительно не хотѣлось. Одной рукой стащилъ онъ съ полки листъ оберточной бумаги, другую

погрузилъ въ табакъ, насыпанный кучею. Двѣ такихъ кучи, одна желто-коричневая, другая коричнево-желтая, возвышались тутъ же, на прилавкѣ, въ тѣсномъ пространствѣ между хозяиномъ и его посѣтителемъ.

— Что, любишь крѣпкій?... А?

— Люблю.

Турокъ свернулъ бумагу въ трубочку и положилъ туда нѣсколько горстей табаку, всякій разъ захватывая его такимъ образомъ, что желтыя, ароматическія нити его со всѣхъ сторонъ висѣли и тянулись между толстыми, широко раздвинутыми пальцами.

— На! сказалъ онъ послѣ пятой горсти:—фунтъ! Больше будетъ, самъ мѣрь.

Завернулъ и подалъ.

Я очень хорошо понялъ, что если стану приставать къ нему, то нарушу *кейфъ* его. Честный турокъ однакожь подумалъ, что я сомнѣваюсь въ немъ, взялъ еще двѣ горсти и забилъ въ бумагу.

Я сказалъ, что тутъ больше фунта, и что я не хочу больше.

— Ничего. Ты знакомъ *человѣкъ*—ты меня *не знай*—я тебя *знай*,—отвѣчалъ онъ, дѣлая жестъ рукой, и какъ бы выражая этимъ жестомъ слѣдующее: я покоенъ, будь же, пожалуйста, и ты покоенъ; курю, и ты кури; я молчу, и ты молчи.

— Что же стоитъ фунтъ?

— Два *абасъ*.

Я отдалъ деньги и продолжалъ сидѣть, жалѣя о тѣхъ, которыхъ судьба, въ такой нестерпимый жаръ, заставила идти по улицѣ. Вдругъ, вижу, трое мушей *) несутъ чьи-то пожитки.

*) Муши—особый классъ людей въ Тифлисѣ, занимающихся по найму переноскою вещей.

Мебелью, которая качалась на ихъ согнутыхъ спинахъ, можно было бы превосходно убрать цѣлую комнату. Крупный потъ катился по коричневымъ, отъ загара, суровымъ лицамъ ихъ и, въ буквальномъ смыслѣ слова, капалъ на мостовую... Казалось, они только что вылѣзли изъ бани. Какъ теперь помню, на одномъ изъ нихъ вся одежда состояла изъ грязныхъ шараваръ и истертой куртки, безъ обшлаговъ и пуговицъ. На всклокоченныхъ черныхъ и пыльныхъ волосахъ его едва держалась, подвязанная у подбородка, плоская имеретинская шапочка.

Нужна большая привычка, чтобъ рѣшиться въ такой жаръ тащить такую тяжесть. Не скажу, чтобъ они, то-есть *муши*, показались мнѣ страдальцами, но мысленно я бранилъ того господина, который нанялъ ихъ въ такое время; отчего бы, думалъ я, не погодить ему до вечера!

Муши прошли, и вслѣдъ за ними явился страдалецъ въ полномъ смыслѣ слова. Это былъ человѣкъ довольно прилично одѣтый, низенькій, худой, неловкій и безсильный; обѣ руки его были заняты: въ одной онъ несъ четыре чубука, въ другой ружье. Это бы еще не велика бѣда, но у него подъ мышками былъ съ одной стороны какой-то ящикъ, съ другой—мѣшокъ съ сапогами; то мѣшокъ, то ящикъ ежеминутно готовы были выскользнуть. Потное лицо его дѣлало такія жалкія гримасы, что я едва могъ узнать его.

— Филатъ! закричалъ я, соскользнувъ съ прилавка и вставая на ноги.

Филатъ узналъ меня и былъ въ страшномъ затрудненіи, какъ ему снять картузъ; онъ сдѣлалъ пресмѣшное усиліе — поднять одну руку и въ то же время наклонить къ ней голову.

— Филатъ! сдѣлай милость, не хлопочи кланяться; скажи только, ради Бога, неужели это твой баринъ перемѣнилъ квартиру?

— Баринъ-съ.

— Что это ему вздумалось, въ такой жаръ? Ты бы лучше взялъ ружье-то въ одну руку съ чубуками— вотъ такъ,—а ящики-то возьми вотъ этакъ.

— Какъ?

— Да, вотъ этакъ, братецъ! Легче нести... Да скажи, пожалуйста, гдѣ это твой баринъ совсѣмъ пропалъ—нигдѣ не видать его. Куда это вы перебираетесь?

— Въ такое мѣсто, что сказать совѣстно, просто клѣтушка, а не квартира.

— Гм! какъ это странно!.. Постой немного, я сейчасъ напишу къ нему записку.

Тутъ я досталъ въ карманѣ карандашъ и клочокъ бумаги, вошелъ въ лавочку, и написалъ:

«Хвилькинъ! чудакъ! гдѣ ты пропадаешь? куда перебираешься? Приходи ко мнѣ непремѣнно; завтра воскресенье, и я не пойду въ канцелярію. Прощай».

— На, отдай Михаилу Ивановичу! сказалъ я Филату, который кричалъ въ это время мушамъ, чтобъ они его погодили.

— Дороги не знаютъ, а лѣзутъ! говорилъ онъ съ явнымъ неудовольствіемъ.

Я положилъ записку въ его шапку и сказалъ, что я самъ навѣщу его барина.

— А какъ вы найдете нашу квартиру? Приходите сами, мнѣ сказывать не велѣно,—уныло проговорилъ Филатъ, и пошелъ, шагая во всю длину короткихъ, жиденькихъ ногъ своихъ, догонять мушей.

«Ба, — подумалъ я, — что это за таинственность! постой же, Хвилькинъ, мы тебя отроемъ».

II.

Черезъ недѣлю, я узналъ, гдѣ живетъ Михаилъ Ивановичъ. Но, быть можетъ, вамъ угодно знать, кто такой Михаилъ Ивановичъ?—Это, имѣю честь рекомендовать вамъ, былъ предобрый, пресмѣшной и премилый малый. Всего только два мѣсяца, какъ онъ пріѣхалъ въ Тифлисъ, съ намѣреніемъ найти себѣ какое-нибудь мѣсто, безъ всякаго намѣренія когда - нибудь получить его. Хвилькинъ пріѣхалъ съ деньгами, могъ угостить шампанскимъ съ полдюжины пріятелей, порядочно игралъ въ преферансъ, и наша молодежь сочла за нужное съ нимъ сойтись и познакомиться.

Хвилькинъ былъ очень простой и въ то же время какой-то мудреный человѣкъ. Не знаю, удастся ли мнѣ хоть сколько-нибудь рельефно очертить его. Въ этомъ человѣкѣ, на первый взглядъ, ничего не было рельефнаго. Все было на немъ чинно, гладко, блѣдно и умѣренно. Лицомъ онъ былъ не дуренъ и далеко не хорошъ. Оно было безцвѣтно; отлетающая молодость поспѣшила наложить на немъ никѣмъ не видимое, но всѣмъ понятное, прощальное клеймо свое. Ему было на видъ около тридцати лѣтъ; глаза его, болотнаго цвѣта, никогда почти не измѣняли своего апатическаго выраженія, зато маленькія свѣтлорусыя бровки нерѣдко поднимались къ верху, при чемъ всѣ морщины на лбу его приходили слегка въ волнообразное движеніе; ротъ его также отличался необыкновенной подвижностью; каждый свой разсказъ онъ умѣлъ, такъ сказать, характеризовать гримасой. Никто, быть можетъ, не умѣлъ такъ неожиданно сдѣлать глупо - равнодушной мины послѣ имъ самимъ же сказанной остроты. Друзья на-

зывали его чудакомъ, и, Богъ знаетъ почему, нерѣдко одно его появленіе заставляло всю нашу холостую компанію восклицать, трунить, вызывать на смѣхъ, и громко хохотать отъ каждаго его слова. Хвилькинъ потѣшалъ насъ; онъ какъ нельзя лучше понималъ роль свою, и, нисколько не теряя своего достоинства, старался ее поддерживать. Хвилькинъ былъ совершенно спокоенъ, когда всѣ смѣялись, и постоянно корчилъ улыбку встрѣчаясь съ угрюмыми или просто молчаливыми лицами.

Одѣвался онъ не лучше и не хуже другихъ. Днемъ соломенный картузъ, вечеромъ круглая черная шляпа и свѣтло-гороховое пальто нисколько не отличали отъ другихъ его невысокое и необъемистое туловище. Хвилькинъ былъ небольшого роста, и въ умственномъ отношеніи умѣлъ казаться по плечу всѣмъ и каждому. Никто не хотѣлъ въ немъ видѣть человѣка, на что-нибудь способнаго, и въ этомъ, быть можетъ, заключалась тайна, отчего никто серьезно не бранилъ его... Хвилькинъ самъ никуда не совался и ни отъ чего не отказывался—ни отъ попойки, ни отъ новаго знакомства, ни даже отъ щепотки табаку, если только кому - нибудь вздумалось поднести къ нему раскрытую табакерку. Одна очень умная барыня увѣряла меня, что лицо г-на Хвилькина лучшее лѣкарство отъ скуки, и что чѣмъ онъ печальнѣе, тѣмъ веселѣе тому, кто на него глядитъ. Прошу покорно описать такую физіономію!.. Очень веселымъ я никогда не видалъ его, точно также какъ ни разу не случалось мнѣ видѣть его сердитымъ: человѣкъ его, Филатъ, разбилъ у него кружку, пролилъ на столъ чернила, забылъ взять сухарей у хлѣбника, и Хвилькинъ преравнодушно говорилъ ему: ты очень

глупъ! или: что будетъ, если этими чернилами да вымажутъ лицо твое!

Прошедшая жизнь Михаила Ивановича для меня была покрыта мракомъ неизвѣстности, но я скоро сошелся съ нимъ и полюбилъ его. Каждый считалъ его глупѣе себя, а онъ былъ умнѣе многихъ. Я это понялъ потому только, что выучился понимать движенье губъ и бровей его. Въ его тонкихъ гримасахъ заключалась вся его философія. Хвилькинъ казался воплощенной безпечностью, но втихомолку любилъ не то грустить, не то размышлятъ о суетѣ міра сего.—«Гм! да! говорилъ онъ тогда, уставя на меня мутно - голубые глаза свои:—и я глупъ, и всѣ мы глупы. Живи, какъ живется, вотъ тебѣ и вся твоя философія!» Никто изъ насъ не могъ вообразить себѣ Хвилькина человѣкомъ разочарованнымъ, и никто не могъ себѣ вообразить его влюбленнымъ. При мнѣ одинъ господинъ спросилъ его: правда ли, говорятъ, такая-то... тебѣ очень нравится?

— Да, отвѣчалъ онъ,—она вчера мнѣ нравилась.

— Ты и третьяго дня за ней особенно ухаживалъ.

— Какъ ухаживалъ?

— Да ты смѣшилъ ее.

— Да я и самъ не знаю, чему она смѣялась?

— Она къ тебѣ неравнодушна.

— А почемъ ты знаешь?

— Я замѣтилъ.

— Ну, и поздравляю тебя съ твоимъ замѣчаніемъ.

Одного только я не понималъ въ Михаилѣ Ивановичѣ,—зачѣмъ онъ пріѣхалъ въ Грузію! Что это была за фантазія? Хвилькинъ никого не увѣрялъ, что онъ пріѣхалъ изучать нравы, видѣть край, дѣлать разныя ученыя или коммерческія соображенія; не говорилъ, что

онъ влюбленъ въ природу, не готовилъ себя ни въ живописцы, ни въ статистики. Онъ просто говорилъ: «я пріѣхалъ потому, что мнѣ такъ вздумалось», а почему ему такъ вздумалось, кто его вѣдаетъ: чужая душа потемки. Безъ всякихъ претензій глубоко понимать характеры, на этотъ разъ разскажу вамъ просто небольшую повѣсть о томъ, въ кого наконецъ влюбился Хвилькинъ, и что изъ этого вышло.

Цѣлую недѣлю я не встрѣчался съ нимъ, послѣ нечаянной встрѣчи съ его Филатомъ. Наконецъ встрѣтилъ, и то не его — а Филата же. Постой, говорю, ты теперь не уйдешь отъ меня, теперь, братъ, не такъ жарко; кажи дорогу, веди меня къ твоему барину, или я не отстану отъ тебя до самой полночи.

III.

Уже заря золотила облака и приближались сумерки; но... еще не время утомлять васъ описаніемъ прекраснаго лѣтняго вечера. Я еще не восхищался имъ, во-первыхъ, потому, что было душно; во-вторыхъ, потому, что въ тѣхъ закоулкахъ, куда я послѣдовалъ за Филатомъ, была постоянная вонь, и, наконецъ, въ третьихъ, потому, что я поднимался на гору, безпрестанно поворачивая, то направо, то налѣво, по тропинкамъ, ведущимъ съ кровли на кровлю. У Филата лицо на этотъ разъ, болѣе нежели когда-нибудь искусанное мошками, такъ лоснилось, какъ будто онъ вымазалъ его постнымъ масломъ. Филатъ, какъ кажется, страдалъ за барина, и печальнымъ голосомъ сказалъ мнѣ: «Пожалуйте!» По доскамъ, укрѣпленнымъ въ видѣ лѣстницы, между двумя грязными кирпичными стѣнами, взобрался я на плоскую квадратную земляную кровлю, которая служила тер-

расой другому домику, примкнувшему задней стѣной своей къ обрыву той самой горы, на которой возвышаются всѣмъ извѣстныя въ Тифлисѣ развалины.

На террасѣ былъ разостланъ персидскій коверъ и стояли покойныя кресла. Хвилькинъ тутъ! подумалъ я, и низенькою дверью вошелъ къ нему въ комнату.

Хвилькинъ лежалъ въ это время на диванѣ, въ красныхъ канаусовыхъ шальварахъ и въ желтой шелковой рубашкѣ. Когда я вошелъ, онъ поднялъ брови и сказалъ мнѣ: «Здравствуй! Что тебѣ надобно?»

— Что мнѣ надобно? Такъ-то ты встрѣчаешь своихъ пріятелей!

— Гм! пріятель! Ну, сдѣлай милость, не смѣши! Тебѣ, можетъ быть, трубки хочется?

— Трубки? Не хочу я трубки!

— Чего жь тебѣ хочется? А?

— Мнѣ хочется разбранить тебя хорошенько, чтобъ ты не дѣлалъ глупостей.

— Гм! разбранить! Сдѣлай милость, отложи это до другого времени.

— Гдѣ ты пропадалъ?

— Не смѣши! Скажи лучше, какъ ты нашелъ меня?

Тутъ, не отвѣчая на вопросъ, я началъ, по праву пріятельства, его допрашивать: зачѣмъ, дескать, такую прекрасную, такую удобную квартиру, въ лучшей части города, промѣнялъ онъ на какую-то лачужку, состоящую изъ одной только комнаты, низенькой, душной, темной-претемной, съ прескверными двумя окошками и, что всего хуже, вѣроятно съ скорпіонами; потомъ упрекнулъ его за то, что онъ совершенно забылъ наше общество.

— Гм! Да тебѣ-то какое дѣло? Ты-то что? отвѣ-

чалъ Хвилькинъ, глядя въ потолокъ.—Я отъ пріятелей-то и спрятался. Ну, да видно отъ нихъ на днѣ морскомъ не спрячешься, и тамъ найдутъ! Экой народъ эти пріятели! Собаки—да и только!

— Такъ ты, варваръ, стало быть, и не радъ, что я зашелъ къ тебѣ?

— Да вѣдь ты и самъ не радъ! Тебя здѣсь скорпіонъ укуситъ, ну, что изъ этого выйдетъ—самъ посуди.

Спорить съ Хвилькинымъ было напрасно, а вздорить глупо, потому что намекъ его на пріятелей былъ, дѣйствительно, справедливъ, и мнѣ вовсе не хотѣлось своей придирчивостью обнаружить въ себѣ желаніе, свойственное вообще всѣмъ пріятелямъ — желаніе замѣчать, руководить, совѣтовать, и неисполненіе такихъ совѣтовъ принимать за личное оскорбленіе.

— Хвилькинъ,—сказалъ я, совершенно измѣняя тонъ разговора:—что за великодушіе! Полно бояться за мою безопасность, по случаю скорпіоновъ. Ты не радъ моему приходу, при всемъ желаніи обнять меня; ты видишь, ты долженъ видѣть наконецъ, что, не боясь выпачкать себѣ платья, или ногу сломать, я пришелъ къ тебѣ, отыскалъ тебя, навѣстилъ тебя!

— Пришелъ, отыскалъ, навѣстилъ! хорошо сказано! пробормоталъ мой Хвилькинъ:—очень хорошо! Я тебѣ за это велю трубку набить. Филатъ! набей ему трубку.

— Вотъ добрый хозяинъ! Дай же мнѣ руку по крайней мѣрѣ.

— На—хоть обѣ, на! сказалъ онъ, вставая съ дивана и подавая руки.—На! радуйся!

— Ей-Богу, я радъ, что нашелъ тебя.

— Ну, не божись. Пойдемъ на чистый воздухъ; возьми стулъ, вынесемъ столъ и будемъ наслаждаться, курить, болтать и тому подобное... Пусти только—я одѣнусь.

— Зачѣмъ одѣваться, и такъ жарко!

— Да пусти хоть туфли-то надѣть по крайней мѣрѣ!

Тутъ я взялъ одной рукой трубку, раскуренную Филатомъ, а другою поднялъ стулъ и бокомъ вынесъ его на кровлю.

IV.

Терраса Хвилькина служила кровлей домику, еще ниже построенному, или, лучше сказать, плоская кровля нижняго домика служила террасой... Кругомъ ея не было никакой рѣшетки, и спускъ былъ единственный по доскамъ, о которыхъ выше упомянуто. Видъ съ этого мѣста былъ удивительный, и не потому только, что мнѣ пришлось его описывать, а потому что, дѣйствительно, онъ былъ удивительный. Вообразите, почти весь противоположный берегъ Куры, до самаго Навтлуга, передъ глазами. Ярко освѣщенный заходящимъ солнцемъ, весь этотъ берегъ казался мнѣ, начиная съ бѣлыхъ стѣнъ Метеха, великолѣпной рамой картины, возможной только въ Тифлисѣ и еще—не знаю, гдѣ.

Вправо отъ баннаго моста, изъ-за плоскихъ кровель и неуклюжихъ трубъ, сѣрыхъ и пестрыхъ стѣнъ, деревянныхъ, со всѣхъ сторонъ къ нимъ примыкающихъ галлерей и точеныхъ столбиковъ, свѣтилась полоса Куры и зеленѣли непроглядные виноградники. Хребетъ горы, увѣнчанный полуразрушенными башнями, со стороны ботаническаго сада, покрывалъ ихъ своею длинною, неровною тѣнью, и прозрачный паръ висѣлъ надъ ущельемъ, гдѣ по каменистому ложу скачутъ и льются горячіе источники. Неподвижно стояли въ садахъ темные, пирамидальные тополи, вытянувшись къ верху, и

какъ будто желая достать на воздухѣ все выше и выше поднимающійся блескъ вечерняго солнца.

Воздухъ былъ тихъ; городъ еще не спалъ. Надъ Авлабаромъ, какъ дымъ, поднималась пыль; группы женщинъ появлялись на кровляхъ, и со всѣхъ сторонъ раздавались звонкіе голоса, дѣтскій плачъ, веселый звукъ *дайры* *) и отдаленный топотъ пляски...

Хорошій былъ видъ! Но никакой видъ не могъ помирить меня со всѣми неудобствами новой квартиры моего пріятеля. Онъ медлилъ выходить изъ своей берлоги, и я, продолжая наблюдать ея окрестности, наконецъ пересталъ блуждать по отдаленнымъ точкамъ и навелъ свое вниманіе на предметы самые ближайшіе.

Первый предметъ, который попался мнѣ на глаза— это была женщина; она вышла на сосѣднюю кровлю; уголъ этой кровли приходился противъ того угла, на которомъ я стоялъ въ созерцательномъ положеніи.

Женщина, какъ и всѣ женщины въ этой части города, была въ національномъ костюмѣ. Легкій бѣлый тюль, какъ млечный туманъ, окружалъ ея голову, и вмѣстѣ съ длинными, черными какъ смоль косами, ниспадалъ во всю длину спины ея живописными складками. Простое синее платье, опоясанное красной лентой, обрисовывало высокій, стройный станъ ея; черты лица были необычайно нѣжны, свѣжи и правильны; каждое движеніе было просто и благородно. Я сталъ наблюдать за ней—но она не обратила на меня никакого вниманія, только искоса бросила на меня любопытный взглядъ, какъ бы желала удостовѣриться, любуюсь ли я красотой ея.

Въ моемъ умѣ зашевелилась догадка.

---

*) Бубенъ.

— Михаилъ Ивановичъ, сказалъ я,—поди сюда.

— Сейчасъ.

Хвилькинъ вышелъ въ новомъ архалукѣ—и прекрасный янтарный мундштукъ дымился въ рукѣ его.

— Поздравляю тебя съ обновой! Давно ли ты сшилъ этотъ архалукъ?

— Недавно... Филатъ, ставь самоваръ. Ну, что ты звалъ меня? а?

— Посмотри, какъ хороша эта женщина.

— Гдѣ? и онъ поднялъ лицо свое выше и сталъ глядѣть гораздо дальше, чѣмъ слѣдуетъ.

— Если ты не видишь—я буду приходить сюда любоваться.

— Пошелъ!—гдѣ тебѣ! Смѣшишь! отвѣчалъ онъ, сопровождая слова свои легкимъ, принужденнымъ смѣхомъ.

— Ну, вотъ увидишь!

— Право, смѣшишь!

— Я жь тебѣ говорю.

— Да про кого же ты говоришь? покажи! и онъ поднялъ свои маленькія брови.

Я показалъ ему.

— А! знаю, видѣлъ.

— Какова!

— Видѣлъ! Филатъ, вынеси столъ, и все приготовь, какъ слѣдуетъ—да пожалуйста, нельзя ли такъ сдѣлать, чтобы чай былъ безъ грязи. Вода отстоялась ли, а?

— Съ утра стоитъ, отвѣчалъ Филатъ и пошелъ за углями.

V.

«Знаю, знаю, видѣлъ, видѣлъ» и нѣсколько такихъ ненужныхъ повтореній, съ явнымъ намѣреніемъ замять разговоръ о сосѣдкѣ, заставили меня сильно подозрѣвать г. Хвилькина. Солнце уже сѣло; поднимался мѣсяцъ — и тихій лампадный свѣтъ его, увлаженный парами ночи, преображалъ весь городъ, засыпающій на каменныхъ холмахъ, въ какое-то прекрасное фантастическое видѣніе. Костры на окрестныхъ горахъ, огни на Авлабарѣ, шумъ Куры, напоминающій шумъ столицы, когда, бывало, ночью откроешь окно и слушаешь; бѣлые куполы горячихъ сѣрныхъ бань, темные тополи, теплый, неподвижный воздухъ, ясное ночное небо, звѣзды, мѣсяцъ,—все это вмѣстѣ было въ такомъ гармоническомъ согласіи, такъ хорошо, что остаться бы на кровлѣ у Хвилькина, да и сидѣть бы тамъ цѣлый вѣкъ, если бъ только цѣлый вѣкъ могла продолжаться такая ночь. Но что я говорю? Трудно отдать отчетъ въ своихъ желаніяхъ, когда душѣ весело и уютно въ груди человѣка; а между тѣмъ, ей хочется вырваться на волю и улетѣть, искать чего-то и молиться тамъ, а не здѣсь, но—гдѣ же тамъ? Кто ее вѣдаетъ! Я понялъ, что глубоко почувствовать красоту грузинской ночи и задремать душою,—для европейца нѣтъ возможности; имъ тотчасъ овладѣваетъ какая-то жажда, томительная, ему самому непонятная, жажда любви, возврата на родину, далекаго пути или хоть обмѣна накопившихся впечатлѣній.

Хвилькинъ, усѣвшись въ креслахъ, былъ молчаливъ и, казалось, напрасно искалъ въ головѣ своей опредѣленной мысли или опредѣленнаго чувства.

Самоваръ начиналъ запѣвать, и красное пламя, которое поднималось иногда вверхъ изъ самоварной трубы, какъ бы желая поцѣловать Филата въ губы за его усердіе, по временамъ, на нѣсколько минутъ освѣщало кровлю и некрасивое, но, по своей оригинальности, привлекательное лицо моего пріятеля. Оно на этотъ разъ, казалось, совершенно утратило свое насмѣшливо-плаксивое выраженіе, и ему, повидимому, хотѣлось сообщить мнѣ что-то очень важное, и въ то же время не хотѣлось насмѣшить меня.

На сосѣднюю кровлю вышла другая женщина, быть-можетъ дѣвушка, веселая, говорливая,—но ея разговорчивость прошла, и обѣ онѣ стали блуждать по кровлѣ, какъ будто ища удобнаго спуска, чтобы сойти съ нея. Наконецъ, первая изъ нихъ стала на уголъ и наклонила голову, какъ бы вслушиваясь въ отдаленные звуки зурны. Та же ночь одѣвала ее своимъ туманнымъ флеромъ, тотъ же самый мѣсяцъ придавалъ особенную чистоту и бѣлизну ея откинутому покрывалу.

— Ну, не рай ли здѣсь!—сказалъ Михаилъ Ивановичъ. — Брани меня, что я забрался сюда. Разсказать ли тебѣ, какъ я сюда переѣхалъ? это смѣшно; забавный случай! И онъ сталъ разсказывать—но изъ его разсказа не вышло ничего смѣшного, никакого забавнаго случая, несмотря на всю его способность смѣшить.

— Полно дурачить меня,—сказалъ я очень серьезно.— Ты просто влюбленъ здѣсь въ кого-нибудь! Иначе я не могу понять твоей фантазіи переѣхать въ эту часть города. Ночь вездѣ хороша, и здѣсь и тамъ: у московской заставы точно такъ же любуются этой ночью, какъ и мы съ тобой у банныхъ воротъ. Не надувай меня.

— Смѣшитъ! Отчего мнѣ не надувать тебя, если я часто самъ себя надуваю?

— Это какими судьбами?! По моему, ты менѣе, нежели кто-нибудь, способенъ себя обманывать.

— Ну, если точно, я, по твоему, неспособенъ себя обманывать, ты правъ, я влюбленъ.

— Ты?

Пока Хвилькинъ не говорилъ мнѣ ни слова, я былъ увѣренъ, что онъ влюбленъ; а сказалъ Хвилькинъ, и мнѣ стало не вѣриться.

— Въ кого же?

— Въ кого? Да вотъ, въ нее же, въ эту самую женщину; она стоитъ отъ насъ въ пяти саженяхъ. Чудакъ, чему же ты смѣешься? Если бъ ты всмотрѣлся въ черты лица ея, ты бы сказалъ, что нѣтъ возможности, чтобы лицо женщины было прекраснѣе.

— Послушай,—сказалъ я:—что жь изъ этого будетъ, что ты влюбленъ! Въ ней ничего и нѣтъ кромѣ наружности.

— А почему ты знаешь, молчи!—перебилъ онъ съ досадой:—и сдѣлай милость, не разсуждай. Я любуюсь ею каждый день, и не могу найти въ ней ничего такого, что бы мнѣ не нравилось, и самъ прихожу въ отчаяніе, что не могу найти въ ней ничего, кромѣ истинно прекраснаго... Или я слѣпъ, или... поживу здѣсь нѣсколько еще недѣль и посмотрю, что будетъ.

— Ты съ ней не говорилъ ни слова?

— Не смѣши, пожалуйста! Я ни слова по-грузински, она ни слова по-русски. Сдѣлай милость, поговори послѣ этого!

— Ты знаешь, какъ зовутъ ее?

— Кажется, Майя, а впрочемъ не знаю.

— Ага! ты уже и имя успѣлъ узнать!—Майя!

Увы, я, вѣрно, слишкомъ громко произнесъ это имя: сосѣдки оглянулись, и черезъ минуту на сосѣдней кровлѣ

не было уже никого, кромѣ кирпичной трубы, съ одной стороны побѣлѣвшей отъ лучей мѣсяца, съ другой стороны темной, какъ одежда схимника.

VI.

Мѣсяцъ и звѣзды свѣтили попрежнему; но потухали огни за Курой, и шумъ рѣки становился слышнѣе посреди всеобщаго безмолвія. Тепла была ночь; но уже давно простыли наши стаканы съ чаемъ; потухшій самоваръ пересталъ пищать и, покинутый Филатомъ, грустно стоялъ у двери, какъ единственный стражъ квартиры, быть можетъ, единственной по своимъ неудобствамъ. Не стану припоминать всего, что было переговорено нами въ этотъ вечеръ; Хвилькинъ говорилъ мало, былъ въ какомъ-то странномъ расположеніи духа, и ни въ чемъ почти со мной не соглашался.

Часу въ двѣнадцатомъ я простился съ нимъ, пожелавъ ему успѣха...

На прощанье Хвилькинъ далъ мнѣ совѣтъ—взять провожатымъ Филата, при чемъ было объяснено, гдѣ мнѣ искать его, и когда приду домой, велѣть получше вытереть сапоги свои.

Осторожно спустился я по доскамъ на площадку, которая служила перекресткомъ двухъ узенькихъ тропинокъ; тутъ, налѣво, увидалъ я низенькую дверь; она вела въ саклю или чуланъ съ престранными перегородками. Въ дверяхъ показался Филатъ.—Что ты дѣлаешь? спросилъ я Филата, замѣтивъ черезъ плечо его, на прилавкѣ, свѣчу, бумагу и чернильницу.

— Ничего-съ,—отвѣчалъ Филатъ.

— Отчего ты такой скучный?

— Да такъ-съ, я ничего.

— У тебя славная передняя.

— Дай Богъ всегда такую переднюю! отвѣчалъ онъ иронически.

— А можешь ты проводить меня до первой улицы? я боюсь забресть на чужой дворъ. Какъ ты думаешь?

— Можно.

— Что можно?

— Можно и на чужой дворъ забрести, и ногу переломить, все можно.

— А проводить меня?... Какъ ты думаешь...

— Можно-съ, я сейчасъ только схожу къ барину наверхъ.

Филатъ ушелъ, а я тѣмъ временемъ усѣлся въ его конурѣ... Спать мнѣ не хотѣлось, и я полюбопытствовалъ прочесть его каракули. Это было письмо; я помню его содержаніе, потому что оно меня тронуло.

Вотъ оно.

«Милостивому государю батюшкѣ (такому-то) нижайше кланяюсь, милостивой государынѣ родной матушкѣ, нижайше кланяюсь. Слава Богу, по милости Божьей вашими молитвами живъ и благополученъ, чего и вамъ желаю, и прошу вашего родительскаго благословенія, оно же вовѣки ненарушимое. Писалъ вамъ изъ города Ставрополя, отвѣта не получалъ. Плачу и молюсь денно и нощно. На чужой сторонѣ все не то что дома. Въ Тифлисѣ и лавки есть, и ширманка ходитъ, а все скучно. Живемъ мы, слава Богу, въ какой-то клѣткѣ, на горѣ, ни переулка, ни улицы, ни забора, ни кровли, ходи какъ знаешь; отъ пыли и жара мѣста нѣтъ. Воду возятъ въ кожаныхъ мѣшкахъ на лошади, по гривеннику мѣшокъ—дороже пряниковъ. Ходятъ здѣсь не по-нашему. Ржаного хлѣба ни крошки, квасу также не спрашивай. Пей вино—опьянѣешь; а не пей—

отъ жажды измучишься. Квартира у насъ, слава Богу, хорошая, баринъ нашелъ такую, что и въ Тифлисѣ другой нѣтъ,—конура собачья».

VII.

Письмо Филата, быть можетъ, давно уже летѣло на перекладныхъ въ почтовомъ чемоданѣ, и Филатъ съ тѣхъ поръ, быть можетъ, рѣшился уже утолить жажду свою дешевымъ грузинскимъ виномъ; но все это можетъ быть. Я знаю только то, и знаю несомнѣнно, что небольшой кружокъ тифлисскихъ моихъ пріятелей замѣтилъ наконецъ отсутствіе Хвилькина. Вообразили, что Миша Хвилькинъ не вынесъ лѣтнихъ жаровъ, и, какъ человѣкъ свободный, переѣхалъ куда-нибудь въ прохладныя окрестности. Я молчалъ, и моею скромностью рано или поздно думалъ пріобрѣсти его довѣренность. Трудно было понять, скрываясь въ собачьей конурѣ,—какъ выразился Филатъ,—боится ли онъ нашихъ толковъ, или просто не хочетъ, чтобъ кто-нибудь на этотъ разъ мѣшалъ ему. Чего добраго, какъ разъ явятся соперники! Странная любовь къ какой-то армянкѣ несомнѣнно должна была сдѣлать кое-какія преобразованія въ его характерѣ. Богъ съ нимъ! думалъ я, зачѣмъ намъ мѣшать ему! Наша болтовня, карты, обѣды и ужины не дадутъ ему никакихъ воспоминаній о Грузіи. Пускай влюбляется! Хоть и смѣшно, но все же лучше.

Прошло сколько-то дней; послѣ обѣда я сидѣлъ въ клубѣ и, по обыкновенію, читалъ запоздалыя газеты; человѣкъ десять еще сидѣло за столомъ; иные еще стучали ножами, другіе допивали послѣднія капли кахетинскаго вина и закуривали папиросы. Вдругъ слышу восклицанія; смѣхъ немножко искусственный, т. е., по-

просту, не совсѣмъ чистосердечный смѣхъ, и разспросы самые пріятельскіе.

— А! Хвилькинъ! гдѣ пропадалъ? откуда? верхомъ или въ коляскѣ съ Мирикризой?... Правда ли, что ты выигралъ у N.N. китайскій халатъ и четырнадцать умывальниковъ?

На всѣ эти разспросы и возгласы Хвилькинъ только поглядывалъ, да руки протягивалъ, не успѣвъ стащить перчатокъ. Поднялъ къ верху свои маленькія брови, сморщилъ лобъ и ротъ разинулъ...

— Постой!—наконецъ заговорилъ онъ, приходя въ себя:—постой, дружба послѣ, а теперь обѣдать, я какъ собака голоденъ!

— Да гдѣ ты живешь теперь? Въ Манглисѣ, или на Бѣломъ ключѣ, или...

— Не скажу, гдѣ живу! Ну... вотъ, не скажу!

— Гдѣ ты все это время обѣдалъ?—спросилъ я Хвилькина, усѣвшись около него, верхомъ на стулѣ.

— На Пескахъ, въ гостиницѣ Зальцмана.

— Неужели обѣдъ тамъ лучше?

— Нѣтъ, не лучше; да мнѣ хотѣлось тамъ обѣдать, ну, вотъ я тамъ и обѣдалъ: гдѣ мнѣ кажется лучше, тамъ и лучше... Не мѣшай мнѣ ѣсть, я хочу пить.

Всѣ захохотали, и компанія оживилась. Одному изъ насъ, извѣстному подъ именемъ Донъ-Педро, пришла въ голову мысль придраться къ какому-нибудь случаю, чтобъ поставить бутылку шампанскаго.

Хвилькинъ понялъ его, и сказалъ, что онъ на новой квартирѣ и что не худо бы выпить; вслѣдствіе чего потребовалъ себѣ еще порцію говядины.

— Съ новосельемъ!—закричалъ Донъ-Педро, и велѣлъ поставить въ ледъ бутылку шампанскаго, при

чемъ одинъ толстенькій румяный человѣкъ, въ золотыхъ очкахъ, залился звонкимъ, насмѣшливымъ хохотомъ.

Обѣдъ приходилъ къ концу; лакеи раскрывали ломберные столы; изъ бильярдной комнаты раздалось первое столкновеніе костяныхъ шаровъ; «три и ничего!» прокричалъ маркеръ; на улицѣ шарманка заиграла какой-то вальсъ. Хвилькинъ велѣлъ подать другую бутылку шампанскаго.

Вечеромъ того же дня, всѣ мы собирались ѣхать пить чай за городъ, въ виноградный садъ къ купцу Бакаурову,—и стали просить Хвилькина не отставать отъ насъ.

Хвилькинъ сказалъ намъ, что такъ и быть, онъ потѣшитъ насъ, что чего другого мы отъ него не дождемся, а поѣхать, пожалуй, онъ поѣдетъ!

Мы отправились всѣ вмѣстѣ, гурьбой; Хвилькина я посадилъ къ себѣ на дрожки. По дорогѣ подрядилъ онъ себѣ другого извозчика и велѣлъ ему за нами же слѣдовать.

— Вѣдь я везу тебя! на что же тебѣ другой извозчикъ?—сказалъ я ему.

— А пусть ѣдетъ! ему дѣлать нечего, такъ пусть прогуляется,—отвѣчалъ Хвилькинъ.

VIII.

Такъ какъ я пишу не повѣсть, а разсказъ, то надѣюсь, читатели мои не будутъ слишкомъ взыскательны и не упрекнутъ меня за ненужныя отступленія. Мнѣ диктуетъ память, и я пишу какъ пишется, не вдаваясь ни въ какія художественныя соображенія.

— *Милостэ просемъ!* сказалъ намъ хозяинъ сада, снялъ грузинскую шапку и въ знакъ почтенія отнесъ ее не-

много въ сторону. Хозяинъ былъ человѣкъ бывалый, помнилъ старое время и любилъ насъ. Самъ соблюдалъ всѣ грузинскіе обычаи, а дѣтей учиться отдалъ въ гимназію. Судя по чертамъ лица его, нельзя было сомнѣваться въ его смышлености. Улыбнувшись необычайно сладкою улыбкою, онъ замахалъ своими откидными рукавами, зашелестилъ своими шараварами—и съ видомъ заботливости, съ явнымъ желаніемъ распорядиться, на цѣлые полчаса ушелъ отъ насъ.

Мы остались полными хозяевами вертограда и разбрелись въ тѣни виноградныхъ куртинъ отыскивать зрѣлыя ягоды, среди еще не зрѣлыхъ, зеленоватыхъ гроздій.

Теплый вѣтеръ шелестилъ разогрѣтыми на солнцѣ виноградными листьями, и мы дышали запахомъ уже опадающихъ махровыхъ розъ.

Я зналъ, что недаромъ отъ насъ ушелъ хозяинъ. Принесли большой коверъ и разостлали его въ тѣни двухъ огромныхъ грецкихъ орѣшниковъ. Положили намъ *мутаки*, то-есть подушки, въ видѣ мягкихъ вальковъ, и мы, изъ приличія, снявши галстуки, разлеглись, какъ султаны.

Черезъ полчаса мы опять услыхали тотъ же голосъ: *милостэ просемъ!* и хозяинъ явился въ сопровожденіи огромнаго подноса со стаканами разлитого чаю. Каждому изъ насъ дали по чубуку въ руки, и мы были счастливы.

Общая болтовня не мѣшала мнѣ любоваться пурпуромъ и торжественностью заходящаго солнца; уже края его касались вершины горъ, но до береговъ Куры еще не достигла широко подвигающаяся, лиловая тѣнь вечера. По лиственнымъ верхушкамъ сада еще бѣгали золотыя искорки; бѣлая гладкая стѣна небольшой заго-

родной старинной церкви сіяла тонко-розовымъ, нѣжнымъ, неуловимо-нѣжнымъ блескомъ. Прилегая головой къ ковру, я видѣлъ, какъ мелькала эта стѣна за низенькой оградой, и какъ промежъ узловатыхъ виноградныхъ лозъ ясно вырѣзывались на ней фигуры нашихъ извозчиковъ, стоявшихъ въ совершенной тѣни, на луговинкѣ, за калиткой сада. Хвилькинъ посматривалъ на часы, да разсказывалъ разные анекдоты. Всѣ смѣялись. Я думалъ.

Этотъ нелѣпый человѣкъ въ нашей компаніи совсѣмъ другой, совсѣмъ не тотъ, какимъ, напримѣръ, я видѣлъ его у себя дома, въ архалукѣ, на земляной террасѣ. Кто, глядя на него, подумаетъ, что онъ способенъ влюбляться? А вѣдь, кажется,—весь нараспашку! Или, влюбившись, онъ первый понялъ, что это какъ-то совсѣмъ нейдетъ къ его комическому лицу; и кто знаетъ, быть можетъ, онъ за тѣмъ и прилетѣлъ сюда, чтобъ подъ новымъ яснымъ небомъ, подъ другимъ жаркимъ солнцемъ искать того, чего не нашелъ на сѣверѣ...

Часу въ девятомъ вечера хозяинъ сада повелъ насъ въ *маранъ* (зданіе, гдѣ дѣлаютъ и хранятъ вино); тамъ приказалъ онъ садовникамъ вскрыть еще засыпанный землею, еще дѣвственный кувшинъ никѣмъ еще не возмущеннаго вина, и по снятіи деревяннымъ ковшомъ пѣны и заплѣсневѣлой накипи, первый погрузилъ и за наше здоровье духомъ выпилъ полную серебряную *азарпешу* *). Когда мы всѣ поочередно стали подносить къ губамъ эту круговую грузинскую чашу, оказалось, что Хвилькинъ исчезъ изъ сада. Понялъ я, для чего онъ нанялъ лишняго извозчика, и, не отставая отъ прочихъ, порядочно побранилъ его.

---

*) Азарпеша—плоскодонная чашка съ длинной рукояткой.

IX.

Часовъ до одиннадцати ночи пировалъ я въ саду у гостепріимнаго Бакаурова; въ головѣ моей слегка шумѣло, когда я возвращался домой; руки мои лѣниво слушались, когда я повязывалъ галстукъ; жаркія мечты, странныя предположенія далеко отогнали отъ меня и сонъ, и даже желаніе поскорѣй вернуться домой и отдохнуть въ постели. Съ полдороги я отпустилъ извозчика и, разстегнувши жилетъ, пошелъ себѣ безъ опредѣленной цѣли, съ горы на гору, по закоулкамъ стараго Тифлиса. Луна закатилась, ночь была темна, ворота, ставни и двери были заперты, небо, мутно-темное, было усыпано звѣздами; но на югѣ, въ жаркія, душныя ночи, звѣзды какъ будто уходятъ выше, подальше отъ земли и едва мелькаютъ. Наши сѣверныя звѣзды гораздо ярче, но зато нашъ гиперборейскій мѣсяцъ — далеко не южный. Я въ эту ночь нѣсколько разъ принимался его отыскивать. Передо мной съ одной стороны поднимались какъ уголь черныя массы стѣнъ; съ другой открывалось синее воздушное пространство, на которомъ рисовались очерки трубъ, кирпичныхъ квадратовъ и усѣченныхъ треугольниковъ. Темная теплая ночь къ полуночи стала до того тиха, что я слышалъ шорохъ — но что это было такое? Ящерицы ли пугливо бѣгали по трещинамъ неровныхъ, стародавнихъ стѣнъ, или женщина тихонько раздѣвалась и, снимая шелковое платье, сбиралась у родной трубы, на плоской кровлѣ, лечь на пыльный матрацъ и заснуть подъ открытымъ небомъ. Нервы мои тихо вздрагивали: мнѣ чудилось, кто-то стоналъ и жарко бредилъ посреди всеобщаго молчанія; помню, шагахъ въ десяти отъ меня, окруженное мракомъ и таинственностью, свѣтилось какое-то окошечко;

помню, розовая занавѣска долго дразнила и бѣсила меня— но почему и отчего? не помню.

Вдругъ пришла мнѣ въ голову мысль... показалось мнѣ, что не далеко до обиталища моего друга— Хвилькина; смѣло рѣшился я одолѣть всѣ препятствія и удостовѣриться: спитъ ли онъ. Вспомнилъ я, что онъ такъ измѣннически покинулъ насъ въ саду Бакаурова, и не то разсердился я, не то захотѣлось мнѣ въ эту ночь обнять его и до утра съ нимъ пробесѣдовать. Пускай спитъ — не бѣда, если я разбужу его. Съ этой мыслію, я до тѣхъ поръ блуждалъ, лазилъ, спотыкался, пугалъ собакъ и щупалъ ногами землю, чтобъ не провалиться въ трубу или не очутиться на чужомъ дворѣ, пока дѣйствительно не отыскалъ досокъ между двухъ стѣнъ, по которымъ я и взобрался на террасу. Признаюсь, я все еще сомнѣвался, туда ли я лѣзу, и не безъ нѣкотораго волненія остановился передъ маленькой дверью знакомой комнатки.

— Хвилькинъ, дома ли ты? Можно ли мнѣ войти къ тебѣ?—проговорилъ я съ досадой на самого себя.

Дверь была настежь отворена; передо мной въ неясномъ, красноватомъ сумракѣ, неподвижно сіяло голубоватое пламя свѣчки.

Никто изнутри не отозвался мнѣ. Вѣрно, спитъ... подумалъ я. Войду; если бъ нельзя было войти, ужь конечно, дверь не была бы настежь. Я вошелъ.

Хвилькинъ, заложа руки за голову, вытянувшись, лежалъ на спинѣ, какъ мертвый, и смотрѣлъ въ потолокъ; онъ былъ блѣденъ; тѣнь отъ носа его лежала на лбу въ видѣ треугольника, губы его были плотно сжаты, волосы, въ безпорядкѣ поднимаясь къ верху, совершенно обнажали широкіе, неровные виски его. Я испугался; но, увидавши меня, онъ сдѣлалъ гримасу

и посмотрѣлъ на меня вопросительно. Тутъ я убѣдился, что Хвилькинъ живъ, взялъ его за руку и спросилъ: здоровъ ли онъ.

— Здоровъ. А что?

— Ну, такъ пьянъ.

— Можетъ быть.

— Отчего же ты не спишь?

— Отчего же, братецъ, ты не спишь?

— Мнѣ хотѣлось навѣстить тебя.

— Удивительно! Не смѣши, пожалуйста.

— Я сейчасъ только изъ сада Бакауровыхъ.

— Ну, такъ что жь, что ты изъ сада Бакауровыхъ!

И онъ опять посмотрѣлъ на меня вопросительно, даже немного ротъ разинулъ.

— Куда ты пропалъ отъ насъ? Мы тебя вездѣ искали. Вѣрно, спѣшилъ на свиданье? Вотъ, и платокъ женскій. Ахъ, ты! сказалъ я, поднимая съ глинянаго полу какой-то шелковый желтенькій платочекъ.

— Гдѣ платокъ? спросилъ Хвилькинъ, повернувши голову.

— А вотъ, смотри.

— Покажи.

И онъ, молча, мутными глазами сталъ его разсматривать, потомъ тихонько положилъ его на столъ и задумался.

— Да что съ тобой?

— Да ничего, братецъ; спать пора, вотъ что.

Признаюсь, какъ ни туманна въ эту ночь была горячая голова моя, понятны стали мнѣ и несвоевременность моего посѣщенія, и неумѣстность любопытства. Я далъ себѣ слово ни о чемъ его не разспрашивать, и на прощанье попросилъ извиненія, что такъ некстати пришелъ мѣшать ему.

— Мѣшать! — перебилъ онъ насмѣшливымъ и въ то же время соннымъ голосомъ. — Какъ будто я не могу при тебѣ заснуть и спать, сколько моей душѣ угодно. Эхъ ты, чудакъ-чудакъ! Вотъ, если бъ ты пришелъ тому назадъ два часа, ты бы, можетъ быть, помѣшалъ мнѣ сдѣлать глупость, но объ этомъ послѣ. Ужь если ты такой любопытный, что мнѣ съ тобой дѣлать, когда-нибудь разскажу, посмѣшу тебя, пожалуй! Прощай!

Мы пожали другъ другу руку, и я побрелъ домой.

На обратномъ пути темная ночь не имѣла уже для меня ни малѣйшей прелести, я только и думалъ о томъ, чтобъ не сломать себѣ ноги, и, слава Богу, цѣлый пришелъ домой, бросился въ постель и заснулъ мертвымъ сномъ.

X.

Послѣ этого, дней пять или шесть некогда мнѣ было посѣтить добрѣйшаго Михаила Ивановича; да признаться, мнѣ казалось совѣстно идти къ нему. Что за непростительное любопытство! Если бъ онъ желалъ меня видѣть, онъ бы и самъ наконецъ могъ прійти ко мнѣ. Дружба дружбой, а все же не мѣшаетъ и поцеремониться. Да и какой я другъ ему, просто такой же пріятель отъ нечего дѣлать, какъ и другіе.

Сижу я дома, вдругъ говорятъ мнѣ: Али-Аскаръ пришелъ. — Ну, зови его.

Али-Аскаръ, татаринъ, малый лѣтъ двадцати восьми, ходитъ въ татарскомъ архалукѣ и въ грузинской шапкѣ, ходитъ, едва-едва переваливаясь съ ноги на ногу, плохо говоритъ по-русски, въ носъ, и такимъ медленно-лѣнивымъ голосомъ, какъ будто слово его стоитъ червонецъ и ему жаль его. Али-Аскаръ хорошъ собой, не глупъ,

но тупъ до невѣроятности. Ни читать, ни писать не выучился, какъ я ни бился. У него была на базарѣ маленькая лавочка, гдѣ можно было купить рахат-лукумъ или банку инбирнаго варенья, но Али-Аскаръ пренебрегалъ торговлей; ему все хотѣлось попасть на службу.

Сколько разъ приходилъ онъ ко мнѣ освѣдомляться, нѣтъ ли мѣста гдѣ-нибудь въ карантинной стражѣ, или нельзя ли ему куда-нибудь попасть въ словесные переводчики; уходилъ же онъ отъ меня съ заказомъ или достать мнѣ хорошій черешневый чубукъ безъ сучковъ и безъ заплатъ, или попросить мать свою, татарку, сварить мнѣ пловъ. Пловъ, изготовленный руками его матери, былъ просто объяденье.

Дѣлать мнѣ было нечего, я велѣлъ Али-Аскару садиться на стулъ и заставилъ его разсказывать объ эриванскомъ землетрясеніи.

— По какому же ты случаю былъ тогда въ Эривани?

— Да-асъ, по тому случаю, отвѣчалъ онъ мнѣ въ носъ: что я тогда служилъ вмѣстѣ съ совѣтникомъ.

То-есть, подумалъ я, ты ему трубки чистилъ.

— Да-асъ, такое было тогда трясенье... Такъ и начало землю качать; одна стѣна было у насъ — чуть не упала, тогда я ужь успѣлъ выбѣжать, да-асъ! Очень тогда было страшно.

— Ты испугался?

— Да-асъ, я очень тогда испугался. Я и теперь всю ночь не спалъ,—проговорилъ онъ, послѣ нѣкотораго молчанія.

— Когда теперь?

— Вотъ эту ночь, я совсѣмъ не спалъ.

— Отчего же?

— Какъ ночь, такъ у насъ и начинаютъ этакіе, очень большіе кирпичи летать; даже никто и на кро-

вляхъ не спитъ. Нельзя-съ, какъ разъ до смерти ушибетъ. Такъ окошко и вылетитъ, а то и объ дверь ударится.

— Кто же это бросаетъ камни-то, я не пойму тебя.

— Неизвѣстно-съ,—отвѣчалъ онъ, равнодушно оглядывая стѣны.

— Кто-нибудь шалитъ, или ты врешь?

— Нѣ-ѣтъ-съ, зачѣмъ врать! Сколько ужь ни смотрѣли, откуда камни летятъ, никого не видно. Какъ увидать? Квартальный даже три ночи не спалъ—камни все летятъ туды-сюды... а бросаетъ Богъ знаетъ кто, ничего нельзя увидать, такой страхъ! Я ужь самъ даже не спалъ-съ.

— А ты гдѣ живешь?

— Все тамъ живу, гдѣ жилъ, недалеко отъ баннаго мосту, направо.

Я вспомнилъ, что и Хвилькинъ тамъ живетъ, и положилъ въ тотъ же день пойти къ нему и разспросить его, что за камни летаютъ по татарскому кварталу, и наконецъ, цѣлъ ли онъ и цѣлы ли у него окошки.

Послѣ обѣда небольшой дождикъ прибилъ городскую пыль, и я отправился.

XI.

Хвилькина я не засталъ дома, но какъ нельзя лучше видѣлъ его сосѣдку. Не только плоская кровля, но и часть глубокаго двора съ калиткой на другую, неизвѣстную мнѣ кровлю, съ двумя проложенными по ней тропинками, была видна съ того мѣста, на которомъ остановился я полюбоваться видами.

Майя стояла отъ меня въ шести шагахъ, и все остальное исчезло изъ глазъ моихъ. Признаюсь, Хвиль-

кинъ безъ зазрѣнія совѣсти могъ влюбиться въ такую женщину. Повидимому, ей было около двадцати лѣтъ. Ея лицо не было типическимъ, я не узналъ бы въ ней армянку,—не принялъ бы ее за грузинку, но понялъ бы, однако, что она не русская. Черные глаза ея свѣтились какимъ-то кроткимъ, задумчивымъ блескомъ. Но когда она обернулась и посмотрѣла вкось, мнѣ показалось — въ ту сторону, куда она бросила взглядъ свой, промелькнула неуловимая молнія. Вообще, какая-то нѣга, что-то свѣтлое было разлито по всему существу ея. На рукахъ ея былъ ребенокъ; она стояла въ двухъ шагахъ отъ своего домика, на чужой кровлѣ, и у какого-то прохожаго инвалида торговала дѣтскіе башмаки. Вѣроятно, башмаки показались ей слишкомъ дороги, и она отдала ихъ назадъ. Ребенокъ кудрявой головкой пугливо припалъ къ плечу ея. Я слѣдилъ за каждымъ малѣйшимъ ея движеніемъ и готовъ теперь увѣрять, что ея голосъ такъ же нѣженъ, такъ же музыкаленъ, какъ и вся она.

Я вспомнилъ желтый шелковый платочекъ, и Хвилькинъ показался мнѣ счастливѣйшимъ изъ смертныхъ.

Я думалъ: вы, г. Хвилькинъ, просто неблагодарный смертный!

На кровлю Майи вышла еще какая-то дѣвушка съ деревяннымъ лоткомъ на плечѣ. Она вдругъ остановилась, пристально посмотрѣла мнѣ въ лицо, и, вѣроятно, довольная тѣмъ, что я не обращаю на нее большого вниманія, поставила на солнце лотокъ, залитый тонкимъ слоемъ красной пастилы, и на нитку, проведенную отъ одной палочки до другой, воткнутой между кирпичами, стала развѣшивать небольшіе пучки какой-то зелени. Въ этой дѣвушкѣ я сейчасъ узналъ армянскій типъ: низенькій лобъ, тонкій носъ и полныя, блѣдныя щеки.

Я видѣлъ ее мелькомъ, совершенно озадаченный красотой Майи.

Вдругъ, слышу, кто-то поетъ:

Лежала Венера!
Съ ней сынъ ея игралъ.

Наконецъ, кто-то внизу хлопнулъ дверью и побѣжалъ—голова Филата выскочила на поверхность кровли и наконецъ весь онъ появился—весь какъ есть—въ какой-то сѣрой курткѣ и простоволосый.

Онъ никакъ не ожидалъ найти меня и сталъ, какъ вкопаный.

— Гдѣ твой баринъ?

— Барина дома нѣтъ,—отвѣчалъ онъ, опустя глаза.

— Отчего ты нынче веселъ?

— Ничего-съ. И Филатъ покраснѣлъ.

— Куда же пропалъ твой баринъ?

— Должно быть, пошли-съ искать квартиру.

— Какъ?

— Да, они изволили мнѣ говорить, что переѣзжать хотятъ.

— Куда?

— Не знаю-съ...

— Ты радъ?

Филатъ на это не сказалъ ни слова, только посмотрѣлъ на меня исподлобья своими маленькими карими глазками, и тихонько кашлянулъ.

— Кланяйся твоему барину, скажи ему, что я былъ.

— Только вы одни здѣсь и бываете,—бойко заговорилъ Филатъ:—ни одинъ порядочный человѣкъ сюда и не заглядывалъ. Какой прахъ понесетъ сюда порядочнаго человѣка!

— Ахъ, Филатъ, развѣ я не порядочный человѣкъ, по твоему?

Филатъ сконфузился.

— Прощай, помни только, что въ Грузіи легко можно сдѣлаться пьяницей; береги самъ себя, если только твой добрый баринъ не убережетъ тебя.

Я ушелъ; Филатъ остался на кровлѣ.

XII.

Хорошо не помню, куда именно въ этотъ разъ я отправился, не заставши Хвилькина; не помню даже, въ тотъ ли день или на другой день вечеромъ, я встрѣтилъ его у Московской заставы. Хвилькинъ былъ верхомъ. Никогда еще не видалъ я его верхомъ на лошади. Даже думаю, не въ первый ли разъ отъ роду онъ сѣлъ въ сѣдло—до такой степени онъ плохо ѣздилъ. По всему Головинскому проспекту, до самой рѣки Вэры, была бездна гуляющихъ; дамы катались въ небольшихъ колясскахъ, и я видѣлъ, какъ онѣ улыбались во весь ротъ, улыбались вплоть до самыхъ ушей, всякій разъ, когда встрѣчались съ Хвилкинымъ.

— Хвилькинъ, кликнулъ я, потому что онъ не замѣчалъ никого и многимъ не кланялся.

Онъ подскакалъ ко мнѣ крупной рысью, при чемъ ноги его потеряли стремена, что, однакоже, его нисколько не сконфузило. Правда, онъ былъ блѣденъ, и когда остановилъ свою лошадь, правой рукой вцѣпился въ гриву, а лѣвую протянулъ ко мнѣ, съ своей обычной равнодушной миной.

— Ну что, здоровъ ли? спросилъ онъ.

— А ты?

— Я ничего... здоровъ.

— Ну, и я здоровъ. Ты, однако, не совсѣмъ хорошо ѣздишь верхомъ.

— Я и самъ это знаю. А что?

— Да такъ.

— Я теперь каждый день буду ѣздить, народъ смѣшить, авось, когда-нибудь выучусь.

— Нынче я видѣлъ твою Майю.

— Ну, не смѣши, сдѣлай милость; гдѣ ты ее нынче видѣлъ?

— Заѣзжай ко мнѣ чай пить, я сейчасъ домой пойду.

— Да нѣтъ, ты скажи мнѣ, гдѣ ты ее видѣлъ...

— А вотъ заѣзжай ко мнѣ, я разскажу тебѣ.

— Такъ не заѣду же, ну... ну... вотъ не заѣду... Прощай!—сказалъ онъ, и, вдѣвая ноги въ стремена, еще раза два пробормоталъ мнѣ: прощай! Потомъ, подобравши повода, поскакалъ въ галопъ, по направленію къ Эриванской площади. Долго смотрѣлъ я, какъ, подпрыгивая на сѣдлѣ, покачивался онъ, махалъ локтями и головой потряхивалъ.

Воротившись домой позднѣе 10 часовъ, я узналъ, къ величайшей моей досадѣ, что Хвилькинъ заходилъ ко мнѣ. У меня всегда была особенная страсть къ оригиналамъ; я какъ-то скорѣй привязываюсь и даже какъ-то легче привыкаю къ нимъ. Никогда смѣшное въ человѣкѣ меня не отталкиваетъ. Напротивъ, безъ оригиналовъ было бы такъ же скучно въ обществѣ, какъ въ саду, гдѣ нѣтъ ни одного кривого, на свободѣ растущаго дерева, и гдѣ каждая вѣтвь подстрижена садовникомъ. Дружба, также какъ и любовь, нерѣдко начинается съ простого любопытства; Хвилькинъ подстрекнулъ его, и я готовъ былъ не шутя подружиться съ нимъ.

XIII.

Филатъ сказалъ правду. Хвилькинъ, недѣлю спустя, опять перебрался въ европейскую часть города. Мы, попрежнему, каждый день стали встрѣчать его въ нашемъ небольшомъ, нецеремонномъ обществѣ. Все, рѣшительно все шло по старому: тотъ же зной, тѣ же прогулки за городъ, тѣ же зеленые столы, тѣ же остроты и анекдоты, которые, сказать по правдѣ, порядочно надоѣли намъ; но дѣлать было нечего! Хвилькинъ, къ досадѣ его пріятелей, сталъ гораздо рѣже смѣшить компанію. Выиграть у него тридцать или сорокъ рублей, съ прикупкой или безъ прикупки, было гораздо легче, чѣмъ, напримѣръ, допытаться у него, куда и зачѣмъ пропадалъ онъ въ іюлѣ мѣсяцѣ. Никто, признаться, и не допытывался. Въ этомъ отношеніи Тифлисъ безконечно лучше и сноснѣе тѣхъ пріятныхъ городовъ, гдѣ нельзя чихнуть безъ того, чтобъ объ этомъ не узналъ весь городъ. Равнодушіе къ чужимъ поступкамъ имѣетъ свою хорошую сторону; оно мѣшаетъ развиваться сплетнямъ. Хвилькинъ былъ правъ, когда на вопросъ мой: зачѣмъ онъ нанялъ такую квартиру, отвѣчалъ мнѣ: о! пріятель! да тебѣ-то какое дѣло, ты-то что?

Время шло. Хвилькинъ похудѣлъ; въ немъ происходило что-то недоброе; цѣлыя ночи сталъ проводить онъ за картами—и проигрывалъ. Проигрышъ нисколько не сердилъ его; почтенные любители преферанса не иначе какъ съ уваженіемъ стали произносить имя Хвилькина. Ко мнѣ заходилъ онъ скучный и усталый. Однажды утромъ, мы сошлись съ нимъ въ корпусномъ саду, и усѣлись на лавочкѣ, около бассейна, въ которомъ лебеди плаваютъ. Передъ нами плакучая ива опускала къ водѣ свои длинныя бѣлесоватыя вѣтви; за нами тя-

нулась густая куртина, увѣшанная лиловыми кистями винограда. Я мялъ въ рукахъ пахучіе листы грецкаго орѣха.

— Ну, что твоя Майя? спросилъ я Хвилькина.— Ты признался мнѣ, что влюбленъ въ нее.

Хвилькинъ посмотрѣлъ на меня, какъ человѣкъ озадаченный, сморщилъ лобъ и задумался.

— Ну, вонъ, есть о чемъ думать! сказалъ я, не зная, что сказать.

— А почему ты знаешь, о чемъ я думаю?

— Тебя что-то мучитъ, я это вижу,—а что такое, Господь тебя вѣдаетъ.

— У меня, братецъ ты мой,—сказалъ онъ, снявши шляпу и тоскливо посматривая куда-то въ сторону,—у меня такъ ужь, видно, на роду написано; изъ всего у меня выходитъ вздоръ: изъ дружбы вздоръ, изъ любви вздоръ, изъ денегъ вздоръ. Я самъ начинаю смотрѣть на себя, какъ на вздоръ. Не думай, пожалуйста, что я влюбился и до сихъ поръ влюбленъ такъ себѣ... для препровожденія времени; я готовъ былъ на все—отдать ей все, увезти её—даже жениться, хотя бы вы всѣ, сколько васъ тутъ ни есть, стали бы смѣяться надъ моимъ выборомъ.

Я, въ свою очередь, посмотрѣлъ на Хвилькина, какъ человѣкъ озадаченный.

— Ну, что ты на меня такъ глядишь! эхъ, ты! сказалъ онъ мнѣ, тряхнулъ головой и насмѣшливо улыбнулся.

Минутъ пять прошло въ обоюдномъ молчаніи; потомъ, мало-по-малу, Хвилькинъ разсказалъ мнѣ исторію любви своей, съ явнымъ желаніемъ выставить ее съ забавной стороны, несмотря на то, что положеніе его было далеко не такъ забавно. Слово въ слово я не берусь вамъ передать разсказъ его. Но во всякомъ слу-

чаѣ, взявшись за перо, я долженъ вамъ какъ-нибудь передать его.

— Ты, быть можетъ, думаешь, что ее зовутъ *Майя?*—да, началъ Хвилькинъ,—какъ не такъ! Я самъ думалъ, что Майя, а вышло просто Елена. Да это бы еще ничего, пускай бы себѣ она была Елена, а то скверно, что у ней живетъ ея племянница, лѣтъ шестнадцати, такая пухлая на лицо, ты ее видѣлъ, ну, вотъ, ее-то, братецъ ты мой, и зовутъ Майя. Знай я грузинскій языкъ—все бы это было ни почемъ, ну, смѣшалъ имена, не бѣда,—а тутъ, ты самъ посуди, могъ ли я лично вести переговоры, нужны были посредники... понимаешь. Думалъ выѣхать на посредникахъ!... ну, вотъ, я и завелъ переговоры, ну и вышелъ вздоръ. Влюбленъ-то я былъ въ Елену, а въ любви-то увѣрялъ Майю. Что жь ты не смѣешься?

— Погожу, что будетъ.

— Ну, хорошо, можешь и погодить, если хочешь: мнѣ самому было не до смѣху, тяжело было, да дѣлать нечего! Мои увѣренья, мои подарки, все это тайкомъ передавалось неопытной, глупенькой дѣвочкѣ, о которой я и не думалъ. Чѣмъ больше она вѣрила въ любовь мою, тѣмъ рѣже появлялась на кровлѣ, и, стало-быть, я ничего не могъ замѣтить прежде времени. Мнѣ дали знать, что я любимъ и чтобъ былъ какъ можно осторожнѣе... Предоставляю тебѣ самому разсуждать, какое впечатлѣніе произвело на меня это слово: любимъ, быть можетъ, въ первый разъ отъ роду, любимъ такой красавицей, какой не случалось мнѣ видѣть ни на одной картинѣ въ академіяхъ. Я сталъ отъ радости щедрѣе турецкаго султана, въ какія-нибудь двѣ недѣли я истратилъ около 400 рублей и... добился наконецъ свиданья.

Такъ и порывался я уѣхать отъ васъ изъ сада

Бакауровыхъ, въ тотъ вечеръ я думалъ быть счастливѣйшимъ изъ смертныхъ. Не шутя, я долженъ сказать тебѣ, что моя любовь возвышалась до какого-то изступленнаго благоговѣнія.

И на щекахъ Хвилькина показался румянецъ, онъ закусилъ верхнюю губу, и только черезъ минуту способенъ былъ продолжать разсказъ свой въ прежнемъ тонѣ.

— Часу въ десятомъ, помнишь, какъ нарочно, ночь такая темная; одна только тишина ея меня бѣсила. Я ждалъ,—не вѣрилось... я разбилъ двѣ трубки отъ нетерпѣнія,—вздумалъ, расхаживая, чубукомъ махать. Часу въ десятомъ, не то въ одиннадцатомъ я отворилъ дверь и присѣлъ на порогѣ, меня бросало то въ жаръ, то въ холодъ. Наконецъ мнѣ послышался шорохъ женскаго платья. Мнѣ дали знать: пришла! Съ четверть часа послѣ этого я ждалъ ее. Майя была на лѣстницѣ и не рѣшалась войти... Эти четверть часа показались мнѣ вѣчностью.

— Ну, и что жь наконецъ? сказалъ я Хвилькину.

— Ну, и не та, братецъ, совсѣмъ другая! Чему же ты смѣешься?... Вѣдь я, повѣришь ли ты, я чуть съ ума не спятилъ... Вообрази себѣ, ну, ты вообрази .. что, бишь, такое я началъ тебѣ разсказывать... ахъ, да, я не зналъ, что мнѣ и дѣлать... право!

И Хвилькинъ разставилъ руки, какъ бы еще соображая, что ему было дѣлать въ этомъ случаѣ.

— Какъ нарочно, въ эту ночь ты, нелѣпый человѣкъ, вздумалъ насмѣшить меня, пришелъ, и зачѣмъ пришелъ, шутъ тебя знаетъ!... Какъ нарочно еще догадало тебя найти у меня этотъ желтенькій платочекъ; этотъ желтенькій платочекъ былъ для меня хуже всякаго скорпіона. На всѣ брошенныя мною деньги, я

купилъ какой-то платочекъ съ головы какой-то глупенькой дѣвочки!...

На другой день рано, часу въ пятомъ утра, блѣдный отъ досады и мучительной безсонницы, вышелъ я на кровлю дохнуть свѣжимъ воздухомъ, и какъ нарочно вижу, стоитъ Елена (я ужь послѣ узналъ, какъ зовутъ ее). Отъ роду я не видалъ такой красавицы! На ней была катиба, черныя косы, полузаплетенныя, полуразвитыя, длинными космами лежали по плечамъ, жаркая заря освѣщала ея лицо и кисти рукъ, сложенныхъ на груди. Замѣтилъ ли ты, какія у ней прекрасныя руки!...

— Нѣтъ, не замѣтилъ...

— Ну, такъ я тебѣ не стану ее описывать. Елена вышла на кровлю, для того, чтобъ позвать водовоза, который по сосѣдству опоражнивалъ кожаные мѣшки свои. Я — ну, что мнѣ сказать тебѣ?—я обомлѣлъ, сердца въ себѣ я не чувствовалъ, даже не знаю, билось ли оно въ эту минуту, я стоялъ, какъ преступникъ, уличенный въ преступленіи. Она обернулась и стала пристально и строго смотрѣть мнѣ въ глаза. Наконецъ, она многозначительно и насмѣшливо улыбнулась, махнула рукой водовозу, и сошла внизъ. Это была нѣмая сцена. Если бы ты смотрѣлъ на насъ со стороны, ты бы увидалъ двѣ кровли, изъ которыхъ на одной стоитъ Хвилькинъ, а на другой какая-то женщина, и ничего бы не понялъ. Изъ ея улыбки я понялъ только одно, что... для меня все кончено, что ей извѣстно болѣе, быть можетъ, чѣмъ я самъ знаю изъ всей этой проклятой исторіи. Все это утро, я какъ сумасшедшій обдумывалъ планъ, войти къ ней въ саклю и броситься къ ногамъ ея,—то-то бы насмѣшилъ! Ну, вотъ, я тебѣ все сказалъ! Ты видишь самъ, что для тебя тутъ ничего нѣтъ интереснаго.

Я сталъ думать о томъ, какъ бы мнѣ помочь въ этомъ дѣлѣ Хвилькину, и не зналъ, чѣмъ помочь.

— Видишь ли ты ее теперь хоть изрѣдка?

— Полно смѣшить! Зачѣмъ? Вѣдь она знаетъ, что я видѣлся съ ея племянницей.

— Пойдемъ нынче вечеромъ.

— Куда?

— Туда на кровлю.

— Зачѣмъ? чтобъ опять надѣлать глупостей? Пойдемъ лучше въ клубъ. Я хочу завтракать.

Мы встали и пошли.

— Вообрази,—заговорилъ онъ дорогой:—какой это негостепріимный кварталъ; я не совѣтую тебѣ слишкомъ часто ходить туда, особливо ночью; тамъ никто еще изъ русскихъ не нанималъ квартиръ, я первый нанялъ, и нанялъ за большія деньги. Старый хозяинъ, изъ татаръ, ни за что не хотѣлъ разстаться съ своимъ обиталищемъ... Мое появленіе въ тѣхъ мѣстахъ возбуждало не то ревность, не то подозрѣніе. Часто эти краснобородыя лица, съ красными, нависшими бровями, осматривали меня съ головы до ногъ, какъ бы спрашивая: кто тебя звалъ сюда? ты зачѣмъ здѣсь поселился? Дня за три до моего оттуда выѣзда, вечеромъ, кто-то швырнулъ ко мнѣ на террасу препорядочный кусокъ извести, и ранилъ моего Филата въ ногу. Филатъ былъ въ храбромъ расположеніи духа и, подобравъ куски, съ остервененіемъ сталъ бросать ихъ во всѣ стороны.

Я вспомнилъ Али-Аскара, и подумалъ:

— Всякая нелѣпость имѣетъ, однакоже, свое основаніе.

Тифлисскія сакли.

I.

Кто живалъ въ Тифлисѣ, тотъ, конечно, не можетъ не знать одного изъ самыхъ живописныхъ уголковъ его: этотъ уголокъ—Сололакское ущелье, или, просто, *Сололаки*, нѣкогда одно изъ предмѣстій небольшой столицы Грузіи, теперь небольшой кварталъ одного изъ обширнѣйшихъ губернскихъ городовъ въ Россіи. Незамѣтно-покатое дно этого ущелья съ трехъ сторонъ замкнуто сплошными каменными утесами, грустнаго изжелта-пепельнаго цвѣта, и подчасъ, въ проливные дожди, служитъ русломъ бурному потоку, ниспадающему съ горъ мутными каскадами. Въ глубинѣ ущелья, тамъ, гдѣ крутые обрывы какъ бы раздвигаются для пропуска и стока дождевой воды, на высотѣ торчитъ обломокъ арки; тутъ былъ когда-то мостъ, по которому въ незапамятныя времена шла дорога и шагали караваны; теперь этой дороги и слѣду нѣтъ, — даже и вообразить себѣ нельзя, чтобъ тутъ когда-нибудь была дорога.

По милости наводненій, почти ежегодныхъ, русло временнаго потока составляетъ въ Сололакахъ главную, или, лучше сказать, единственную улицу, постоянно сухую, хоть и немощеную. Въ пространствѣ между горъ,

слѣва отъ этой улицы, вдоль садовъ тянется колючій плетень, до самаго подъема на новую, такъ называемую, Коджорскую дорогу, рваную порохомъ. Кто бы ни шелъ, кто бы ни ѣхалъ по этой дорогѣ—далеко видно... А кому случалось идти по ней, тотъ, конечно, не разъ останавливался отдохнуть или полюбоваться противоположной стороной Сололакской улицы, этимъ живописнымъ безпорядкомъ грузинскихъ и армянскихъ саклей, садовъ и маленькихъ двориковъ, мѣстами ярко освѣщенныхъ солнцемъ, мѣстами, словно сѣтью, покрытыхъ виноградными лозами, изъ-за которыхъ поднимаютъ верхи свои жиденькіе пирамидальные тополи. Между этими садами и саклями не ищите переулковъ: тамъ все идутъ какія-то темныя, фантастическія тропинки и ведутъ васъ съ одной плоской кровли на другую, съ бугра на бугоръ, промежъ виноградныхъ лозъ, плетней, каменныхъ стѣнъ, уходящихъ въ землю, и дощатыхъ заборовъ, кое-какъ сколоченныхъ. Изъ глубины этого лабиринта, только въ двухъ мѣстахъ и, какъ теперь помню, около одного духана *), можетъ спуститься арба, запряженная буйволами, хоть и не безъ того, чтобъ не задѣть колесомъ бревна или плетня, съ его колючими, перепутанными сучьями. Ешакъ съ перекидными кошолками, лошаденка, прикрывшая ребра свои кожаными мѣшками, въ которыхъ она болтаетъ и развозитъ воду, понукаемая водовозомъ, или *муша* (носильщикъ), согнувшійся въ три погибели, съ ношей на сутулыхъ плечахъ своихъ, могутъ пробраться во всѣ дворы, но опять-таки не безъ того, чтобъ не толкнуться о какое-нибудь кривое дерево или не задѣть старуху **).

*) Духанъ—кабакъ или харчевня.

**) Говорятъ, въ настоящее время, видъ Сололакъ совершенно измѣнился; описаніе это относится къ концу сороковыхъ годовъ, къ временамъ намѣстничества графа Воронцова.

II.

Было время, сады и дворы сололакскихъ обывателей были такъ небрежно, или, лучше сказать, до того довѣрчиво обгорожены, что всякій, кто бъ ни захотѣлъ, могъ свободно проходить по нимъ. Ни одна дверь не имѣла замка, ни одна калитка не запиралась ни днемъ, ни ночью; по всѣмъ плетнямъ, столбамъ, заборамъ и балкончикамъ вывѣшивались на солнце войлоки, чадры, платки и всякая пестрая ветошь, и никто не стерегъ ихъ. Собаки пугались европейскаго платья, и я помню даже, какъ цѣлая стая ихъ съ визгомъ бросилась назадъ, когда, вдругъ, съ умысломъ развернулъ я у нихъ подъ носомъ зонтикъ свой; женщины, заслыша скрипъ сапоговъ, пугливо прятались въ темной глубинѣ своихъ землянокъ; дѣти поднимали крикъ и плачъ отъ ужаса, завидѣвъ солдатскую фуражку или картузъ чиновника... А теперь—какая перемѣна! женщины не прячутся, а спокойно усаживаются на порогахъ наблюдать прохожихъ или, не обращая на нихъ вниманія, грудью кормятъ дѣтей своихъ; собаки не боятся ни козырьковъ, ни развернутыхъ зонтиковъ; дворы со всѣхъ сторонъ прочно загорожены; калитки на ночь приперты деревянными щеколдами, и сады сололакскихъ обывателей перестали быть доступны всякому праздно-гуляющему смертному. Такъ стали замѣтно измѣняться нравы сололакскихъ жителей, да и самый наружный видъ Сололакъ, по милости одно-этажныхъ и двухъ-этажныхъ кирпичныхъ домиковъ, съ окнами на улицу, съ явными признаками городской архитектуры, навсегда потерялъ свою полудикую, первобытную прелесть; но...

III.

Не совсѣмъ еще потеряла эту полудикую прелесть Магдана, сололакская красавица. Ей слишкомъ двадцать лѣтъ; но еще довольно свѣжи и нѣжны черты ея блѣдно-смуглаго, овальнаго личика. Какъ черный бархатъ, ея глаза не имѣютъ въ себѣ почти никакого блеска и опушены длинными, къ верху загнутыми рѣсницами. Глаза Магданы темнѣе самой темной ночи, и потому я совершенно убѣжденъ въ невозможности найти для нихъ хоть сколько-нибудь, въ смыслѣ поэтическомъ, приличное сравненіе. Зубы ея, ровные какъ подобранный жемчугъ, сверкаютъ необычайной бѣлизной своей всякій разъ, когда она смѣется, а посмѣяться подъ веселый часъ она большая охотница, особливо когда дешевое грузинское вино заиграетъ жаркимъ румянцемъ на щекахъ ея. Коса у Магданы не такъ длинна, какъ, напримѣръ, у одной моей знакомой въ Гори, то-есть далеко не доходитъ до полу,—но густа, черна и на свѣтъ отливаетъ пурпуромъ, что, конечно, происходитъ у ней отъ обыкновенія въ банѣ хиной мыть свою голову,—обыкновенія почти общаго въ Тифлисѣ между женщинами простого класса. Немного рѣзкое очертаніе правильныхъ, почти античныхъ губъ придаетъ лицу ея выраженіе чего-то смѣлаго, даже дерзкаго; но это выраженіе совершенно исчезаетъ, когда она весела или просто улыбается... Голосъ Магданы иногда тихъ, даже вкрадчиво нѣженъ, иногда, напротивъ, такъ же грубъ, какъ у разгнѣваннаго мальчика.

Зимой Магдана ходитъ въ атласномъ салопѣ, съ лисьимъ, подкрашеннымъ воротникомъ, а сверхъ головного грузинскаго убора покрывается шелковымъ платочкомъ, у подбородка сводя концы его въ узелъ, осто-

рожно завязанный. За то лѣтомъ никто лучше ея не умѣетъ облечь себя въ безчисленныя складки бѣлой какъ снѣгъ чадры, и не у многихъ есть такая славная бархатная катиба, съ откидными рукавами,—та самая катиба, въ которой по праздникамъ выходитъ она, подбоченясь, на низенькую кровлю ближайшей сакли—потараторить съ своими сосѣдками.

Магдана—зависть всѣхъ сололакскихъ женщинъ—не только умѣетъ обращаться съ своими янтарными четками и съ достоинствомъ перебирать ихъ по зернышку, но умѣетъ даже говорить по-русски, даже умѣетъ вязать чулки и каждый день сама два раза ставитъ самоваръ, пьетъ чай и смѣло заговариваетъ со всѣми ей знакомыми мужчинами. У Магданы, въ маленькомъ палисадникѣ, не боясь ни мѣсячныхъ лучей, ни сплетней, каждый вечеръ засиживается давно знакомый ей грузинъ Давидъ Егоровичъ. Всѣ знаютъ, что Давидъ Егоровичъ не родня Магданѣ, даже не кумъ ея, и, несмотря на это, всѣ сосѣдки питаютъ къ ней какое-то безотчетное уваженіе. Понадобится ли имъ щепотка соли—идутъ къ Магданѣ; нуженъ ли имъ кусочекъ сахару—идутъ къ Магданѣ, т. е. рѣшаются въ такихъ случаяхъ побезпокоить ее своею просьбою. Но я долженъ начать съ начала, для того, чтобы вы сами ясно видѣли, въ какой степени, наконецъ, измѣнились нравы сололакскихъ жителей.

IV.

Магдана не помнила ни отца, ни матери. Отецъ ея, бѣдный ремесленникъ, занимался выдѣлкою буйволовыхъ и бараньихъ шкуръ, ходилъ, бывало, съ черною заплаткою на лѣвомъ глазѣ и умеръ, воротясь съ ку-

лачнаго боя. Трехлѣтняя Магдана осталась на рукахъ вдовы его—женщины постоянно больной желчными припадками. Босикомъ сходила она въ Маркопскій монастырь, простудилась и умерла, спустя два года послѣ смерти мужа, поручивъ сестрѣ своей, Шушанѣ, пятилѣтнюю дочь свою.

Шушана была вдова; старшій сынъ ея, Михака, былъ женатъ; младшій братъ его, Егоръ, любилъ кутить и мало выработывалъ. Всѣ они помѣщались въ одной саклѣ, на самомъ концѣ Сололакской улицы, лѣтомъ спали на земляной кровлѣ, зимой тѣснились около *мангала* *) и нерѣдко маленькую плаксу Магдану выгоняли за дверь; пуще всего доставалось ей за то, что она была охотница до чужихъ пестренькихъ лоскутиковъ. Никто ни разу не посадилъ ея къ себѣ на колѣни и никто ни разу не приласкалъ ея. Худенькая, грязненькая, казалось, никому она не была нужна; Михака въ особенности за что-то не любилъ ея. Постоянно угрюмый, онъ со всѣми постоянно ссорился. Блѣдное, худое, вытянутое лицо его ни въ комъ не возбуждало симпатіи. Изъ-подъ черныхъ, прямыхъ, сросшихся бровей его выглядывали жгучіе глаза, и въ сумерки, казалось, одна темная полоса отдѣляла лобъ его отъ остальной, т. е. нижней части лица, холоднаго и неподвижнаго. Волосы свои онъ стригъ подъ гребенку и только у висковъ оставлялъ по два небольшихъ завитка; одежда его не отличалась опрятностью, шапки своей онъ не снималъ даже дома, даже и тогда, когда обѣдалъ. Что касается до жены его, она совершенно во всемъ уступала Шушанѣ и какъ бы терялась въ ея присутствіи; съ утра садилась она кормить грудью своего послѣд-

*) Мангалъ—въ родѣ жаровни.

няго ребенка, потомъ копалась въ его пеленкахъ, потомъ по цѣлому получасу вдѣвала шерсть въ иголку, сбираясь штопать персидскіе носки, боялась мужа, любила слушать сплетни и молча по цѣлымъ часамъ улыбалась.

Тетка Шушана жаловала ее больше всѣхъ и нерѣдко, въ ея защиту передъ сыномъ, возвышала голосъ свой. Шушана сама по цѣлымъ часамъ любила хранить строгое молчаніе; лицо этой старухи носило на себѣ печать постояннаго недовольства. Никогда почти она не смѣялась; но часто брань ея сопровождалась энергическими жестами. Въ этомъ случаѣ Шушана напоминала собой престарѣлыхъ римлянокъ. Во всемъ любила она держаться старины и, вѣроятно, въ молодости была красавицей. Конечно, этого нельзя было бы доказать ея морщинами; на ея забытую красоту намекали ростъ, правильный профиль и черные, уже коричневой тѣнью окруженные, глаза ея. Не будь у Шушаны родныхъ внучатъ, быть можетъ, подростающая Магдана еще нашла бы себѣ уголокъ въ ея черствомъ сердцѣ; но Шушана не жаловала ея покойной матери, и, стало быть, на бѣдную сироту не могла перенести никакого чувства. Магдана перестала плакать, но за то одичала и нерѣдко одна-одинехонька взбѣгала на самый верхъ горы, садилась на камняхъ, раскаленныхъ солнцемъ, и сидѣла тамъ до тѣхъ поръ, пока Егоръ или кто другой не найдетъ ея и не притащитъ за руку. Магданѣ стукнуло уже девять лѣтъ: Магдана стала нужна; а потому и стали чаще бранить ее за своеволіе. Когда, по субботамъ, Шушана съ невѣсткой отправлялись въ баню, Магдана несла за ними узлы съ разнымъ тряпьемъ и до полуночи мылила и полоскала ихъ въ сѣрной горячей ваннѣ, не хуже тетки. Иногда посылали Магдану

за водой къ роднику; и—я не знаю, правда ли—разсказываютъ, однажды, нацѣдивъ воды въ муравленый кувшинъ, Магдана сама сбросила его съ каменной крутизны и, тихонько усмѣхаясь, воротилась...

Магдана одиннадцати лѣтъ, такъ же, какъ и всѣ сололакскія дѣвушки, пряталась отъ прохожихъ, одѣвалась бѣдно, и въ будни, и въ праздникъ таскала на себѣ одно и то же полинявшее синее платье; разъ въ недѣлю, усѣвшись на порогѣ, чесала она свою пыльную голову и небрежно заплетала въ косы черные, вьющіеся волосы, любила умываться дождевой водой, но нисколько не подозрѣвала полуразвитой, еще недоконченной, но уже замѣтной красоты своей.

— Что намъ дѣлать съ этой дурой? говорила строгая Шушана, перебирая четки, сжимая тонкія губы и съ покровительствомъ посматривая на свою племянницу.—Навязали мы ее себѣ на руки—что намъ дѣлать? Вишь, какъ растетъ! Отдали бы въ ученье, да надо платить; а что платить? Стоитъ ли она этого, неблагодарная!

Такъ думала тетка, и вотъ, только что Магданѣ стукнуло двѣнадцать лѣтъ, рѣшили, что пора ей замужъ, нашли какого-то бурдючника на Авлабарѣ и просватали. Что значитъ выйти замужъ — Магдана не понимала. Выйти замужъ значитъ имѣть новое платье и новыя серьги: такъ думала она и, ошеломленная, позволяла дѣлать съ собой все, что хотѣли другіе.

V.

Была знойная, безлунная, синяя ночь, въ іюнѣ мѣсяцѣ. Весь Тифлисъ, растворивъ окна и не затворивъ дверей, тяжело засыпалъ, въ напрасномъ ожиданіи сквоз-

ного вѣтра; одна только Сололакская улица безпрестанно просыпалась и шевелилась, оглашаемая звуками зурны. На бугоркѣ, въ концѣ ущелья, въ саклѣ Шушаны свѣтился огонекъ; по смежнымъ съ нею кровлямъ двигались фонари и перебѣгали тѣни. Въ саклѣ ждали только жениха, чтобъ обручить и отвести Магдану въ церковь.

Набѣленная, нарумяненная, въ чужихъ серьгахъ, взятыхъ на одинъ только вечеръ, какъ восковая кукла въ фольговомъ вѣнцѣ, Магдана сидѣла на тахтѣ, поджавъ ноги, не двигаясь и не поднимая длинныхъ рѣсницъ, непроницаемой тѣнью осѣнявшихъ большіе, черные, ничего не выражающіе глаза ея. Въ саклѣ было душно; на сундукахъ, скамьяхъ и даже на полу сидѣли сололакскія сосѣдки и знакомыя ей дѣвушки. Со двора заглядывали въ двери черныя бараньи шапки, усы, носы и раздавался говоръ. Изрѣдка, на возгласъ какого-нибудь остряка, съ улицы отзывался громкій смѣхъ. Женщины улыбались, покачивали головами и другъ другу сообщали свои замѣчанія. Одна невѣста не улыбалась и хранила глубокое, гробовое молчаніе. Таковою и слѣдовало ей быть, по заведенному обычаю. Передъ ней, на коврѣ, стояли свѣчи и невыгодно съ двухъ сторонъ освѣщали ея полудѣтское, безчувственное личико.

Долго, часовъ до одиннадцати ночи, ждали жениха и уже начинали было побаиваться: чего добраго, отказался! Шушана особенно была въ неспокойномъ расположеніи духа. Михака же, какъ нарочно, въ этотъ вечеръ, при всѣхъ, чуть не до драки поссорился съ духанщикомъ. Но вотъ, слава Богу, женихъ пріѣхалъ. Въ темнотѣ послышался мягкій стукъ колесъ: по немощеной улицѣ осторожно поворачивались дрожки. Неистово завизжала зурна, и, казалось, барабанная кожа лопнетъ подъ ударами колотушки. Тугой, беззвучный стукъ

этого барабана отозвался въ горахъ и окончательно разбудилъ Сололакскую улицу. Женихъ взбирался на бугоръ, переваливаясь съ ноги на ногу, и такъ нерѣшительно, какъ будто его сѣчь хотятъ. Никогда не видалъ онъ своей невѣсты, точно также, какъ и Магдана никогда его не видѣла. Только что угомонилась зурна, въ саклѣ раздались бряцающіе удары въ бубенъ. Невѣсту подняли съ тахты: она должна была плясать; двери отворились, женихъ попятился, но бурдючники дружно подтолкнули его въ спину, и какъ нарочно поставили на порогъ, такъ что ужь ему не было никакой возможности спрятать красное лицо свое.

Жениху было около сорока пяти лѣтъ, и лицо его скорѣе походило на лицо какой-то старухи, съ опухшимъ носомъ, изъ-подъ котораго торчали волосы. На его поношенномъ сутуломъ тѣлѣ самая чуха его была уже значительно поношена, и если что его выручало, такъ это красная канаусовая рубашка, которая, очевидно, была надѣта въ первый разъ. Жениха звали Арютюномъ. Безпечнѣйшій гуляка изъ гулякъ, на этотъ разъ онъ не зналъ, куда дѣвать себя. Наконецъ, мѣшковатый женихъ принужденъ былъ взять невѣсту за руку и, послѣ разныхъ церемоній, открыть съ ней свадебное шествіе.

Опять неистово завизжала зурна и раздались удары колотушки. Магдана какъ будто хотѣла что-то сказать, но языкъ ей не повиновался. Каждый изъ гостей взялъ въ руки по зажженной свѣчкѣ, и брачная чета двинулась въ путь, сопровождаемая толпою всѣхъ тифлисскихъ бурдючниковъ и всѣми, кто только хотѣлъ примкнуть къ процессіи. Тамъ, гдѣ шла она, по улицамъ, двигалось красное сіяніе, и всѣ предметы, каждый столбъ, каждый остановившійся прохожій, всѣ вывѣски

и выступы балконовъ протягивали отъ себя длинныя тѣни, сперва въ одну, потомъ въ другую сторону, и потомъ опять погружались въ темную гущу ночи.

Рѣзвая Магдана едва передвигала ноги и тяжело дышала; тотъ, кто шелъ съ ней рядомъ и кому она должна была отдать жизнь свою, представлялся ей какимъ-то фантастическимъ-чудовищемъ неопредѣленныхъ очертаній. Къ странному, непонятному ей чувству, которое охладило оконечности ея рукъ и ногъ, примѣшивался суевѣрный страхъ погасить брачную свѣчу, что почла бы она за страшное для себя предзнаменованіе. Наконецъ ея ножка почувствовала каменныя ступеньки церкви... Магдана была обвѣнчана... Какъ тамъ продолжалась свадьба, съ какими именно обрядами и сколько было выпито вина—не знаю; знаю только, что свадебная процессія пошла изъ церкви по другому направленію, а именно на Авлабаръ, въ саклю Арютюна бурдючника.

VI.

Для чего женился Арютюнъ? этого онъ и самъ не зналъ. Закадычный другъ всѣхъ тифлисскихъ, даже сигнахскихъ и телавскихъ бурдючниковъ, онъ не могъ не внять благоразумному совѣту ихъ. Пріятели же дали ему такой совѣтъ, безошибочно предчувствуя, что Арютюнъ, по случаю свадьбы, прокутитъ всѣ абазы, только что доставшіеся ему по наслѣдству. У Арютюна былъ кредитъ почти во всѣхъ духанахъ, да еще къ довершенію полнѣйшаго его благополучія, была у него верховая лошадь съ грузинскимъ сѣдломъ, за которую давали ему сорокъ монетъ; стало быть, не только Арютюнъ, но и нѣкоторые изъ числа друзей его на сорокъ

монетъ всегда могли разсчитывать. Рѣдкій день проходилъ безъ того, чтобъ Арютюнъ не угощалъ кого-нибудь или взаимно не былъ угощаемъ. Пилъ онъ до охриплости въ горлѣ, до бормотанья остротъ самыхъ неслыханныхъ, до красноты въ глазахъ и, вслѣдствіе такого обыкновенія, весьма часто по цѣлымъ суткамъ не возвращался домой и не видалъ Магданы. Итакъ, Магдана замужемъ. Медленно проходятъ дни, не такъ медленно проходятъ мѣсяцы; но незамѣтно, быстро пронесся годъ ея замужней жизни. Магдана нисколько не раскаивалась, что вышла замужъ: уже тетка не могла попрекать ее; у ней былъ собственный свой уголъ; мыла она свои собственныя, а не чужія тряпки; могла засиживаться на кровлѣ, сколько хотѣла и даже, подчасъ, могла прикрикнуть на своего супруга. Во всякомъ случаѣ, странна была жизнь ея: кушанья, напримѣръ, Магдана сама не готовила; Арютюнъ лѣтомъ не покупалъ дровъ и не нанималъ работницы, которая бы могла на базаръ ходить; Арютюнъ кормилъ жену свою, какъ птичку въ клѣткѣ, то-есть каждый день приносилъ ей обѣдать, а самъ уходилъ обѣдать въ лавку, въ духанъ или куда-нибудь за городъ. Чтó говорить, какъ и о чемъ говорить съ женой?—Арютюнъ, отъ роду не бывавшій въ женскомъ обществѣ, никакъ понять не могъ. Обыкновенно весь его разговоръ съ Магданой вертѣлся около слѣдующихъ выраженій: «Здравствуй!» «Хочешь ѣсть?» «А?» «Вотъ я вина принесъ, отвѣдай.» «Я сытъ.» «Прощай!»—вотъ и все. Магдана не была взыскательна и точно также мало говорила съ нимъ. Иногда только, просыпаясь ночью, издали, гдѣ-нибудь въ другомъ углу, слышала она знакомый храпъ его.

VII.

Была весна. Великій постъ приходилъ къ концу. Магдана сбиралась проснуться раньше, на зарѣ, для того, чтобъ идти къ заутрени. Наканунѣ она была въ банѣ, съ вечера отложила только что вымытую и выглаженную чадру, въ пустой каминъ поставила кувшинъ съ холодною водою, и, такимъ образомъ сдѣлавъ всѣ необходимыя для себя распоряженія, по обыкновенію, заснула она крѣпкимъ сномъ здоровой, молодой и свѣжей женщины. Блѣдный холодноватый свѣтъ повсюду проницающаго утра скользилъ по матовой бѣлизнѣ обнаженнаго плеча ея. Длинныя, опущенныя стрѣлы густыхъ рѣсницъ ея тихонько вздрагивали, потому что медленный колокольный звонъ начиналъ уже понемногу будить ее... Мужа не было: Арютюнъ уѣхалъ куда-то еще съ утра, на своей лошади, и Магдана не ждала его, потому что рѣшилась отобѣдать у какой-то родной сестры своей крестной матери. Магдана привыкла спать одна и на этотъ разъ боялась только, что некому будетъ разбудить ее.

Вдругъ Магдана почувствовала свѣжій воздухъ, въ саклю отворилась дверь, и, покашливая, вошла низенькая старушка.

— Вай ме! сказала Магдана, потягиваясь:—я думала, мужъ вошелъ... Что тебѣ надобно? Уфъ! я проспала заутреню.

И Магдана локтемъ заслонила отъ свѣта глаза свои и опять задремала.

Старуха взяла ее за руку.

— Что тебѣ?... Ахъ, какъ ты рано! по...о...ойдемъ... Уфъ! пойдемъ вмѣстѣ къ заутрени.

Вошедшая старушка, Назо, принадлежала къ числу

ея безымянныхъ родственницъ, т. е., по словамъ Арютюна, она была ему двоюродною бабушкой; но не одинъ Арютюнъ—много было у ней такихъ, которыхъ называла она своими внучатами. Никто не зналъ, гдѣ живетъ она и чѣмъ постоянно питается; нѣкоторые увѣряли, что, въ толпѣ нищихъ, нѣсколько разъ протягивала она свою руку за подаяніемъ. Лѣтомъ, съ іюля до сентября, уходила она куда-то въ деревню, къ зимѣ же опять появлялась въ Тифлисѣ, открывъ вѣтрамъ ничѣмъ почти не защищенную, тощую и плоскую грудь свою. Обрывокъ чьей-то чадры покрывалъ ея сѣдую, косматую голову. Говорила она глухо, слезливо улыбалась и любила разсказывать, какъ персіяне разграбили домъ ея и какъ вели ее куда-то въ плѣнъ; но когда это было и гдѣ—старушка не могла рѣшить. Арютюнъ не одинъ разъ, встрѣчая ее гдѣ-нибудь на базарѣ, посылалъ съ нею къ женѣ своей сыръ, мацони, рыбу и вино: старушка была послушна, какъ ребенокъ. Магдана ее очень хорошо знала, но привыкла видѣть ее только въ обѣденное время и подчасъ, отъ скуки, любила дразнить ее.

— Ну, что ты, Назо? коли рано, не мѣшай мнѣ: я еще посплю немного.

И, говоря это, Магдана вытянула надъ изголовьемъ руки и хотѣла повернуться къ стѣнѣ; но въ дрожащей рукѣ старухи была какая то бумажка. Магдана подняла голову,—подняла ее со всею массою черныхъ, перепутанныхъ и полурасплетенныхъ косъ, быстро раскрыла глаза и спросила:

— Что это?

— А вотъ прислалъ,—прислалъ, безпутная голова—уѣхалъ въ Кахетію; десять рублей—говоритъ—снеси, да

не потеряй,—говоритъ,—а не то бѣда твоя... Но что ужь мнѣ грозить? ну, что я?...

— А! а кто это мнѣ прислалъ?

— Да вотъ, я же говорю тебѣ! Арютюнъ прислалъ, внучекъ мой, безпутная голова—уѣхалъ въ Кахетію.

И старуха сбивчиво, но, по возможности, подробно объяснила ей, что мужъ ея недѣли на двѣ уѣхалъ на Алазань, и такъ какъ некогда ему было самому домой зайти, то и посылаетъ ей на расходы красненькую бумажку.

Магдана равнодушно выслушала старуху, зѣвнула, потомъ осторожно взяла депозитку, разгладила ее на своемъ колѣнѣ и съ дѣтскимъ любопытствомъ принялась ее разсматривать.

Отъѣздъ мужа нисколько не опечалилъ и даже на этотъ разъ не разсердилъ Магдану; уѣхать не простясь съ ней—это казалось ей весьма естественнымъ, потому, быть можетъ, что ни разу еще въ жизни, или, лучше сказать, въ сферѣ, ее окружающей, не видала она ни трогательной сцены въ часъ разлуки, ни радостныхъ, теплыхъ слезъ въ минуты свиданія; гораздо менѣе естественной показалась ей присылка денегъ.

Уѣхать въ Кахетію, уйти на базаръ—не все ли равно?—но прислать деньги!...

Десяти рублей у ней въ рукахъ никогда еще не было. Десяти рублямъ внутренно она такъ обрадовалась, что и мужъ заочно показался ей хорошимъ человѣкомъ.

— Спасибо,—сказала она, бережно сложила депозитку и, что смѣшно, потихоньку отъ старухи, спрятала ее подъ войлокъ.

— Ну, хорошо, Назо! умница! Дай Богъ тебѣ здоровья. Я вотъ схожу къ заутрени. Ты, чай, устала, по-

лежи у меня на тахтѣ—я какъ-разъ вернусь; полежи у меня; я, пожалуй, притворю тебя.

— Хорошо, хорошо,—пробормотала сговорчивая старуха, младенчески улыбаясь:—я прилягу; кости у меня болятъ, такъ я прилягу; а ты иди.

Магдана вскочила, затворила дверь, умылась, мигомъ привела въ порядокъ и убрала свою голову, накинула чадру и вышла. Прошла она шаговъ пять, остановилась и подумала, хорошо ли она спрятала депозитку, не лучше ли ей положить ее въ сундукъ; но сундукъ не запирается: стало быть, она запретъ старуху. А что если, вдругъ, она и сама забудетъ куда спрятала свое богатство, да еще какъ-нибудь вмѣстѣ съ соромъ вымететъ на улицу?

Съ этой мыслью, Магдана воротилась въ саклю.

— Спи, спи; я хочу платокъ свой найти,—сказала она старушкѣ, отогнула войлокъ и удостовѣрилась, что депозитка все еще лежитъ на томъ самомъ мѣстѣ, куда она ее засунула.

— Не пойти ли ужь и мнѣ къ заутрени? промямлила старушка, лежа поперекъ широкой тахты, посреди разбросанныхъ подушекъ и скомканнаго одѣяла.

Магдана схватила висячій замокъ, вышла на улицу и заперла дверь.

VIII.

Озадаченная неожиданнымъ полученіемъ денегъ, Магдана всячески старалась припомнить сонъ, который она видѣла, и казалось ей, что дѣйствительно приснился ей какой-то мальчикъ съ золотой головкой, который щекоталъ и все завертывалъ ее въ какіе-то красненькіе лоскутки. Погруженная въ розовыя мечты и соображенія,

тихо и задумчиво шла она къ заутрени, поднялась, придерживая платье, на монастырскую лѣстницу и медленно обходила уголъ старинной церкви, чтобъ попасть въ ту дверь, куда обыкновенно входятъ однѣ только женщины. Головы молящихся въ оградѣ обернулись, и если бы Магдана не была такъ занята своими деньгами, то увидала бы она, съ какимъ изумленіемъ одинъ молодой грузинъ посмотрѣлъ ей въ лицо и отступилъ, чтобъ дать ей дорогу. Магдана остановилась передъ порогомъ западныхъ дверей и стала перетягивать чадру, чтобы ловчѣе подобрать ее. Ярко-розовый свѣтъ косвенныхъ лучей зари озолотилъ въ это время нижній овалъ лица ея. Блѣдный лобъ, темныя брови и черные глаза ея вмѣстѣ съ поднятыми рѣсницами ушли въ тѣнь накинутой чадры, тогда какъ рдѣющія уста, казалось, дышали всею свѣжестью весенняго утра. Не замѣтивъ ни одного взгляда, брошеннаго на нее, Магдана набожно перекрестилась, вошла въ церковь, и бѣлая чадра ея смѣшалась тамъ съ другими чадрами.

Уста Магданы шептали молитву, а слабая голова была занята полученными деньгами. И нечего говорить, что, на обратномъ пути изъ монастыря, Магдана уже все обдумала; такъ, по крайней мѣрѣ, казалось ей.

«Зайдетъ она къ Евтиміи, которая живетъ не такъ далеко; пошлютъ онѣ за портнымъ,—тотъ, пожалуй, приведетъ купца, а пожалуй и самъ купитъ все, что слѣдуетъ; или вотъ: если пойдутъ ея сосѣдки въ *Темный Рядъ*, она попроситъ ихъ взять ее съ собою, и тамъ надо будетъ ей купить розоваго атласу, позументикъ, два аршина лентъ и проч. и проч., во всемъ надо положиться на совѣтъ Евтиміи: она же когда-то жила у одного александропольскаго купца, стало быть, она все знаетъ, гдѣ что взять и какъ лучше сдѣлать, чтобъ

не такъ было дорого; кой-что надо будетъ и самой сметать. Ну, что жь! если много будетъ работы, она когонибудь позоветъ и даже угоститъ. Надо будетъ только купить изюму, сарацинскаго пшена, сыру и масла; да еще надо бы и бѣлилъ купить къ Святой недѣлѣ».

Вотъ какую кутерьму подняли десять рублей въ головѣ хорошенькой грузинки, никогда еще не видавшей денегъ болѣе четырехъ абазовъ, или четырехъ двугривенныхъ.

Бабушка Назо такъ была огорчена тѣмъ, что Магдана заперла ее, что принялась хныкать,—похныкала да и заснула. Магдана только что пришла отъ заутрени, опрокинула кувшинъ, вскочила на тахту, сброшенной чадрой покрыла спящую старуху и засунула руку подъ войлокъ: «тутъ!» сказала она, усаживаясь, и принялась вторично думать да передумывать, куда ей дѣвать такъ много денегъ.

IX.

Тетка Шушана узнала стороной, что мужъ Магданы, за какимъ-то дѣломъ, ушелъ въ Кахетію, и разсудила, что на другой же день племянница посѣтитъ ее и разскажетъ ей подробно, зачѣмъ это Арютюнъ ушелъ въ Кахетію. Въ этомъ она была совершенно увѣрена. Но вотъ ужь и Великій четвертокъ прошелъ, вотъ ужь и Страстная недѣля къ концу идетъ, а Магданы все нѣтъ какъ нѣтъ. «Ужь не больна ли она? — подумала Шушана.—Хоть бы ребенка родила; а то и этого-то не даетъ ей Богъ! Ну, что, зачѣмъ я теперь пойду къ ней? Вишь, тащись къ ней на гору! у меня своя семья»— разсуждала Шушана и, не ради родственнаго участія, а просто, такъ, сама не зная почему, каждый день

ждала Магдану. Шушана чувствовала потребность наставлять ее во всѣхъ случаяхъ жизни и даже изрѣдка ей покровительствовать; съ ея же стороны ждала она, по крайней мѣрѣ, вѣчной благодарности Шушана разсчитывала, что отлучка мужа непремѣнно заставитъ упрямую Магдану, если не обратиться къ ней за какимъ-нибудь совѣтомъ, то по крайней мѣрѣ приходить, изъ нужды, обѣдать къ ней. Можете же вообразить, какъ была она недовольна тѣмъ, что Магдана къ ней и носу не кажетъ. И вотъ послала она къ ней внука, старшаго сынишку своего Михаки, звать Магдану къ себѣ разгавливаться послѣ ранней обѣдни въ первый день праздника.

Внукъ, мальчишка лѣтъ семи, напялилъ на уши грузинскую баранью шапку, которая была вдвое больше головы его, и, на толстомъ брюшкѣ своемъ застегнувъ крючокъ затасканнаго ситцеваго архалучка, отправился.

— Ты, пузанъ, зачѣмъ сюда пришелъ? такими словами встрѣтила его Магдана и бѣленькими своими зубками стиснула только что уколотый палецъ свой.

Какая-то женщина, — вѣроятно, Евтимія — въ пухъ разряженная, сидѣла въ это время у Магданы, и, завидя мальчика, залилась громкимъ хохотомъ; у ней въ рукахъ также была игла, а на колѣняхъ—работа, шелкъ и нитки.

— Ну, посмотрите, развѣ онъ не пузанъ?... Что тебѣ?

Пузанъ почесался и, оглядывая потолокъ, трубу и стѣны, сталъ пищать нараспѣвъ:

— Бабушка Шушана про-о-ситъ тебя, что-о-бъ ты непремѣнно пришла къ ней пасху ѣсть, по-ослѣ заутрени, и велѣла тебѣ кланяться...

— Ну, хорошо; скажи: захочу—приду, а захочу—не приду. Ступай!

Мальчикъ опять напялилъ шапку на уши, повернулся и вышелъ, не дождавшись дальнѣйшихъ объясненій. Онъ спѣшилъ въ Сололаки, страшно боясь, что у него братишка утащитъ бабки, только-что выкрашенныя въ сандальной гущѣ, на удивленье всѣмъ мальчикамъ Сололакской, а можетъ быть, и Садовой улицы.

Шушана была до того разгнѣвана отвѣтомъ Магданы, что не хотѣла на праздникахъ пускать ее за порогъ своей сакли: «стоила ли еще она этого, чтобъ я посылала къ ней!» ворчала она, накрывшись чернымъ платкомъ и перебирая четки.

X.

Такъ какъ Евтимія никакой роли не играетъ въ нашемъ разсказѣ, я одно только скажу про нее, что она не пользовалась хорошей репутаціей. Разговоры съ ней скорѣй могли быть вредны, чѣмъ полезны для такой неопытной женщины, какъ Магдана; но что, еслибъ не Евтимія,—кто бы къ празднику, въ такое короткое время, помогъ ей сшить платье изъ лощеной, полосатой холстинки кофейнаго цвѣта, *гулиспери* (нагрудникъ) изъ алаго атласу, да еще сверхъ того купить все, что слѣдуетъ для головного убора!... Всю Великую ночь до перваго звона, при свѣчахъ, вдвоемъ, онѣ работали, и только-что запѣлъ пѣтухъ, только-что ударили на Сіонскомъ соборѣ въ колоколъ, Магдана стала одѣваться; зеркальце въ окованной оправѣ не выходило изъ рукъ ея, и пока Евтимія заплетала въ розовыя ленты кончики длинной косы ея, Магдана, доставъ изъ сундука акую-то раковину съ бѣлой краской и размазавъ ее

мокрымъ пальчикомъ, стала, по наущенію своей новой пріятельницы, слегка бѣлить себя. Ко второму звону, обѣ онѣ, затушивъ сальные огарки, въ бѣлыхъ чадрахъ, вышли изъ сакли. Въ церкви Магдана отыскала бабушку Назо и шепнула ей, чтобъ та послѣ ранней обѣдни вмѣстѣ съ ней зашла къ Евтиміи разговляться. Магдана имѣла въ виду оставить у ней ключъ отъ своей сакли и даже хотѣла упросить ее до пріѣзда мужа погостить у ней.

Бабушка Назо была на все согласна, даже слезливо улыбнулась, и пока Магдана, часу въ десятомъ утра, стоя на перекресткѣ, поджидала попутчицъ, бабушка, съ ключемъ въ рукахъ, направила шаги свои къ ея саклѣ, въ надеждѣ прилечь и отдохнуть по возможности.

Не нашла себѣ Магдана попутчицъ и, разсердясь, одна рѣшилась идти въ Сололаки—навѣстить родныхъ своихъ, или, вѣрнѣе, показать имъ нарядъ свой и похвастаться.

По всѣмъ церквамъ звонили въ колокола; толпы народа бродили по улицамъ, въ особенности по базарнымъ улицамъ. Лакеи бѣжали съ запоздалыми куличами. Чиновники и военные, въ полной формѣ, разъѣзжали съ визитами. Вѣтеръ вздымалъ воротники шинелей; пыль неслась и застилала окна магазиновъ и кондитерскихъ, съ выставленными на показъ сахарными яйцами, бисквитными пирогами и картонными игрушками; безпрестанно слышался барабанный бой и военная музыка; въ отдаленныхъ кварталахъ безъ умолку звучали зурны. Въ *пурняхъ* *) и духанахъ мелькали желтыя черкески, ременные пояса съ кинжалами и разнаго покроя шапки

*) Пурня—хлѣбопекарня и харчевня въ то же время.

грузинскія, лезгинскія, черкесскія, казацкія и проч. и проч.

Магдана, нарядная какъ никогда, шла въ Сололаки къ роднымъ своимъ. Вѣтеръ, взвѣвая пыль, то облѣплялъ станъ ея безчисленными складками, то раскрывалъ ярко-розовый атласъ ея нагрудника.

Не одинъ торговецъ, подбоченясь, мрачно заглядывалъ въ лицо Магданѣ, стоя на порогѣ притворенной, но не запертой лавки; не одинъ чиновникъ, въ бѣлыхъ перчаткахъ, останавливался и въ изумленіи смотрѣлъ вслѣдъ за колыхающейся чадрой ея, придерживая шляпу, готовую вмѣстѣ съ вѣтромъ улетѣть и покатиться кубаремъ.

Магдана въ первый разъ шла одна и такъ далеко. Ей было и жутко, и весело. Шесть-семь лѣтъ тому назадъ, на такой подвигъ не рѣшилась бы ни одна, подобная ей, молодая женщина. Въ первый разъ Магдана поняла, что она красавица, и сама не знала, отчего у ней на душѣ стало такъ безгранично весело.

XI.

Надо было ожидать, что Магдана будетъ очень дурно, холодно, а быть можетъ, даже и грубо принята въ кругу родныхъ своихъ, послѣ неуважительныхъ словъ ея, присланныхъ ею въ отвѣтъ на приглашеніе Шушаны; но свѣжій, вышитый шелками головной уборъ ея, алый атласъ и золотые галунчики сдѣлали такое сильное впечатлѣніе на всѣхъ присутствующихъ въ саклѣ, когда Магдана, веселая и радостная, вошла въ нее, что, вмѣсто того, чтобъ напасть на нее за неуваженіе, тетка Шушана сперва молча съ ней похристосовалась, потомъ сказала ей «садись!» и, очистивъ ей на тахтѣ мѣсто,

сама подвинулась въ уголокъ, сжала губы и стала молча разсматривать головной уборъ ея (*личакъ* и *тавсакрави*). Около полудня собрали обѣдъ; и вся семья, вторично разговѣвшись сыромъ, творогомъ и яицами, отобѣдала, сидя на тахтѣ. Егоръ, изъ кувшина, который на этотъ разъ затыкался искусно свернутымъ сѣномъ, налилъ женщинамъ по шкалику краснаго вина, брату подалъ *азарпешу* *) и проговорилъ здоровье Магданы, на что всѣ поклонились ей, бормоча обычное: *Алла верды*!

— *Мадлобели гахловаръ*! т. е. очень благодарна вамъ, отвѣчала Магдана, кланяясь всей честной компаніи.

Затѣмъ пили за здоровье Шушаны, за здоровье вѣчно улыбающейся жены Михаки, и наконецъ, за здоровье остальныхъ присутствующихъ, т. е. самого Михаки и Егора.

Пузанъ-мальчишка, вмѣстѣ съ братьями-ребятишками, сидѣлъ за спиной Шушаны, протягивалъ руку не хуже другихъ и такъ усердно грызъ кости, что вымазалъ все лицо свое. Онъ также выпилъ шкаликъ вина за общее здоровье.—Замѣчу, однакожь, что, несмотря на молчаливую важность Шушаны и на постоянную глупую мину золовки, какъ-то дружнѣе, какъ-то съ бо́льшимъ уваженіемъ въ пріемахъ и въ голосѣ провозглашено было здоровье Магданы. Я, какъ авторъ, изобличитель чужихъ помысловъ, долженъ откровенно сказать вамъ, что у всѣхъ у нихъ, подъ разными видами, и лучше сказать, не въ одинаковой степени развитія, мелькала одна и та же мысль, что Магдана вдругъ разбогатѣла. Всѣ терялись въ догадкахъ—какъ, когда и какимъ образомъ? Какъ бы, кажется, не догадаться, что Арютюнъ могъ женѣ своей оставить деньги. Жена Ми-

*) Азарпеша—ковшъ съ длинной рукояткою.

хаки улыбалась двусмысленно и думала, какъ бы попросить у Магданы взаймы рубликъ на пряники или на подметки дѣтямъ.

Егоръ ничего не думалъ и любезничалъ съ Магданой, потому что Магдана *хорошѣла* съ каждымъ днемъ, и потому что рѣдко, очень рѣдко случалось ему съ ней видѣться.

Весь этотъ день для семьи прошелъ безъ шума и спора. Всѣ, по какому-то чуду, были довольны судьбой своей, что случалось рѣдко, потому что Михака, напримѣръ, постоянно былъ недоволенъ своей сожительницей, а потому и бранилъ ее при всякомъ удобномъ случаѣ.

XII.

Насталъ вечеръ... О, какъ бы я желалъ придраться къ случаю, чтобы описать вамъ великолѣпный сололакскій вечеръ; но я боюсь забыть мою Магдану гдѣ-нибудь на кровлѣ, въ тѣсномъ кругу мужчинъ и женщинъ, собравшихся позѣвать на пляску сололакскихъ дѣвушекъ, подъ звукъ домашняго, бряцающаго бубна,—подъ этотъ странный звукъ, который, и безъ пляски, издали похожъ на мѣрный топотъ.

Съ закатомъ солнца улегся вѣтеръ. Коротки были сумерки: безлунная темная ночь разлилась по площадямъ и улицамъ, по дворамъ и плоскимъ кровлямъ поющаго, пляшущаго, перекликающагося Тифлиса. Сололаки на этотъ разъ угомонились раньше другихъ частей города. Магдана осталась ночевать у родныхъ. Жена Михаки приготовляла ужинъ. За Егоромъ приходилъ какой-то товарищъ изъ деревни и увелъ его. Шушаны также въ саклѣ не было. Но посмотримъ, не выцѣдимъ

ли мы чего-нибудь для нашего разсказа изъ того крупнаго разговора, который ведетъ Шушана за плетнемъ съ какою-то другой старухой, еще совершенно незнакомой моимъ читателямъ.

Разговоръ этотъ начался энергическою бранью Шушаны и вначалѣ сопровождался размахиваньемъ кулака, потомъ перешелъ въ болѣе миролюбивый тонъ и наконецъ окончился со стороны Шушаны просьбой; въ чемъ состояла эта просьба, сейчасъ увидимъ.

Что касается до незнакомой старухи, сначала, какъ будто вся вылѣпленная изъ глины, понуривъ голову, накрытую большимъ платкомъ, а обѣими руками облокотясь на палку, она не двигалась: первый признакъ жизни показала она не прежде, какъ Шушана уже успокоилась. Глухая къ угрозамъ, она была нѣма; но Шушана стала о чемъ-то просить ее, и она заговорила.

Содержаніе разговора, я думаю, будетъ понятно изъ гнѣвнаго начала и миролюбиваго конца его.

— Что ты тутъ? зачѣмъ ты тутъ? А? Чтобъ ты и не думала—я тебѣ говорю—чтобъ ты и не думала, чтобъ нога твоя не была ни здѣсь около моей сакли, ни у моей племянницы. Тебя всѣ знаютъ, какая ты! уѣхалъ мужъ Магданы, такъ вишь, ты и выглядываешь. Кто это подослалъ тебя? А? Мало тебя били на твоемъ вѣку! восклицала Шушана.

— Я и не знаю твоей племянницы.—Богъ съ ней,— проговорила наконецъ другая старуха, послѣ очень долгаго и, повидимому, смиреннаго молчанія.

— Конечно, Сусана, мужъ моей Магданы дурной человѣкъ: есть у него жена али нѣтъ, ему все равно! говорила полу-шопотомъ затихающая тетка, сознавая въ душѣ, что гнѣвъ ея, какъ волна морская, ударился въ скалу и ни на волосъ не покачнулъ ея.—Уѣхалъ, оста-

вилъ ее одну, и даже моему надзору не поручилъ, хоть бы сказалъ: «такъ и такъ, Шушана, ѣду, присмотри, дескать!» такъ нѣтъ! А все же она моя племянница! Вотъ я и хочу знать, откуда у ней такіе атласы да позументы? гдѣ ей взять?... Недаромъ она такая щедрая да веселая..

— Ужь я этого ничего не знаю, душа ты моя, вѣрь не вѣрь, побожусь какъ тебѣ угодно, только ты понапрасну не кори меня... отвѣчала Сусана, слегка обиженнымъ голосомъ.

— Ты, Сусана, мнѣ только узнай, кто это далъ ей денегъ? Небось, былъ мужъ, такъ и платья не имѣла, а ушелъ мужъ, такъ и платье и все; кому же эти продѣлки и знать, какъ не тебѣ, Сусана! пожалуйста, помоги мнѣ: узнай!

— Ахъ, *шени-череме!* *) Если бъ я только какъ-нибудь да черезъ кого-нибудь...

— Тетка! гдѣ ты? послышался за калиткой молодой и звонкій голосокъ Магданы:—хочешь ужинать, а?...

Старухи разошлись. Шушана, какъ ни въ чемъ не бывало, пошла къ себѣ домой и усѣлась на тахтѣ. Магдана говорила:

— Лягу я спать на томъ же мѣстѣ, гдѣ еще, помнишь, тетка, скорпіонъ-то укусилъ меня.

— Вотъ, слава Богу! уже давно я не вижу ихъ, отвѣчала тетка и на ночь уступила Магданѣ свой матрасъ и свою мутаку **).

Далеко на скоромъ ходу отставляя палку и потряхивая головой, шла къ себѣ на Горстубань ***) старуха

---

*) *Шени-череме*—выраженіе привѣта или ласки—безпрестанно употребляется въ Грузіи; слово въ слово: *Твоя болѣзнь да будетъ на мнѣ.*

**) Мутака—круглая подушка.

***) Горстубань—часть города.

Сусана и всю дорогу чему-то усмѣхалась. Не думала, не гадала, подвернулась тетка и сама наплела ей на свою племянницу. И не знала бы Сусана, какъ зовутъ красавицу и гдѣ живетъ она, и съ кѣмъ живетъ, и въ какихъ находится обстоятельствахъ,—ничего бы она не знала да и не вѣдала, кабы умная, строгая Шушана не выдумала на улицѣ браниться съ ней.

И въ душѣ старухи созрѣвалъ въ это время умыселъ такой же черный, какъ черна была ночь, скрывающая лукавое выраженіе губъ ея.

XIII.

Три дня провела Магдана въ Сололакахъ, три ночи ночевала она у родныхъ своихъ, и не хотѣлось покинуть ей родного ущелья. На Авлабарѣ скучно, а въ Сололакахъ—Боже ты мой, сколько разныхъ развлеченій! То какой-нибудь полкъ, сверкая штыками, спускается длинной цѣпью по извилинамъ Коджорскаго пути и потомъ, стряхнувъ съ себя дорожную пыль и развернувъ знамена, съ музыкой вступаетъ въ городъ; то какой-нибудь деревенскій сазандаръ, въ татарской шапкѣ, сойдетъ съ горы, пріютится у столба подъ навѣсомъ сололакскаго духана, и всю ночь раздается рыдающій, обрывающійся, пронзительный крикъ его, подъ звуки чунгури, которой металлическія струны тихо лепечутъ въ тишинѣ безмятежной улицы; то сосѣди побранятся за воду, которая по жолобу спускается въ сады и по очереди наполняетъ то одну, то другую поливную канавку, потому что не всегда же на всѣхъ можетъ достать воды, особливо когда нѣтъ дождей; то вдругъ зайдетъ на кровлю какой-нибудь чиновникъ, съ золотыми очками на носу, въ круглой соломенной

шляпѣ, и станетъ, закинувъ руки за спину, заглядывать по саклямъ. Мало ли, наконецъ, въ Сололакахъ развлеченій, чуждыхъ Авлабару; да и зачѣмъ Магданѣ спѣшить туда—вѣдь бабушка Назо можетъ жить тамъ сколько ея душѣ угодно, вѣдь ключъ отъ сакли у Назо,—такъ о чемъ же Магданѣ и безпокоиться?

Благовѣстили къ вечернѣ. На дворѣ весело шумѣлъ весенній, блестящій дождь; облако не закрывало солнца; дождь прибивалъ къ землѣ только что распустившіеся оранжевые цвѣтки настурцій. Блѣдно-зеленые завитки или усики виноградныхъ лозъ, перевѣсившись черезъ плетни и заборы, тихо покачивались и пріятно вздрагивали отъ каждой капли, которая орошала ихъ.

Я забылъ вамъ сказать, что цѣлая половина маленькаго двора Шушаны была занята виноградникомъ. Весь же дворъ былъ никакъ не больше самой обыкновенной комнаты. Около калитки росло невысокое персиковое дерево; оно никогда не давало плодовъ, только весной всю тропинку, отъ калитки до порога сакли, усыпало бѣлыми лепестками опадающихъ цвѣтовъ. Тутъ было когда-то и другое дерево; но оно было опрокинуто потокомъ, ворвавшимся на дворъ лѣтъ шесть тому назадъ, совершенно неожиданно: это, конечно, было въ очень сильный дождь. Дожди, въ которыхъ радужно играетъ солнце, никого не безпокоятъ въ Грузіи. Вотъ почему и этотъ весенній дождь нисколько не помѣшалъ Шушанѣ, вмѣстѣ съ невѣсткой, сидя на тахтѣ у самой задней стѣнки, вдвоемъ штопать одѣяло и слушать разговоръ праздной Магданы съ двумя праздными сосѣдками. Дѣти спали; дверь на дворъ была отворена; брызги дождя перелетали черезъ порогъ; забѣжавшая въ саклю чья-то желтенькая собачонка, съ двумя черными крапинами вмѣсто бровей, виляя хвостомъ, ко-

сила свою морду, передергивая ушами и закусивъ губу, умильно поглядывала то на Магдану, то на корку черстваго хлѣба, которую держала она въ приподнятой рукѣ, сбираясь подразнить собаку.

Вдругъ Магдана невольно вздрогнула, и корка изъ рукъ ея полетѣла на полъ.

— Не здѣсь ли гоститъ жена бурдючника, Магдана? послышался за дворомъ, у самой калитки, мужской незнакомый голосъ.

— Вай ме! кто это меня спрашиваетъ? съ замираніемъ въ сердцѣ, полу-шопотомъ произнесла Магдана и взглянула на тетку.

Тетка также взглянула на Магдану, сбросила съ колѣнъ одѣяло, проворно встала, пошла къ дверямъ и заслонила спиной своей всѣхъ присутствующихъ въ саклѣ: такъ, заслыша коршуна, насѣдка закрываетъ крыльями цыплятъ своихъ.

— Не тутъ ли гоститъ Магдана? повторилъ тотъ же голосъ.

— Кто тутъ? во все горло крикнула Шушана, такъ что разбудила внучатъ своихъ: — кого тебѣ тутъ надобно? зачѣмъ тебѣ Магдану? а?

Въ калитку, закинувъ рукава чухи, вошелъ грузинъ лѣтъ двадцати-трехъ, красивый мужчина, съ застѣнчивымъ румянцемъ во всю щеку, статный, туго перетянутый серебрянымъ поясомъ, и, снявъ мокрую шапку, сталъ вытряхать ее.

Шушана такъ посмотрѣла на него, съ такимъ гнѣвнымъ выраженіемъ, что казалось, вотъ-вотъ рядъ бранныхъ словъ посыплется изъ негодующихъ устъ ея.

— Зачѣмъ тебѣ Магдану? а?

— Извините, пожалуйста, — отвѣчалъ грузинъ, не совсѣмъ спокойнымъ голосомъ: — меня просилъ квар-

тальный, знакомый мой, съ Авлабарской части, отыскать Магдану. Онъ было хотѣлъ самъ идти, да я уже ему сказалъ: сидите; я пойду и все дѣло устрою...

Въ саклѣ въ это время была мертвая тишина: всѣ уши были насторожѣ, всѣ глаза были устремлены къ дверямъ.

— Квартальный! прошептала Магдана.

— Какой квартальный? проговорила тетка.

— Извините, пожалуйста,—продолжалъ грузинъ:— надо же кому-нибудь распорядиться какъ слѣдуетъ. Въ саклѣ мертвое тѣло, а нѣтъ ни хозяина, ни хозяйки, ни работницы,—никого нѣтъ.

— *Рамбавія*! *) мертвое тѣло?

— Какое мертвое тѣло? Господи Іисусе!

И Шушана перекрестилась.

Никакими словами не передать вамъ, какой испугъ изобразило вдругъ лицо Магданы — исчезъ малѣйшій слѣдъ малѣйшаго румянца; казалось, вдругъ оно покрылось инеемъ. Руки упали на колѣни, и глаза, съ выраженіемъ тревоги, неподвижно остановились на спокойно сумрачномъ лицѣ неожиданнаго вѣстника, котораго Шушана пригласила въ саклю, для необходимыхъ объясненій.

Само собой разумѣется, что начались разспросы. Грузинъ нѣкоторое время былъ въ такомъ смущеніи, что, казалось, самъ забылъ, для чего пришелъ и какую принесъ *рамбавію*. Долго Шушана не могла понять его и, сама не зная за что, принялась бранить бѣдную Магдану. Наконецъ испугъ Магданы разрѣшился крупными слезами: слезы такъ и бѣжали, такъ и капали... Она, въ свою очередь, стала роптать на родныхъ, за-

---

*) *Рамбавія*—что за извѣстіе! какая новость!

чѣмъ они ее удерживали и не пускали домой, какъ будто возможно было имъ удерживать ее, если бъ она сама дѣйствительно захотѣла домой уйти отъ нихъ!

Сосѣдки также принялись толковать, и вотъ, съ быстротою молніи, по всему сосѣдству разнеслась молва; всѣ узнали, что бабушка Назо умерла и мертвая лежитъ на Авлабарѣ, въ пустой саклѣ Арютюна бурдючника. «Что бъ это значило? нѣтъ ли тутъ чего-нибудь такого, чего еще никто не знаетъ?» подумали нѣкоторыя досужія головы, придерживая досужій языкъ свой до другого, болѣе удобнаго времени. Разумѣется, многіе сбѣжались въ саклю Шушаны, кто съ разспросами, кто съ совѣтами, а кто просто для того только, чтобъ постоять да послушать. Дождь же прошелъ: стало быть, въ своихъ норахъ никому не сидѣлось.

Грузинъ, принесшій новость, усѣлся на скамейку, покинутую женой Михаки, около деревянной, закрытой люльки, и такъ же, какъ и всѣ, посреди голосовъ, толковъ, слезъ и оханья, не слыхалъ онъ, какъ около него пищалъ и жалобно плакалъ грудной ребенокъ. Съ мрачной задумчивостью посматривалъ онъ на лицо испуганной и плачущей Магданы. Видя, что никто почти не обращаетъ на него вниманія, онъ вынулъ изъ-за пазухи кисетъ и набилъ себѣ маленькую лезгинскую трубочку, потомъ, пошаривъ около себя, досталъ гдѣ-то сѣрную спичку, мазнулъ ею постѣнѣ, зажегъ, закурилъ и опять молча сталъ на всѣхъ посматривать.

Наконецъ Шушана узнала, что его зовутъ Давидомъ Егорычемъ, что онъ служитъ гдѣ-то писцомъ въ конторѣ, и что, стало быть, ему можно вѣрить.

— Что теперь дѣлать? Ай! ай! что теперь мнѣ дѣлать? какая вдругъ бѣда! говорила Магдана, скрестя пальцы и раскачивая головой, съ видомъ совершеннаго отчаянія.

Нѣкоторыя пожилыя, опытныя женщины вызвались сами идти на Авлабаръ провожать Магдану; тетка Шушана также стала сбираться; но Магдана упрямилась, говорила, что она боится мертвыхъ, что у ней мужа нѣтъ, чтоу ней никого нѣтъ, и что она ничего не знаетъ.

— Оставьте меня, Христа ради, — говорила она:— пошлите за Михакой, за Егоромъ: пусть они распоряжаются.

Стали просить Давида Егорыча сходить на базаръ и сдѣлать такую милость—найти и привести Михаку.

Давидъ Егорычъ всталъ, надѣлъ шапку, мѣднымъ шпинькомъ выковырилъ трубочку, продулъ ее, положилъ въ карманъ архалука и вышелъ.

Ни Михаки, ни Егора на базарѣ не оказалось: оба, вишь, ушли куда-то въ гости; сколько ни искалъ ихъ Давидъ, не могъ найти.

Такъ прошло довольно много времени, и уже только вечеромъ рѣшилась Магдана идти домой, сопровождаемая теткой, двумя сосѣдками и Давидомъ Егорычемъ, который шелъ возлѣ нихъ, не говоря ни слова, одну руку положа за пазуху, а другую заложа за спину.

XIV.

Въ Тифлисѣ во всѣхъ открытыхъ мастерскихъ... то-есть, какъ открытыхъ? Если, напримѣръ, вамъ угодно подойти къ портному, остановитесь передъ его мастерской на тротуарѣ, и вотъ, вы уже стоите около тѣхъ самыхъ подмостковъ, на которыхъ сидятъ работники, кто съ ножницами, кто съ утюгомъ, а кто и просто съ кускомъ сыру. Откидные, длинные рукава этихъ ремесленниковъ — шапошниковъ, слесарей, оружейниковъ, портныхъ и сапожниковъ, съ утра уже висятъ такимъ образомъ, что когда вы проходите по узкому тротуару,

то задѣваете за нихъ, и они болтаются. Я сказалъ: открытыхъ, то-есть незабранныхъ еще досками, какъ это дѣлается на ночь. Итакъ, въ Тифлисѣ, во всѣхъ открытыхъ мастерскихъ, духанахъ, курняхъ и лавкахъ, по всему протяженію Армянской, Базарной улицы и по всему Майдану (т. е. Татарской площади), по вечерамъ сидятъ со свѣчками. Каждый вечеръ вся эта улица и весь этотъ базаръ издали кажутся иллюминованными: каждый торговецъ старается какъ можно больше натыкать свѣчъ, чтобъ освѣтить товаръ свой; обыкновенно съ потолка лавки спускается какой-нибудь желѣзный прутъ, и на нижнемъ загнутомъ концѣ его или вѣшается фонарикъ, или прикрѣпляется плошка, или же просто такая дѣлается штука, въ которую можно вставить сальную свѣчу. Каждый вечеръ на этихъ улицахъ шумно и многолюдно. Въ хорошемъ расположеніи духа, да еще съ желѣзными нервами весело иногда въ это время проходить или проѣхать среди ярко озаренныхъ лицъ крикливыхъ торгашей и разноплеменной толпы, освѣщенной такимъ образомъ, что у ѣдущихъ верхомъ видны только ноги да стремена, а у нищаго, уронившаго копѣйку, блеститъ затылокъ. Шумъ, гамъ, взвизгиваніе мальчишекъ на всѣ возможные голоса, щелканье подковъ, глухой шумъ пробѣгающаго стада барановъ, побрякиваніе бубенчиковъ, когда на васъ натыкается ишакъ съ перекидными кошельками, или скрипъ тяжелой, неповоротливой арбы, когда навстрѣчу къ вамъ осторожно, шагомъ, двигаются черные, ко всему на свѣтѣ равнодушные буйволы. Все это вечеромъ представляетъ картину чрезвычайно оригинальную, мѣстами темную, мѣстами фантастически освѣщенную. Часто по этой Базарной улицѣ проѣзда нѣтъ, особливо какъ пойдутъ верблюды или сопрутся обозы, пришедшіе съ Ни-

жегородской ярмарки... И по этой-то шумной, веселой улицѣ должна была проходить печальная Магдана.

Тишиной, мракомъ и уединеніемъ со всѣхъ сторонъ повѣяло на нее, когда, пройдя Базарный мостъ, противъ Метеха*), по тропинкѣ взобралась она на гору и поворотила въ закоулокъ, гдѣ была ея низкая сакля.

Всѣ шли молча. Давидъ Егорычъ, съ фонаремъ, шелъ впереди и старался Магданѣ освѣщать дорогу. Богъ его знаетъ, гдѣ это онъ досталъ фонарь: вышелъ изъ Сололакъ безъ фонаря, а тутъ появился фонарь, да еще складной, бумажный!

Гдѣ это по дорогѣ онъ успѣлъ захватить его — неизвѣстно. Никто изъ женщинъ даже и не поблагодарилъ его за такую предусмотрительность: некогда имъ было думать о благодарности. Тишиной и уединеніемъ привѣтствовалъ ихъ тотъ кривой и узкій закоулокъ, гдѣ жила Магдана; но не прошли они двадцати шаговъ, чей-то жалобный вой поразилъ ихъ невольнымъ ужасомъ. Сердце Магданы сжалось. Шушана спросила шопотомъ: «Не собака ли это воетъ? посмотрите!» Дверь въ саклю Магданы была настежь отворена и, въ темнотѣ ночи, освѣщенная тусклымъ свѣтомъ выгорѣвшей плошки, одна во всемъ закоулкѣ свѣтилась и была замѣтна. На темной кровлѣ, у трубы, съежившись, сидѣло какое-то существо и потихоньку выло нестерпимо заунывнымъ голосомъ. Трудно было понять, кто это—мужчина или женщина.

Конечно, въ Тифлисѣ не обходится ни одинъ покойникъ безъ того, чтобъ кто-нибудь не повылъ надъ нимъ, но кому бы, кажется, выть надъ трупомъ старухи,

---

*) Метехъ—замокъ на береговой скалѣ рѣки Куры. Тамъ есть старинная церковь и острогъ.

бѣдной, безродной и безпомощной? кому въ цѣломъ мірѣ была нужна или дорога она? Богъ вѣдаетъ, кто это приходилъ повыть надъ ней! Для всѣхъ это осталось неразгаданной загадкой. Когда женщины подошли уже къ самой двери, одна изъ провожатыхъ взглянула на кровлю, но плачъ затихъ и у трубы никого ужь не было. «Видно, это душа ея сама приходила повыть надъ своимъ грѣшнымъ тѣломъ», проговорила она некстати, потому что слова ея въ ушахъ Магданы прозвучали несомнѣнной истиной. Магдана остановилась у порога и ни за что не хотѣла перешагнуть его. Давидъ Егорычъ вошелъ первый, повѣсилъ свой фонарь на крючекъ, подлѣ закоптѣлаго деревяннаго столба, поправилъ свѣтильню въ плошкѣ, которая горѣла на земляномъ полу, и сталъ увѣрять женщинъ, что ничего нѣтъ страшнаго. Женщины вошли, творя молитву.

Мертвая старуха лежала на краю тахты. По всему было видно, что въ продолженіе дня заходили въ саклю, и что какой-нибудь добрый человѣкъ позаботился о приведеніи въ порядокъ бреннаго тѣла. Покойница лежала съ полуоткрытыми глазами, съ тѣмъ же тупымъ и слезливымъ выраженіемъ въ лицѣ, съ какимъ привыкли встрѣчать ее, съ тою только разницей, что къ этому выраженію примѣшивалось что-то ребяческое, — оттого ли, что рука смерти сгладила ея морщины, или оттого, что старость привела ее къ младенчеству. Тощія, окостенѣвшія руки ея были скромно сложены; вокругъ усопшей уже носился запахъ смерти.

Будь это родная мать, сестра или другъ, близкій сердцу, быть можетъ, не такъ страшно и странно было бы видѣть Магданѣ этотъ жалкій трупъ, на той самой тахтѣ, гдѣ каждый день она обѣдала, гдѣ каждую ночь спала она; но старуха, съ которой ничего и ни-

когда не было у ней общаго,—старуха, которой даже родство съ мужемъ было какое-то неопредѣленное,—старуха, которой появленіе никогда не приносило ей ни печали, ни радости, вдругъ, мертвая, по какому-то ей одной извѣстному праву, занимаетъ чужую саклю, чужое ложе, чужое изголовье; да и отчего же, наконецъ, умерла она? Не то ударъ ее доконалъ, не то объѣлась она, не то умерла съ голоду. И эта неизвѣстность безсознательнымъ страхомъ обдавала душу Магданы, одаренной отъ природы довольно живымъ, даже замысловатымъ воображеніемъ и раздражительными нервами. Въ этихъ чертахъ еще неразвившагося характера, Магдана далеко выступала изъ общаго, холоднаго типа грузинскихъ женщинъ. Быть можетъ, желчь и болѣзненность ея матери имѣли на нее вліяніе; быть можетъ... но мало ли что можетъ быть и мало ли на свѣтѣ исключеній!

XV.

— Пожалуйста, ужь не безпокойтесь! заговорилъ наконецъ ихъ молчаливый спутникъ, котораго мы и будемъ звать Давидомъ Егорычемъ, или, просто, какъ случится.—Ужь, пожалуйста, себя не тревожьте: сдѣлайте такую милость, идите ночевать въ Сололаки и ужь ни о чемъ не думайте; я сейчасъ распоряжусь: пошлю за однимъ старичкомъ и велю ему псалтырь читать. У меня братъ есть, мужъ моей сестры—священникъ; онъ для меня все сдѣлаетъ. Ужь я... только будьте спокойны... идите себѣ и спите... и ужь не думайте!

Магдана на всѣ эти рѣчи, полныя несомнѣннаго участія, низко кланялась и каждый поклонъ свой сопровождала грустнымъ: «спасибо».

— Спасибо вамъ, Давидъ Егорычъ! говорила она тихимъ голосомъ: — хотя я и не знаю васъ, Давидъ Егорычъ!

Шушана также начала благодарить, сосѣдки принялись за то же самое, и Давидъ Егорычъ не зналъ, что ужь и отвѣчать ему на такія благодарности.

— Ужь вы мнѣ только дайте ключъ отъ сакли, чтобъ я могъ... я ужь все сдѣлаю... все будетъ у меня какъ слѣдуетъ... Ничего у васъ не пропадетъ, даже лягу спать, ночую здѣсь, чтобъ только... главное—не безпокойтесь!

Такъ убѣждалъ ихъ Давидъ Егорычъ и, казалось, былъ чему-то душевно радъ: тому ли, что ему судьбою посланъ случай познакомиться съ красавицей, тому ли, что наконецъ развязавшійся языкъ его убѣдилъ Магдану возложить на него всю свою надежду, поручить ему все добро свое и воротиться въ Сололаки.

Усталая, совершенно обезсиленная длиннымъ путемъ и душевными тревогами, только что Магдана успѣла воротиться въ Сололаки въ саклю тетки Шушаны, какъ, не раздѣвшись, бросилась на тюфякъ и заснула крѣпкимъ сномъ. Въ полночь, не то вѣтеръ, который вдругъ поднялся и загудѣлъ въ трубѣ, не то платье съ узкими рукавами мѣшало ей, не то тревожный сонъ разбудилъ ее,—знаю только, что она проснулась,—проснулась и стала думать. Сначала страшныя мысли стали приходить ей въ голову: что, если бѣдная Назо умерла оттого, что она, не оставивъ дома ни куска хлѣба, поневолѣ заставила ее, бѣдную, каждый часъ ожидать себя? что, если это дѣйствительно душа ея приходила повыть на кровлѣ, видя, что никто во всемъ околоткѣ не хочетъ совершить надъ ней обряда слезъ и причитаній?

что, если каждую ночь тѣнь старухи будетъ приходить и пугать ее? Кто знаетъ, быть можетъ, она какая-нибудь колдунья! вѣдь недаромъ же говорили ей, будто Назо дала кому-то перстень съ такимъ камнемъ, на который если посмотришь, да пожелаешь дѣтей имѣть, то непремѣнно такъ и случится. Да и гдѣ это жила она? куда пропадала? чѣмъ питалась?... Эти вопросы только теперь и пришли ей въ голову. Потомъ Магдана стала думать, что было бы, если бъ не Давидъ Егорычъ! и что было бы, если бъ Арютюнъ не уѣхалъ въ Кахетію, вѣдь ничего бы не было—умерла бы старуха гдѣ-нибудь на сторонѣ, а не въ ея саклѣ... И что это ей вздумалось пустить ее? послѣднее, что взбрело ей на умъ и что всякой другой на ея мѣстѣ съ самаго начала пришло бы въ голову,—гдѣ ей взять денегъ на похороны. Отъ десяти рублей остался только полтинникъ, да еще абазъ,—итого семь гривенъ. Что ей дѣлать съ этими деньгами? Эта мысль ее встревожила, но далеко не была такъ страшна, какъ тѣнь старухи; а потому подъ утро Магдана стащила съ себя въ потемкахъ платье, разула ноги и опять заснула крѣпкимъ сномъ.

XVI.

По ту сторону Куры, на Авлабарѣ, въ эту самую ночь иныя мечты, иныя думы тревожили чей-то сонъ. Давидъ Егорычъ заказалъ дешевый, нищенскій гробъ для незнакомой нищей, отужиналъ у зятя своего, приходскаго священника, уговорилъ его принять участіе въ похоронахъ и около полуночи, веселый и бодрый, воротился домой. Чуху свою повѣсилъ онъ на гвоздикъ, шапку и поясъ положилъ на столъ, архалукъ свернулъ и засунулъ себѣ подъ изголовье, самъ съ себя стащилъ

сапоги, легъ на какой-то жесткій кожаный диванчикъ, и, закуривъ свою лезгинскую трубочку, хотѣлъ заснуть. Но что это былъ за домъ, въ которомъ обиталъ Давидъ Егорычъ! Этотъ домъ настолько же похожъ былъ на обыкновенный домъ, насколько шалашъ, сколоченный изъ досокъ, похожъ на баню. Это былъ домъ его матери: вообразите себѣ маленькую стѣнку маленькой развалины и знайте, что такая точно стѣнка, сложенная изъ квадратныхъ кирпичей и брусьевъ, на фундаментѣ изъ кусковъ дикаго камня, возвышается и, подобно крѣпости, съ двухъ сторонъ окружаетъ дворикъ. Не знаю, есть ли возможность назвать даже *маленькимъ дворикомъ* пространство отъ четырехъ до пяти квадратныхъ саженъ. Это скорѣй какія-то древнія сѣни, съ дверью прямо, съ дверью влѣво и лѣстницей съ десятью дощатыми ступеньками наверхъ. Одна изъ этихъ дверей ведетъ въ пространную и сумрачную саклю, гдѣ живетъ сама хозяйка; другая—налѣво, замыкаетъ кладовую съ кучами луку и свеклы, съ кошелкой сморщеннаго, зимовалаго винограду, съ мѣшкомъ муки и кадушкой масла. Надъ кладовой же поднимается кирпичная постройка, очевидно, новѣйшаго времени; она имѣетъ видъ свѣтелки и заключается въ одной только комнатѣ, съ каминомъ въ углу. Лѣстница со двора сперва ведетъ на небольшой балконъ, а ужь потомъ въ комнату, гдѣ и обитаетъ нашъ Давидъ Егорычъ, и гдѣ, на этотъ разъ, мы застаемъ его лежащимъ на диванѣ, въ совершенной темнотѣ, потому что до утренней зари оставалось два часа. Въ комнатѣ было одно небольшое окошечко,—даже рама была въ него когда-то вставлена; но вотъ уже лѣтъ пять или шесть, какъ Давидъ сбирается сходить за стекольщикомъ и все откладываетъ до будущей зимы, чувствуя въ душѣ, что это совершенно лишнее. Молодое, рослое

тѣло его не постигало простуды: тотъ же самый вѣтеръ, который въ эту ночь будилъ Магдану, судорожно врывался въ комнатку Давида и шумѣлъ въ трубѣ камина, а онъ лежалъ, не затворивъ дверей, даже не прикрывшись буркой и ужь нисколько не замѣчая тѣхъ усилій, съ какими этотъ вѣтеръ старался окончательно доломать гнилую раму единственнаго, квадратнаго окошечка. Младшій братъ Давида, лѣтъ пятнадцати, спалъ на войлокѣ подъ балкономъ, и, когда вѣтеръ стихалъ, разгуливая гдѣ-то вдали или гдѣ-нибудь по сосѣдству подметая кровли, Давидъ могъ бы очень хорошо слышать храпъ его, еслибъ только въ эту ночь въ ушахъ его не раздавался плачущій голосокъ Магданы.

Тотъ же самый случай смерти, который доводилъ Магдану до отчаянія, Давида приводилъ въ восторгъ. Всѣ событія этого дня, начиная съ того, какъ пошелъ онъ домой отъ сестры, и какъ, идя отъ сестры, увидалъ онъ полицейскаго въ дверяхъ уже давно ему знакомой сакли, и какъ остановился онъ, какъ сталъ говорить съ знакомымъ ему квартальнымъ, и какъ тотъ спросилъ: а гдѣ же Арютюнъ?—Уѣхалъ въ Кахетію.—А гдѣ жена его?—Ушла къ роднымъ въ Сололаки.—Такъ надо за его женой сходить: пускай хоронитъ. И какъ онъ былъ радъ идти за Магданой и какъ, наконецъ, хороша, неимовѣрно даже хороша эта Магдана! давно онъ въ церкви видѣлъ ее, да все не было случая познакомиться... Однимъ словомъ, всѣ событія этого дня, со всѣми малѣйшими подробностями, по нѣскольку разъ безпорядочно пересыпались въ головѣ его и долго, долго мѣшали спать бѣдному Давиду Егорычу.

XVII.

На другой день тетка Шушана съ большимъ неудовольствіемъ узнала, что у Магданы денегъ нѣтъ. Видно, ничего-то больше и нѣтъ, кромѣ полтинника! Магдана не поняла на этотъ разъ молчаливой тетки и стала просить Михаку дать ей взаймы, сколько можетъ, срокомъ недѣли на двѣ, или до пріѣзда мужа. Михака долго ломался, наконецъ сказалъ ей:

— Чего тебѣ надобно? похоронить колдунью? Пожалуй, я закажу ей гробъ и все сдѣлаю самъ, только въ руки денегъ тебѣ не дамъ; а что будутъ стоить мнѣ похороны, ты мнѣ заплатишь черезъ двѣ недѣли. Хочешь?

— Какъ не хотѣть!

Магдана согласилась съ радостью и, видя такое расположеніе къ себѣ родныхъ своихъ, дала себѣ слово до пріѣзда мужа не возвращаться на Авлабаръ, даже, если можно, не ходить на выносъ тѣла и ни во что не вмѣшиваться: пусть распоряжаются! Воровать же въ саклѣ нечего. Да и что за бѣда! пусть воруютъ! не ея добро. Зачѣмъ мужъ уѣхалъ: самъ виноватъ. Да и что за добро! кому оно надобно? нѣсколько горшковъ, тарелки, три кувшина, мангалъ, мѣдный рукомойникъ, котелокъ, сковорода, старые сапоги, заржавленный кинжалъ, дырявая бурка, да дырявый войлокъ! Подушки же, платье и новое одѣяло спрятаны у ней въ стѣнѣ, за дверцами, отъ которыхъ ключъ при ней; да къ тому же и Давидъ Егорычъ сказалъ ей, что все будетъ цѣло, и чтобъ она не безпокоилась.

Полиція разрѣшила на третій день, т. е. въ пятницу на Святой недѣлѣ, похоронить старуху. Не стану занимать васъ описаніемъ разнаго рода мелочей, происходив-

шихъ въ утро того дня, когда изъ двери Арютюновой сакли, на двухъ полотенцахъ, вытащили гробъ, сколоченный изъ досокъ и ничѣмъ не обитый. Не много любопытныхъ сошлось на выносъ, и мало было охотниковъ провожать старуху на кладбище. Давидъ Егорычъ, нецеремонный и уже вовсе не застѣнчивый съ своимъ братомъ—грузинами, все это время то спорилъ, то разсчитывался, и капли крупнаго пота покрывали лобъ его. Безпрестанно снималъ онъ шапку, вынималъ оттуда клѣтчатый платокъ и вытиралъ себѣ лицо и шею, начиная съ затылка. Михака все время тутъ же присутствовалъ. На тахтѣ, гдѣ лежала покойница, послѣ похоронъ явился подносъ съ молоденькой редиской, съ соленымъ грузинскимъ сыромъ, красными яицами, икрой и зеленью. Братъ Давида Егорыча въ салфеткѣ притащилъ цѣлый десятокъ теплыхъ чурековъ и кувшинъ вина. Михака выпилъ за здоровье Давида Егорыча и до тѣхъ поръ не отставалъ отъ него, пока тотъ не простился со всѣми присутствующими, не пожалъ рукъ дьячкамъ и не заперъ сакли.

— Дай-ка мнѣ ключъ-то: я отнесу его; что тебѣ ходить! сказалъ Михака Давиду.

Давидъ слегка поколебался, но отдалъ ключъ и до самаго базара проводилъ Михаку.

«Эхъ-ма!—думалъ онъ.—Хотѣлъ было самъ отнести этотъ ключъ и лично вручить его Магданѣ... Дуракъ я, что послушался и отдалъ».

XVIII.

Михака въ тотъ же день, часу въ пятомъ послѣ обѣда, зашелъ домой и объявилъ Магданѣ, что она должна ему 14 рублей за всѣ расходы.

— Если хочешь, прибавилъ онъ:—можешь завтра же домой идти.

Тутъ онъ вынулъ изъ кармана ключъ отъ ея сакли, бросилъ его къ ней на колѣни, и прежде чѣмъ Магдана открыла ротъ, чтобъ поблагодарить его за хлопоты, вышелъ вонъ, напѣвая въ носъ всѣмъ извѣстную въ Тифлисѣ уличную пѣсню: *Мовди-варъ, мовди-варъ, Соломе*, (т.. е. приди ко мнѣ, приди, Соломея)!

Магдана въ душѣ давно была нерасположена къ Михакѣ и не пропустила мимо ушей послѣднихъ словъ его: «завтра ты можешь домой идти». Магдана была обидчива, что̀ рѣдко выражалось въ ней потокомъ словъ; напротивъ, въ эти минуты надо было добиваться. отчего такъ вдругъ поблѣднѣло лицо ея... Только что вышелъ Михака, подавленная досада замѣтно бросила густую тѣнь на поблѣднѣвшее лицо Магданы. Минутъ десять просидѣла она неподвижно, съ ключемъ на колѣняхъ. Потомъ она стала собираться домой. Тетка не хотѣла отпустить ее одну и хотѣла проводить; но Магдана не отвѣчала ни слова и продолжала собираться. Тетка надулась. Четырнадцать рублей, истраченныхъ ея сыномъ, ради, Богъ знаетъ, какой мертвой нищей, считала она за величайшее одолженіе, сдѣланное ея сыномъ Магданѣ.

«И какъ же послѣ всего этого—думала она—Магданѣ поступать такимъ образомъ! не благодарить за хлѣбъ и

соль, и не уважать такой щедрой и благодѣтельной семьи своей!»

— Куда же ты теперь одна идешь? крикнула Шушана съ порога.

Магдана, затворяя калитку, отвѣчала ей:

— Пришла одна и уйду одна. Спасибо!

И вотъ Магдана, съ замираніемъ сердца, отпираетъ дверь своей печальной, безлюдной сакли. Магдана дома. Что ей дѣлать! Все, что ни попалось ей на глаза: и мужнину бурку, и войлокъ съ тахты, и свое старое платье, и даже подушку, которая была заперта въ стѣнѣ,—все это повытаскала она вонъ изъ сакли—вывѣтривать; мутаку же, на которой лежала голова старухи, подпихала она подъ тахту, съ тѣмъ, чтобы ужь не раньше, какъ чрезъ шесть недѣль ее оттуда вытащить. Вотъ уже и вечеръ. Мутно-красныя облака заволокли закатъ. Гдѣ-то въ училищѣ, по ту сторону рѣки, непрерывно-слитнымъ звукомъ послѣдній прозвонилъ звонокъ.

«Боже мой,—подумала Магдана:—въ какомъ скучномъ мѣстѣ эта проклятая сакля!»

На голыхъ доскахъ, изъ которыхъ сколочена тахта,—на доскахъ, не прикрытыхъ на этотъ разъ ни ковромъ, ни войлокомъ, усѣлась Магдана, поджавъ ножки, завѣсила глаза платкомъ и стала плакать.

Тонкій запахъ ладана напомнилъ ей слезливо улыбающееся, мертвое лицо старухи.

«Какъ я буду спать на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ лежала покойница? Куда пойду я? Что со мной будетъ? Боже мой! Боже мой!» съ отчаяніемъ въ душѣ повторяла Магдана, и когда сдернула съ лица платокъ, невольный страхъ еще пуще напалъ на бѣдную, одинокую, суевѣрную красавицу.

Красныя облака потухли; сквозь широкое отверстіе потолка мелькало потемнѣвшее небо; бѣлесоватое пятно лежало по срединѣ земляного пола; темно стало по угламъ и за столбомъ, въ углубленіяхъ старинной сакли.

Магдана отворила дверь, вышла подышать свѣжимъ воздухомъ и около стѣнки сѣла на камешекъ. Такъ на этомъ камешкѣ думала она просидѣть всю ночь до самаго свѣта Божьяго! Къ Евтиміи она не пошла ночевать, потому что у Евтиміи никогда нельзя ночевать, и потому еще не хотѣла Магдана идти къ Евтиміи, что была на нее сердита и при первой же встрѣчѣ собиралась бранить ее. Магдана узнала стороной, что это не кто другой, какъ Евтимія, которая первая, войдя къ ней въ саклю, увидала трупъ, и, вмѣсто того, чтобъ дать ей знать о томъ, пошла всѣмъ разсказывать.

Былъ одиннадцатый часъ; изъ-за потемнѣвшихъ облаковъ мелькали звѣзды.

Слышитъ Магдана, кто-то идетъ. Изъ-за угла послышались чьи-то тихіе, ровные шаги, сопровождаемые шелестомъ широкихъ канаусовыхъ шальваръ. Тѣнь мужчины въ грузинской шапкѣ обрисовалась въ темномъ воздухѣ. Магдана сдѣлала движеніе, чтобъ встать и удалиться, но голосъ Давида Егорыча предупредилъ ее.

— Доброй ночи, Магдана! сказалъ Давидъ, снимая шапку.

— Доброй ночи, Давидъ Егорычъ! отозвалась Магдана сильно взволнованнымъ голосомъ, встала съ камешка и поклонилась.

— Когда же воротится вашъ мужъ, Магдана?

— Не знаю, Давидъ Егорычъ... Очень, очень я благодарна вамъ.

— Э! что, Магдана!... Что жь вы не спите?

— Я одна боюсь, Давидъ Егорычъ.

Давидъ сталъ молчать, какъ бы въ ожиданіи, что еще скажетъ ему красавица. Грудь его медленно и тяжело дышала, и, казалось, въ то же время, онъ старался затаить свое дыханіе. На его щекахъ горѣлъ огонь. Этого огня никто бы не могъ въ эту минуту разглядѣть, потому что только звѣзды освѣщали лицо его.

— Хотите,—сказалъ Давидъ:—хотите, то-есть... я ужо пришлю къ вамъ дѣвку, то-есть... служанку сестры моей, которая замужемъ за священникомъ.

— Неужели ваша сестра замужемъ за священникомъ?

— Она ужь, того... я ужь ей велю... она ночуетъ съ вами: вамъ не будетъ страшно.

Магдана замѣтно обрадовалась.

— Я ужь не знаю, какъ и вѣрить вамъ... начала было говорить она и вдругъ замолкла.

Впервые Магдана услыхала голосъ искренней, теплой о себѣ заботливости, и ей не вѣрилось.

— Кто же вамъ закупаетъ провизію? неужели вы завтра сами на базаръ пойдете?

— Ну что жь? сама пойду. Когда былъ мужъ дома, онъ ходилъ и все покупалъ, потомъ вотъ эта старуха, что̀ умерла; а теперь я сама пойду. Что жь дѣлать?

И двѣ крупныя слезы покатились изъ глазъ ея.

Давидъ опять сталъ молчать.

— Нѣтъ, ужь этого не будетъ, чтобъ вы сами на базаръ пошли! Я вашъ сосѣдъ... началъ было онъ говорить, но разговоръ не клеился, потому что Давидъ Егорычъ въ сущности былъ самъ застѣнчивъ, какъ красная дѣвушка. — Доброй ночи, Магдана, — сказалъ онъ наконецъ, приподнимая шапку.

И вотъ опять въ уединенномъ закоулкѣ послышался удаляющійся шелестъ канаусовыхъ шальваръ, и опять Магдана сѣла на камешекъ.

XIX.

Ночь была темна попрежнему; но свѣтлѣе стало на душѣ Магданы: вмѣсто мысли о томъ, что мертвая старуха придетъ пугать ее, сталъ занимать ее вопросъ: дѣйствительно ли Давидъ Егорычъ пришлетъ къ ней служанку? И что это за добрый такой человѣкъ! Откуда онъ взялся? Какая такая счастливая мать родила его?

Давидъ исполнилъ въ точности все, что обѣщалъ. Магдана ждала и уже начинала терять надежду, какъ вдругъ — это было около полуночи — видитъ, ходитъ толстая, высокая дѣвка съ фонаремъ и останавливается, не зная, куда направить шаги свои.

— Не меня ли ты ищешь? спросила ее Магдана.

— Гдѣ тутъ мнѣ ночевать велятъ? въ свою очередь, спросила дѣвка и засмѣялась.

— А кто послалъ тебя? а? спросила Магдана и также засмѣялась.

Дѣвка была богатырскаго сложенія. Фонарь освѣтилъ два красныя полушарія: это были ея щеки. Тѣнь бѣдной Назо съежилась бы въ маленькій темный комочекъ и улетѣла бы въ трубу, если бы только могла увидѣть такую дѣвку.

— Какъ зовутъ тебя? спросила Магдана.

— Э! какъ зовутъ! Дарьей. Зачѣмъ это мнѣ здѣсь ночевать велятъ?

И она опять засмѣялась.

«Нѣтъ! — подумала Магдана. — Скажи ей, что я боюсь, она и сама, пожалуй, испугается да уйдетъ...»

— Да такъ, мнѣ скучно...

— Во-отъ! скучно!

И, никакимъ образомъ не объяснивъ себѣ, почему это Магданѣ скучно, Дарья съ насмѣшливо-подозрительной миной влѣзла въ саклю.

На другой день утромъ, часу въ девятомъ, Магдана сидѣла на тахтѣ и убирала голову. Дарья ушла прежде, чѣмъ она проснулась, и забыла фонарь свой. Магдана встала поздно, потому что ночью долго не могла заснуть: до того толстая Дарья смѣшила ее каждымъ словомъ, то цинически остря надъ толщиной своей, то доказывая ей все преимущество толщины, и въ то же время разсказывала ей про Давида Егорыча. По всему было видно, что Дарья была не послѣдней руки молодецъ и гуляка. Она спросила даже у Магданы, нѣтъ ли у ней табаку и нельзя ли затянуться трубочкой.

Магдана узнала, что Давидъ служитъ и получаетъ жалованье, что у него два брата, изъ которыхъ старшій женатъ на богатой и служитъ гдѣ-то далеко; о существованіи Петербурга Дарья не знала такъ же, какъ и Магдана.

Итакъ, Магдана встала довольно поздно и убирала голову; вдругъ дверь въ саклю отворилась и вошелъ человѣкъ, совсѣмъ незнакомый, малый лѣтъ шестнадцати, средняго роста, съ цвѣтущимъ лицомъ, немного сутулый и на видъ простоватый; подъ мышкой былъ у него пустой кулекъ. На плечахъ его былъ сюртукъ съ протертыми локтями, а на головѣ—грузинская шапка, которую онъ тотчасъ же снялъ и сталъ около двери въ почтительномъ отдаленіи, бормоча, что его прислалъ

Давидъ Егорычъ, и очень вѣжливо извиняясь, что опоздалъ прійти.

Магдана смутилась и, накинувъ на плечи платокъ, стала благодарить его, кланяться ему и посылать съ нимъ тысячу поклоновъ Давиду Егорычу.

Юноша мялъ въ рукѣ шапку, глядѣлъ немного исподлобья, добродушно улыбался и также кланялся.

Магдана, не зная, что съ нимъ дѣлать, пригласила его сѣсть на тахту.

Юноша отказался отъ этой чести и объяснилъ, что онъ присланъ съ тѣмъ только, чтобъ узнать, не пошлетъ ли она его на базаръ и не нужно ли ей чего купить.

Магдана торопливо развязала кончикъ платка, вынула полтинникъ и попросила его купить ей все, что придетъ ему въ голову.

Съ послѣднимъ полтинникомъ Магданы, проворнѣе птицы, слеталъ онъ на базаръ, купилъ и принесъ кусокъ баранины, два хлѣба, десятокъ картофелинъ, масла, пучокъ зелени и щепотку соли, потомъ спросилъ у Магданы, гдѣ у ней дрова, чтобъ развести огонь.

Этотъ вопросъ, очевидно, затруднилъ ее. На днѣ какой-то кошелки, въ заднемъ, самомъ темномъ углубленіи сакли, Магдана, перепачкавъ руки, нашла небольшую кучку угольевъ; дровъ не оказалось.

Юноша, или, лучше, *бичо* *), т. е. мальчикъ, слуга Давида, какъ начала предполагать Магдана, не удовлетворился угольями: побѣжалъ и, не говоря ни слова, притащилъ съ улицы какую-то пыльную доску, съ явными слѣдами каблуковъ, и ржавымъ кинжаломъ Арю-

*) *Бичо* отъ грузинскаго слова *Бичи*—мальчикъ.

тюна изрубилъ ее въ щепы,—однимъ словомъ, бичо оказался самымъ расторопнымъ слугою. Черезъ нѣсколько минутъ уже надъ плоской кровлей сакли, изъ отверстія, вился дымокъ. Бичо, чтобъ вытереть руки, потеръ ладонь объ ладонь, поклонился и вышелъ. Магдана присѣла на полъ, передъ пылающими, сухими щепками и стала стряпать: жарила шашлыкъ, пекла картофель и не думала о завтрашнемъ днѣ.

XX.

На третій день бичо принесъ ей подносъ съ готовымъ кушаньемъ. Видно, слуга догадался, что у Магданы ни копѣйки денегъ нѣтъ.

На четвертый день онъ явился съ тѣмъ же, и такъ продолжалось около недѣли.

Въ это время Магдана уже успѣла узнать, что бичо, или слуга Давида, есть не кто иной, какъ родной братъ его, обучающійся въ семинаріи. Дарья также зашла къ ней за фонаремъ. Одинъ только Давидъ Егорычъ какъ будто боялся переступить завѣтный для него порогъ. Боялся ли онъ сплетней, или дожидался, что Магдана какъ-нибудь сама пригласитъ его. Угодливость Давида, къ чести его, не была расчетомъ: онъ былъ не довольно развитъ для подобныхъ тонкостей. Это желаніе чѣмъ-нибудь услужить, всего вѣроятнѣе, было потребностью доброй души его. Кому не пріятно угождать такой красавицѣ, какой, по искреннему убѣжденію Давида, не было еще на бѣломъ свѣтѣ? Магдана, несмотря на все свое желаніе видѣть, благодарить и говорить съ Давидомъ, два раза вечеромъ, заслышавъ шаги его, невольно пряталась за дверью сакли; конечно, это не было кокетствомъ. Быть можетъ, чувствуя себя слишкомъ обязан-

ною, ей было совѣстно. Магдана не отдавала себѣ отчета въ своихъ чувствахъ, но понимала, что она Давиду нравится, и это льстило ей. Какъ и во всемъ, въ любви она была неопытна, что, однакожь, не только не мѣшало, напротивъ, помогало разыгрываться ея воображенію. «Что, если,—часто думала она засыпая,—вдругъ въ глухую полночь онъ войдетъ ко мнѣ, какъ я въ темнотѣ узнаю, кто вошелъ? и что скажу ему?» При этихъ мысляхъ ей не спалось, и всякій разъ, когда кто проходилъ по закоулку и за стѣной глухо раздавались шаги, сердце въ ней пугливо сжималось, и она или пряталась подъ одѣяло, или, притаивъ дыханіе, приподнималась на одной рукѣ и напрягала слухъ....

Она была одна; закоулокъ былъ глухой: дверь ея сакли запиралась висячимъ замкомъ только снаружи, когда ея дома не было, изнутри же привязывалась ремешкомъ къ гвоздику; но этотъ ремешекъ былъ давно оборванъ. Въ закоулкѣ, прямо противъ ея двери, поднимались кирпичныя стѣны недостроеннаго домика и лежали бревна: стало быть, глаза любопытныхъ сосѣдокъ не всегда могли наблюдать за ней. Но Давидъ или былъ слишкомъ сильно и истинно влюбленъ, или не зналъ, что изнутри дверь Магданы не запиралась, или боялся испугать ее. Часто однакожь въ глубокую ночь садился онъ на бревна передъ дверью завѣтной сакли и, какъ больной, лихорадочно прислушивался къ малѣйшему ночному шороху.

Иногда сбирался онъ сказать Магданѣ о своемъ намѣреніи посѣтить ее — и не могъ сказать. Несмотря на мужественныя линіи смуглаго лица, высокій ростъ и широкія плечи, Давиду было съ небольшимъ двадцать лѣтъ; выросъ онъ въ благочестивой семьѣ, и судь-

ба спасла его нравственныя силы. Давидъ Егорычъ въ этомъ случаѣ былъ рѣдкимъ исключеніемъ: онъ краснѣлъ, какъ дитя, когда замужняя сестра его, развѣдавъ, куда это на цѣлую ночь посылалъ онъ Дарью, начинала трунить надъ нимъ, приставая къ нему съ разспросами:

— Ну что, братецъ, дѣлаетъ твоя Магдана? Здорова ли твоя Магдана? Сколько разъ ты нынче къ ней заглядывалъ?

«Счастье еще мое,—думалъ про себя Давидъ, покуривая трубочку: — что сестра не знаетъ, какъ я посылаю къ Магданѣ брата, вмѣсто слуги, и откуда добываю ей кушанье».

XXI.

Несмотря на всю чистоту отношеній Магданы и услужливаго Давида Егоровича, въ Сололакахъ уже прошелъ неясный слухъ о тѣсной связи ихъ. Михака сбирался поймать Давида врасплохъ, и гдѣ-нибудь, съ товарищами, поколотить его; тетка жаловалась на плохія времена.

— Что теперь за народъ!—говорила она, перебирая четки и сердито потупившись: — бывало, какъ выдадутъ замужъ, такъ не только года три или четыре не глядишь на постороннихъ, — избѣгаешь встрѣчи и ни слова не отвѣчаешь родному брату мужа; бывало, стыдъ и срамъ, когда тесть увидитъ невѣстку съ непокрытой головой. Мало того: сколько было такихъ счастливыхъ мужей, съ которыми жены, по цѣлому году, кромѣ «*да* или *нѣтъ*», ничего и говорить не смѣли; а теперь! Что это такое! Меня моя бабушка чуть было не прокляла

за то, что я попробовала ѣсть ложкой, а не руками. Матери наши до старости лѣтъ не знали, что такое лавки и что тамъ продается.... И такъ далѣе.

Подслушать жалобы Шушаны, по случаю знакомства ея племянницы съ Давидомъ, значило въ самой живой и поразительной картинѣ представить себѣ нравы стараго времени.

Само собою разумѣется, что Шушанѣ стало небезъизвѣстно, что Давидъ небогатъ, и что пятнадцатью рублями ежемѣсячнаго жалованья нельзя содержать мать, брата, да еще Магдану. Вслѣдствіе чего, она глубоко отъ всей души стала презирать свою племянницу.

— Погоди! говорила она:—не разбогатѣешь! еще придешь ко мнѣ да поклонишься, неблагодарная!

Магдана знала, или, можетъ быть, только предполагала, что тетка на нее сердится; но не знала, за что именно, да и знать не хотѣла. Всѣ эти дни, конечно, она не вспомнила бы о сололакскихъ своихъ родныхъ, если бъ Михака два раза не заходилъ къ ней, съ грубымъ требованіемъ возврата денегъ. Магдану то бѣсило, что еще и срокъ-то платежа не вышелъ, и вотъ, въ одно праздничное утро, мы застаемъ ее въ самомъ жалкомъ расположеніи духа.

Прошло уже слишкомъ двѣ недѣли, а объ ея мужѣ не было никакого извѣстія. Каждую минуту она ждала его. Пріѣзжай Арютюнъ,—быть можетъ, впервые во всю жизнь свою, она бы обрадовалась его возвращенію.

«Боже мой! что я буду дѣлать,—думала она:—если еще пройдетъ мѣсяцъ, а мужъ не воротится?»

Михака какъ ножъ къ горлу пристаетъ: «подай да подай мои четырнадцать рублей», а у Магданы давно уже нѣтъ ни копѣйки!

Обѣдать на чужой счетъ было ей страшно совѣстно.

«Боже мой!—продолжала думать Магдана, ломая руки:—за что онъ обо мнѣ такъ заботится? чѣмъ я это заслужила? Хоть бы онъ за это позволилъ себѣ поцѣловать меня. Неужели я такая каменная, что не могу чувствовать благодарности? Долго ли это такъ продолжится? И что будетъ, если мнѣ перестанутъ обѣдъ носить? я умру съ голоду!»

Магдана накрыла лицо платкомъ, чтобъ самой не видать, какъ плачутъ и какія слезы роняютъ черные глаза ея! Неподвижно и долго такимъ образомъ просидѣла она на тахтѣ; нетерпѣливо ждала полуденнаго выстрѣла изъ пушки и придумывала, что сказать брату Давида Егорыча, который все это время такъ исправно, ровно въ полдень, приносилъ ей кушанье. На этотъ разъ ей даже хотѣлось попросить его сказать Давиду:

— Что жь онъ!... не грѣхъ ли?... Хоть бы на минуточку зашелъ къ Магданѣ. Магдана хочетъ посовѣтоваться съ нимъ, хочетъ спросить, нельзя ли хоть когонибудь послать въ Кахетію, и если нельзя... то... почему бы Давиду Егорычу хоть изрѣдка не навѣщать ея?...

Но время, хоть и казалось медленнымъ для скучающей Магданы, однакожь быстро пролетѣло надъ Тифлисомъ и давно ужь миновалъ полдень, передвинувъ часовую стрѣлку. На Штабѣ уже било три часа.

Какъ нарочно никто не отворилъ еще дверей Магданиной сакли, не пришелъ простодушно улыбающійся юноша и, по обыкновенію, въ грязной салфеткѣ не принесъ ей блюда съ кушаньемъ.

— Вотъ, нынче никто даже ко мнѣ и заглянуть не хочетъ! сказала Магдана:—вотъ какъ! Видятъ, наконецъ, что не цѣлый же вѣкъ кормить меня.

И она, рыдая, чувствовала, что не имѣетъ права

не только требовать,—не имѣетъ права желать такого вниманія.

Погода была дурная; за дверь сакли невозможно было выглянуть: на цѣлый день, съ утра, солнце заволокли туманы, шелъ дождь и сырой вѣтеръ прохватывалъ до костей. По закоулку шлепали ногами одни только каменщики, выпачканные известкой.

Магдана утерла слезы; но отъ этого не легче стало на душѣ ея. Мысль, что даже Давидъ Егорычъ позабылъ о ней, была невыносима. Тяжко было ей смотрѣть на Божій свѣтъ своими заплаканными глазками. Въ этомъ грустномъ молчаливомъ одиночествѣ, чего-чего не приходило ей въ голову. То хотѣлось ей наняться гдѣ-нибудь въ работницы и мыть бѣлье, то уйти куда-нибудь въ деревню, то подать на мужа просьбу: «такъ и такъ, дескать, ушелъ, не кормитъ и не одѣваетъ!»

XXII.

Бѣдная голодная Магдана не умѣла спокойно обдумать своего положенія и не могла безъ ропота покориться судьбѣ своей: однимъ словомъ, она волновалась, а не мыслила. Но, читатели, посудите сами: въ комъ она могла найти ту нравственную опору, которой ей самой недоставало?

Когда она была ребенкомъ, тетка Шушана не слишкомъ ли явно тяготилась ею и, стало быть, не могла научить ее сносить горе терпѣливо и безъ ропота. Михака (не заплатившій ни гроша за похороны Назо) началъ уже притѣснять ее: къ нему ли обратится она за помощію? Евтимія, Богъ знаетъ, откуда, изъ какихъ

рукъ и за что получаетъ деньги: она ли придетъ и чему-нибудь доброму научитъ?...

Все это было такъ; но такого рода размышленій не было въ неразвитой головѣ Магданы: она сама не знала, на что ей жаловаться, а жаловалась; наконецъ, ничего лучшаго не могла она придумать, какъ лечь спать и, если можно, проспать до слѣдующаго утра. Вдругъ, только что прилегла она, слышитъ, кто-то тихонько постучался въ дверь.

Магдана встрепенулась, даже какъ будто испугалась. Братъ Давида, въ качествѣ слуги, никогда не имѣлъ похвальной догадки стучаться къ ней, а всегда почти отворялъ ея саклю ногой или колѣномъ.

— Кто же это? Неужели опять ненавистный Михака пришелъ за деньгами? Уже не Арютюнъ ли изъ Кахетіи! но съ какой стати хозяину стучаться въ незапертую дверь своей родной берлоги? Боже мой! кто тамъ? Не Давидъ ли Егорычъ?

И при этой мысли Магдана вспыхнула и нетвердымъ голосомъ, но громко сказала:

— Войди!

Увы! не статный грузинъ, съ карими задумчивыми глазами, отворилъ дверь и вошелъ; вошла старуха Сусанна,—та самая Сусанна, которую, помните, принималась было бранить догадливая Шушана, встрѣтивъ ее въ Сололакахъ, около своей сакли, и даже ночью, по какому-то особенному, свойственному ей чутью, узнавъ ее...

Магдана встрѣчала ее, но ни разу не обратила на на нее вниманія,—быть можетъ, слыхала о ней, но при встрѣчѣ не могла назвать ее по имени.

Постараюсь вкратцѣ, для пущаго уразумѣнія предстоящихъ сценъ, какъ-нибудь нарисовать портретъ Сусанны.

Сусанна была тифлисская уроженка; но къ какому именно племени могла принадлежать она—это было для всѣхъ покрыто мракомъ неизвѣстности. Русскимъ она говорила, что она грузинка, а армянъ и грузинъ увѣряла, что она русская.

Одѣвалась она такъ, какъ обыкновенно одѣваются наши торговки, сидящія съ лотками на базарахъ, и зимой, въ грязь, надѣвала даже сапоги; ей было около пятидесяти лѣтъ, хотя на видъ казалось ей не больше сорока—такъ мало было морщинъ на скуластомъ, какъ будто прилизанномъ лицѣ ея. Продолговатый, тупой, здоровый носъ ея и такой же подбородокъ придавали всей нижней части лица ея грубое, деревянное выраженіе. Узкія губы свои она любила съеживать, не то съ видомъ притворной грусти, не то съ видомъ затаенной радости. Вся она глядѣла такой тихонькой, даже благочестивой скромницей. Сусанна недаромъ большой кашемировый, полинялый платокъ свой такъ замысловато набрасывала на голову, что сѣрые, узенькіе глаза ея съ желтоватыми бѣлками были постоянно въ тѣни. Сусанна, несмотря на лѣта свои, проворно передвигала ноги и также на ходу проворно переставляла палку, особенно, если шла куда-нибудь съ цѣлью и не хотѣла, чтобъ ее замѣтили. Голова Сусанны въ профиль далеко выходила впередъ, и когда она стояла облокотясь на палку, то казалась горбатой. У ней былъ претонкій слухъ; но часто она не слыхала, когда ее во все горло кликали, и проходила мимо, тряся головой сильнѣе обыкновеннаго, такъ какъ будто бы никто и не зоветъ ея. Женщины низшаго класса во всемъ довѣрялись ей; онѣ знали, что Сусанна молчалива, какъ могила, и что никакими угрозами нельзя было отъ нея добиться правды, даже если бъ вздумали давать ей

деньги. Она, быть можетъ, и призналась бы, что солгала; но въ ея сознаніи была бы точно такая же ложь, только болѣе правдоподобная и, стало быть, болѣе опасная. Ложь ея простиралась на все и на всѣхъ. Напримѣръ, Евтимія живетъ на Авлабарѣ; спросите ее:

— Гдѣ живетъ Евтимія?

— Въ Алтилерійской слободкѣ, скажетъ вамъ Сусанна, и тутъ же увѣритъ васъ, что никакой нѣтъ Евтиміи, что есть Магдана, которая сама себя иногда называетъ Евтиміею, а Магдану назоветъ Пепелой.

И такимъ образомъ, вслѣдствіе одной привычки, лгала она безъ всякой очевидной нужды, и лгала на трехъ языкахъ: по-русски, по-грузински и по-армянски. Сусанна была замужемъ, но никто такъ мало не зналъ ея, какъ мужъ, который, правда, мало обращалъ на нее вниманія. Мужъ ея былъ старый инвалидъ и нанимался въ окрестностяхъ Тифлиса ходить за ульями и стеречь пчельники. Въ лѣтніе дни никогда его дома не было. Приходилъ онъ въ Тифлисъ къ обѣду и всегда почти заставалъ Сусанну дома и одну, посылалъ ее за виномъ, за лукомъ и хлѣбомъ, обѣдалъ съ ней, отдавалъ ей какія случались деньги и ни разу не подумалъ, что хитрая Сусанна безпрестанно лжетъ. Наклонность къ деньгамъ доходила у ней до лихорадочной жадности; она копила ихъ тайкомъ отъ мужа и жаловалась ему на совершенное безденежье для того только, чтобъ выманить у него лишній гривенникъ. Чтобъ добыть рубль, она готова была на все,—знакомилась съ лакеями новопріѣзжихъ господъ и узнавала ихъ наклонности,—лѣчила больныхъ вольнонаемныхъ грузинъ или имеретинъ, и за нихъ получала то жалованье, которое они не могли или не успѣли получить съ господъ своихъ. Такъ иногда за грошовыя лѣкарства брала она десятки

рублей. Сусанна очень хорошо знала тѣ числа, когда казначеи выдаютъ служащимъ жалованье, и, не хуже всякаго кредитора, умѣла пользоваться временемъ.... Но довольно! надѣюсь, читатели поймутъ, что́ это была за женщина.

XXIII.

Войдя въ саклю Магданы, хитрая старуха въ недоумѣніи стала оглядываться на всѣ четыре стороны. Глаза Магданы, жаркіе и влажные отъ недавнихъ слезъ, сердито слѣдили за ея малѣйшимъ движеніемъ. Наконецъ Магдана собралась спросить старуху, что ей надобно.

Старуха все еще продолжала съ глупой миной оглядывать саклю, какъ будто не туда зашла, потомъ посмотрѣла на Магдану и опустила на полъ узелъ, который держала въ рукѣ.

— Ва! куда я зашла! И не думала, что хозяйка знакомая! Эко дождь-то идетъ: вся мокрехонька, весь подолъ хоть выжми; хоть отдохну маленько да повысохну... Э! башмаки-то, гляди ты, какіе; всѣ въ грязи, и обтереть-то нечѣмъ! Слава еще Богу, что нашла знакомую... Здравствуй, Магдана! добраго тебѣ здоровья и всякаго благополучія.

Сусанна поклонилась. Магдана молчала.

— Ну, что твоя старая тетка Шушана дѣлаетъ? Вѣдь я жь думала, что ты у ней въ Сололакахъ живешь.

— Никогда я тамъ и жить не буду! отвѣчала Магдана съ неудовольствіемъ.

Лицо старухи показалось ей знакомо.

«Вѣроятно,—подумала она,—какая-нибудь сололакская».

Старуха усѣлась на тахтѣ и развязала узелъ.

— Что это ты несешь? спросила ее Магдана, еще не выходя изъ того положенія тоски и полу-дремоты, въ какомъ застала ее неожиданная гостья.

— А вотъ посмотри, *шеничереме*; не купишь ли? Дали продавать добрые люди: посмотри, хороши ли вещи-то?

Сусанна вынула и разложила на тахтѣ, около босыхъ ножекъ Магданы, щегольской товаръ свой. Кто видалъ нарядъ и головной уборъ грузинокъ, тотъ пойметъ, на что годились вещи, принесенныя Сусанной. Тутъ были три куска бѣлымъ шелкомъ вышитой ткани, для покрывалъ (личаки), были нагрудники (гулиспери) изъ ярко-алаго бархата; черныя атласныя полоски, съ пестрыми шелковыми звѣздочками (товсакреви), нѣсколько свертковъ лентъ; мелкія кружева и красные пояса, съ золотыми кистями, вязаные сѣткой изъ сученаго шелку,—пояса, нужные въ Грузіи настолько же для женщинъ, насколько и для мужчинъ.

Магдана сначала смотрѣла на всѣ эти соблазны съ какимъ-то неестественнымъ апатическимъ равнодушіемъ, даже какъ-то издали на все косилась, потомъ лѣниво протянула руку, какъ будто нехотя перекинула черезъ ладонь одну изъ вышитыхъ лентъ, отвела руку въ сторону и стала смотрѣть.

Понемногу пестрый товаръ сталъ развлекать ее; наконецъ она вполголоса стала хвалить его, слегка прищелкивая языкомъ и качая головой съ видомъ одобренія.

— Вотъ такъ личакъ! вотъ такъ это личакъ! заговорила Магдана и накинула его себѣ на голову.

Мало-по-малу ею овладѣлъ дѣтскій восторгъ.

— Шеничереме! душенька! позволь мнѣ убрать голову; я сейчасъ достану зеркальце и посмотрюсь.

— Э! что тутъ мять товаръ! сказала Сусанна: — ты купи, да и щеголяй! Чай, у тебя денегъ-то куча!

И она искоса посмотрѣла въ лицо Магданы.

— Откуда же куча?

— Да, ишь ты, повѣрю я, что у тебя денегъ нѣтъ! Какъ не такъ! Такая красавица, да денегъ нѣтъ!

— Молчи, пожалуйста,—съ сердцемъ сказала Магдана:—я и безъ тебя знаю, что я красавица; пріѣдетъ мужъ, возьму у него денегъ, тогда приди, и я куплю себѣ что-нибудь или заставлю его себѣ купить, все, что хочу—вотъ и все.

— Мужъ! нашла себѣ мужа!—усмѣхнувшись сказала старуха и махнула рукой, какъ будто мужъ Магданы, въ видѣ комара, сталъ летать у нея подъ носомъ.—А что, скоро ли его изъ Метеха-то *) выпустятъ?

— Кого изъ Метеха?

И Магдана съ ужасомъ подняла на нее томные глаза свои и скрестила пальцы.

— Какъ кого?

— Вай-ме! что ты говоришь: изъ Метеха!

Магдана всплеснула руками, чуть было не вскочила и не измяла узла старухи.

— А гдѣ же онъ, какъ не въ Метехѣ? — Эка, не знаю я, что ли?

— Что ты знаешь? что ты знаешь? Вѣдь онъ въ Кахетіи! Вѣдь онъ ушелъ въ Кахетію!

— А, ну вотъ молодецъ, коли ушелъ въ Кахетію.

У Магданы отлегло отъ сердца.

— Кто же тебѣ сказалъ, что онъ въ Метехѣ?

— Да, кабы не ушелъ, — преспокойно продолжала старуха, укладывая узелъ:—кабы не ушелъ, плохо бы

---

*) Старый замокъ, острогъ и долговое отдѣленіе.

ему было: шутка сказать, въ одномъ духанѣ сто монетъ задолжалъ. Дай Богъ память, никакъ эдакъ на шестой недѣлѣ поста, не то на Страстной, его искала полиція. Ну, я такъ и думала, что въ Метехѣ. Молодецъ, что ушелъ; пусть ужь лучше и не пріѣзжаетъ. На него и такъ, слыхать, по одному дѣлу есть подозрѣніе.

— Какое подозрѣніе?

— Ну, да ужь что жь тутъ все-то говорить! промурлыкала Сусанна,—Богъ съ нимъ! Вѣдь онъ мнѣ не врагъ какой. Слава Богу, что въ Кахетіи. Нешто духанщики и тамъ найдутъ его, коли не спрячется.

— Ну, а если найдутъ, если найдутъ, что жь они ему сдѣлаютъ?

— Что сдѣлаютъ? ну, что, — ну, побьютъ его до полусмерти, а не то и совсѣмъ убьютъ. А, ва! развѣ ты не знаешь, что это за народъ духанщики? недаромъ имъ по ночамъ духанъ-то запирать велятъ.

Тревога и безпокойство до такой степени овладѣли Магданой, что она долго ни слова не могла выговорить.

— Что мнѣ теперь дѣлать? заговорила она, ломая пальцы: — одинъ Михака заѣстъ меня; утоплюсь въ Курѣ... больше мнѣ дѣлать нечего.

— Ну, красавица моя,—сказала Сусанна, увязавъ узелъ:—я пойду: что мнѣ у тебя? Дождикъ-то никакъ совсѣмъ прошелъ.

— Останься! сказала Магдана, сквозь слезы, разстроеннымъ голосомъ.

— Да я, пожалуй, для тебя, что ты хочешь, готова,—я пожалуй; да вѣдь вотъ, тамъ, то и се—у меня тоже мужъ, такой сердитый.

— Пожалуйста, посиди; я совсѣмъ больна, заболѣю... умру, никто и знать не будетъ, и хоронить будетъ не-

кому; ты еще мнѣ скажи что-нибудь; ты, вѣрно, еще что-нибудь знаешь, да не говоришь

Не такъ ли ребенокъ уговариваетъ свою няню остаться съ нимъ? Магдана, дѣйствительно, во многихъ отношеніяхъ была ребенокъ.

— И! да что мнѣ знать-то? Вотъ, коли хочешь монетъ шестьдесятъ, а можетъ быть, и сто, положить въ карманъ,—пожалуй, такъ и быть, я помогу тебѣ.

— Пожалуйста, помоги! сказала Магдана, сама не зная, что говорить, и съ безотчетнымъ увлеченіемъ схватила старуху за руку.

Лукавая старуха просидѣла въ саклѣ Магданы до самыхъ вечеренъ, и что она тамъ говорила ей — неизвѣстно. Знаю только, что старухѣ удалось уговорить Магдану. Вмѣстѣ вышли онѣ изъ сакли, сошли по сырой горѣ на грязную улицу, сѣли на извозчичьи дрожки и поѣхали. Магдана сама не знала, куда везутъ ее. Солнце въ это время расчистило облака и розовымъ блескомъ освѣщало зубцы развалинъ.

XXIV.

Давидъ Егорычъ скоро замѣтилъ висячій замокъ на дверяхъ завѣтной сакли, и долго потомъ ожидалъ возвращенія Магданы. По цѣлымъ часамъ съ горы смотрѣлъ онъ на мостъ, перекинутый черезъ Куру, и прилежно, съ тоской на сердцѣ, разсматривалъ бѣлые караваны сходящихся и расходящихся женщинъ. Увы! Магданы не было.—Что бы это такое значило? Давидъ понять не могъ. Долго толковалъ онъ съ своимъ братомъ и даже упрекалъ его: «Вотъ, видишь, братъ,—говорилъ онъ:—ты не хотѣлъ позаботиться — не отнесъ ей кушанья!» Братъ оправдывался тѣмъ, что знакомая пурня

была заперта, и что въ долгъ ему никто не вѣритъ...

Это оправданіе нисколько не утѣшило Давида. Онъ былъ такъ огорченъ, какъ будто кто его обидѣлъ самымъ жестокимъ образомъ. Внезапное отсутствіе Магданы приписалъ онъ своему къ ней невниманію. Она должна была уйти, бѣдняжка, потому, что онъ позабылъ похлопотать о ней! И эта мысль такъ мучила Давида, какъ преступника мучила бы совѣсть.

Въ надеждѣ видѣть Магдану въ Сололакахъ (гдѣ ей и быть, какъ не въ Сололакахъ!), онъ надвинулъ на бекрень шапку и пошелъ туда,—ходилъ тамъ цѣлый часъ, но ни на земляныхъ кровляхъ, ни въ растворенной двери на порогѣ Шушаниной сакли не видалъ онъ знакомаго очерка стройной головки съ сердитыми глазками и дѣтски добродушною улыбкой. Взлѣзалъ онъ на гору, откуда вода спускается внизъ по деревянному жолобу, и откуда виденъ каждый бугоръ, каждый садикъ, каждый дворикъ сололакскихъ обывателей со всѣми ихъ горшками, пѣтухами и собаками. Но не видать Магданы... нѣтъ ея въ Сололакахъ!

Поздно, когда закатилось солнце, закуривъ съ горя трубочку, спустился онъ внизъ и тихими шагами пошелъ мимо духана, вдоль Сололакской улицы.

Тутъ встрѣтился съ нимъ Михака и грубо остановилъ его.

— Что жь ты не покупаешь мнѣ вина? сказалъ онъ ему, глядя исподлобья и иронически улыбаясь.

— А зачѣмъ я стану тебѣ вино покупать? ты мнѣ купи, коли хочешь!

— А! зачѣмъ? Небось, гулять съ Магданой такъ твое дѣло? Погоди, пріѣдетъ Арютюнъ, намнетъ онъ тебѣ бока, да и ей достанется!

— Что? возразилъ Давидъ, сжимая кулакъ, и лицо его вспыхнуло.

Михака боязливо встрѣтилъ мрачный взглядъ его, понялъ, въ чемъ дѣло, и, не желая затѣять драки, какъ ни въ чемъ не бывало отошелъ въ сторону.

Эта встрѣча ничего хорошаго не предвѣщала. Мысль, что Магдану успѣли уже оклеветать въ семейномъ кругу ея, не могла принести Давиду никакого утѣшенія. Воротясь домой мимо запертой завѣтной сакли, Давидъ не спалъ всю ночь, сбирался поколотить Михаку и все за что-то мысленно бранилъ себя.

XXV.

На другой день утромъ Давидъ Егорычъ сидѣлъ въ конторѣ и чинилъ перья. Это обычное занятіе, несмотря на тупость перочиннаго ножичка, не могло ни занять, ни развлечь его. Дали ему наконецъ переписать бумагу. Рука у Давида была довольно четкая, но русская грамота не совсѣмъ далась ему; къ счастію, въ той конторѣ, гдѣ довелось служить ему, никто не нуждался въ знакахъ препинанія и никакого различія не замѣчалось между буквами *ѣ* и *е*.

Въ это несчастное утро, Давидъ ни слова не понималъ изъ всего того, что управляющій ему подсовывалъ. Вмѣсто того, чтобъ написать *на отношеніе*, онъ написалъ—на *отращеніе*. Изъ устъ начальника ему готовился строгій выговоръ; но пока бумага дожидалась подписи, Давида уже не было въ конторѣ.

— Братъ! поди сюда! кричалъ онъ, опрометью сбѣгая съ лѣстницы.

Братъ его шелъ въ семинарію, съ тетрадями подъ мышкой.

— Братъ!

— Что тебѣ?

— Ты изъ дому?

— Изъ дому.

— Ну, что?

— Нѣтъ, еще не пришла.

— Виситъ замокъ?

— Виситъ.

— Постой! ты нигдѣ не видалъ ея?

— Нигдѣ.

— Хорошо,—да купи же то, что я тебѣ говорилъ, не забудь, пожалуйста! авось, придетъ.

— Хорошо; я, быть можетъ, какъ нибудь уйду изъ класса.

— Уйди скорѣй! чего ты тамъ не видалъ! да поскорѣй! я буду ждать тебя.

Надъ лѣстницей появился сторожъ: Давида позвали въ контору. Начальникъ его, кончившій курсъ въ тифлисской гимназіи, считалъ себя очень ученымъ человѣкомъ, читалъ нѣсколько нумеровъ «Библіотеки для Чтенія», слѣдилъ за политикой по «Сѣверной Пчелѣ», зналъ наизусть нѣсколько стихотвореній Пушкина, а потому и не могъ не замѣтить ошибки, сдѣланной Давидомъ. Давидъ, опустя голову и заложа руку за пазуху, долженъ былъ выслушать порядочную нотацію. Къ счастью его, начальникъ былъ именинникъ, въ хорошемъ расположеніи духа, напомаженъ и лицо его пріятно лоснилось. Нотація кончилась тѣмъ, что Давида пригласили на именинный ужинъ и поручили ему нанять персидскаго пѣвца Сатара, со всѣми его музыкантами.

Въ этотъ день всѣ служащіе вышли изъ конторы цѣлымъ часомъ ранѣе.

Были позднія сумерки.

— Гдѣ Михака? рѣзкимъ голосомъ спросила Магдана, неожиданно появившись въ Сололакахъ, на порогѣ Шушаниной сакли, не снимая чадры и не входя въ комнату.

Тетка Шушана и жена Михаки подняли глаза и открыли рты. Только что вдвоемъ толковали онѣ о Магданѣ, потому что и толковать-то имъ было больше не о чемъ.

— Отдайте Михакѣ деньги,—сказала Магдана.

И четырнадцать цѣлковыхъ брякнули на тахту.

— Считайте, всѣ ли.

— Да зайди! что ты стоишь! зайди! заговорила озадаченная тетка.

— Всѣ ли четырнадцать? что, всѣ? ну, мы теперь квиты. Спасибо! прощайте!

Магдана повернулась, поправила на головѣ чадру и пошла.

Жена Михаки выбѣжала на бугоръ, посмотрѣть, куда и съ кѣмъ пойдетъ Магдана.

Магдана шла одна, и граціозно колыхающаяся чадра ея скрылась за поворотомъ улицы.

— Господи Боже мой! заговорила тетка. — Въ кого она уродилась, что это за выродокъ! Дѣлаетъ, что хочетъ, ходитъ одна, изъ рукъ совсѣмъ выбилась. Гдѣ она достала деньги? Хорошо еще, что этотъ Давидъ ей денегъ далъ. Вишь, не захотѣла даже зайти. Каково! А?

И тетка весь вечеръ, перебирая четки, негодовала и толковала, толковала и негодовала.

XXVI.

У аптеки, на углу Эриванской площади, Магдана махнула рукой извозчику, сѣла на дрожки и чадрой закутала лицо свое. Тысячи вечернихъ огней уже свѣтились по всему протяженію базарныхъ улицъ. На мосту, показалось ей, прошелъ Давидъ; но она боялась и обернуться для того, чтобъ удостовѣриться. У часовни святого Або, Магдана бросила извозчику двугривенный и, запыхавшись, взбѣжала на гору. Безпрестанно чудилось ей, что чьи-то шаги ее преслѣдуютъ. Ключъ отъ двери ея сакли долго не могъ попасть въ замочную скважину. Наконецъ дверь отворилась и жалобно скрипнула. Сакля, послѣ комнатъ, роскошно убранныхъ, показалась ей могилой. Поздно вспомнила Магдана, что у ней нѣтъ ни огня, ни сѣрной спички, ни сальнаго огарка, ни даже свѣтильни въ желѣзномъ ночникѣ. Ощупью добралась она до своей тахты, локтями оперлась на колѣни, поникла головой, руками закрыла лицо и стала думать.

«Ахъ!—думала она:—зачѣмъ я сюда воротилась? какая теперь будетъ жизнь моя! Уфъ! у него, должно быть, много денегъ: не обманула меня проклятая Сусанна».

Раздѣвшись въ темнотѣ, она легла и думала заснуть спокойно; но впечатлѣнія проклятаго дня были такъ новы и такъ неожиданны, что ей казалось, передъ ней прошелъ какой-то пестрый сонъ. Ей не вѣрилось, чтобъ у нея въ платкѣ было завязано нѣсколько червонцевъ.

Забыла Магдана, какъ крѣпко и сладко спала она, когда у ней вовсе не было денегъ, въ ту ночь, когда она собиралась къ заутрени. Видно, такъ было суж-

дено, чтобъ столѣтняя старушка Назо пришла съ десятью рублями разбудить ее.

Не спалось Магданѣ. Гдѣ-то вдали на башенныхъ часахъ пробила полночь. Это была едва ли не первая полночь, которая застала ее съ открытыми глазами.

Ея совѣсть что-то говорила ей, — но что такое? Магдана не могла отдать себѣ отчета, точно такъ же какъ никому на свѣтѣ не могла бы она растолковать своей безсонницы. Нужда, въ видѣ старухи Сусанны, толкнула ее на скользкій и мрачный путь. Еслибъ Магдана была развита, кто знаетъ—быть можетъ, она оттолкнула бы отъ себя Сусанну.

Она готова была забыться въ дремотѣ; какой-то страшный сонъ уже начиналъ вкрадываться и опутывать ея воображеніе, какъ вдругъ дикое мяуканье, или, лучше сказать, пронзительно жалобный вой кошекъ, среди мертвой тишины, раздался у ней подъ самымъ ухомъ; легкій шумъ скачковъ и царапанье когтей, по непонятной причинѣ, вдругъ напомнили ей покойницу. Ея слезливая улыбка какъ будто пронеслась въ темнотѣ, надъ изголовьемъ. Магдана пугливо подняла голову. Ужасъ захватилъ ея дыханіе: чья-то рука, въ эту минуту, стала шарить за дверью и дверь сакли съ улицы тихонько стала отворяться. Магдана вскрикнула, черная фигура протянула руку, опять тихонько затворилась дверь, и опять настало мертвое молчаніе.

«Въ послѣдній разъ я здѣсь ночую!» закрывъ глаза, проговорила бѣдная Магдана и, дрожа всѣмъ тѣломъ, шопотомъ стала отмаливаться отъ нечистой силы.

Наконецъ усталость и успокоительное пѣніе пѣтуховъ мало-по-малу погрузили ее въ давно желанный, ко всему равнодушный сонъ.

Жаркое солнце поздняго тифлисскаго утра давно

уже свѣтило въ трубы и бросало косвенныя тѣни отъ деревянныхъ столбиковъ, подпирающихъ навѣсы надъ балконами. Былъ уже десятый часъ, а головка Магданы, съ заспанными глазками, еще ни разу не выглянула въ закоулокъ и ни одной живой души не порадовала своимъ появленіемъ.

XXVII.

У Давида нечиста была совѣсть. Около осьми порядочныхъ азарпешъ вина за ужиномъ у главнаго конторщика, конечно, не могли свалить его; но въ головѣ его порядочно шумѣло, когда, часу въ первомъ ночи, возвращался онъ домой на Авлабаръ.

Заломя на затылокъ свою черную баранью шапку и на ходу раскачиваясь, не пропускалъ онъ ни одной калитки, мимо которой шелъ, чтобъ не ударить въ нее кулакомъ, и, радостный, отправлялся далѣе. На Авлабарѣ близость завѣтной сакли значительно поубавила въ немъ юношеской веселости. Образъ Магданы, на время отуманенный винными парами, вдругъ явился ему во всемъ блескѣ обаятельной красоты своей. Онъ вспомнилъ, что ея не было дома двое сутокъ, что ужь давно-давно онъ не видалъ ея, и, надѣюсь, догадливые читатели поймутъ, чья рука въ эту ночь отворила и затворила ту дверь, за которой вскрикнула трусливая Магдана.

Давидъ проснулся съ неловкимъ чувствомъ на душѣ. Хотѣлъ онъ во всемъ сознаться Магданѣ и просить, умолять ее сжалиться надъ его страданіями.

Когда Магдана выглянула въ закоулокъ, Давидъ уже сидѣлъ на бревнахъ около сакли и покуривалъ трубочку. Магдана сначала отшатнулась, потомъ, прикрывъ

рукавами грудь свою, привѣтливо и грустно улыбнулась. На головѣ ея висѣлъ желтый платокъ, собольи бровки лоснились, на щекахъ рдѣлъ румянецъ жаркаго сна, медленнаго пробужденія и неожиданной встрѣчи. У Давида сердце болѣзненно сжалось; онъ всталъ и судорожно передернулъ плечами, какъ бы желая показать себя молодцомъ и не робѣть нисколько.

— Не видали ли вы *тулукчи* (т. е. водовоза), Давидъ Егорычъ? прощебетала Магдана ласковымъ голосомъ, въ половину выглядывая изъ-за полурастворенной двери.

— Гдѣ вы пропадали, Магдана? грустно спросилъ Давидъ.

— Какъ это вамъ не скучно здѣсь сидѣть на бревнахъ, Давидъ Егорычъ?

Давидъ смутился.

— Мнѣ ужь не скучно! заговорилъ онъ.—Мнѣ ужь ничего! я тутъ буду день и ночь сидѣть—вотъ что!

И Давидъ улыбнулся тою горькой и неопредѣленно глупой улыбкой, какою обыкновенно улыбается добрый человѣкъ въ минуту затаеннаго страданія.

— Вы были у родныхъ, Магдана?

— Да... нѣтъ... я была... мнѣ было нужно, Давидъ Егорычъ... я была у одной знакомой... мнѣ были нужны деньги, Давидъ Егорычъ.

— Ужь да, конечно, деньги всегда нужно... Богъ съ вами!... Зачѣмъ вамъ были нужны деньги, Магдана?

— Да Михака день и ночь приставалъ ко мнѣ, какъ ножъ къ горлу. Вотъ, видите, когда умерла Назо, онъ взялся заказать гробъ и истратилъ четырнадцать монетъ: я обѣщалась заплатить ему. Что жь мнѣ было дѣлать, Давидъ Егорычъ!

Горькая усмѣшка въ одну минуту слетѣла съ лица

Давида; глаза его пристально и задумчиво стали смотрѣть въ глаза красавицы; густой румянецъ негодованія отъ ушей до самыхъ усовъ разлился по смуглымъ щекамъ его. Казалось, онъ раздумывалъ, говорить ли ему или нѣтъ.

— Ну, ужь нѣтъ, Магдана,—нѣтъ!

И Давидъ при этомъ такъ рѣшительно тряхнулъ головой, что Магдана вздрогнула, быстро опустила и подняла рѣсницы и, слегка сдвинувъ брови, робко посмотрѣла ему въ лицо.

— Нѣтъ ужь, вретъ Михака! Я вчера чуть-чуть не поколотилъ его, а ужь поколочу же когда-нибудь... ни копѣйки не заплатилъ онъ за похороны, даже не зналъ, гдѣ я и гробъ-то заказалъ... Да, вретъ Михака: вы ничего не должны ему,—да!

— Какъ! неужели? проговорила Магдана, всплеснувъ руками, и солнце знойными лучами освѣтило грудь ея.

— Ну, ужь даромъ же вы отдали ему четырнадцать рублей.

Неопытная Магдана никакъ не могла вообразить, чтобъ ее можно было такъ просто и легко обманывать; она такъ была озадачена, что даже гнѣвъ и досада не могли скоро вытѣснить изъ души ея чувства, похожаго на удивленіе.

— Вотъ каковы мои родные, Давидъ Егорычъ! знаютъ, что у меня ни копѣйки нѣтъ, знаютъ, что если бъ не вы, я умерла бы съ голоду...

Магдана тяжело вздохнула.

— Дай вамъ Богъ,—продолжала она:—всякаго добра и благополучія за вашу добрую душу... Боже мой! лучше бы я вамъ отдала эти деньги.

— Ну ужь, не надо мнѣ,—подхватилъ Давидъ, и, самъ не зная, что ему дѣлать, сталъ набивать свою

трубочку.—Вы мнѣ ничего не должны. И Давидъ опять горько улыбнулся; признаніе совсѣмъ уже готово было сорваться съ языка его. Но Магдана, пораженная мыслью, что Михака обманулъ ее, забыла все остальное. Тѣнь гнѣва уже носилась надъ лицомъ ея. По глазамъ ясно можно было видѣть, что въ эту минуту не о любви помышляетъ голова ея.

— Чума меня возьми! — заговорила она, сдвинувъ брови:—если я не возьму этихъ денегъ... Такъ-то они со мной поступаютъ!... Завтра... нѣтъ! нынче, сейчасъ пойду... Пожалуйста, Давидъ Егорычъ, — если увидите *тулукчи*, пошлите его ко мнѣ: у меня воды ни капли нѣтъ.

— Сейчасъ, Магдана.

— Зачѣмъ я, дура, поспѣшила отдать имъ эти деньги! лучше бы я въ Куру ихъ бросила, говорила Магдана, ходя по саклѣ, то собираясь плакать, то собираясь умываться и идти въ Сололаки бранить обманщика.

XXVIII.

Въ дѣлахъ любви все зависитъ отъ малѣйшаго, часто неуловимо пустого случая. Что, если бъ два дня тому назадъ братъ Давида по обыкновенію зашелъ къ Магданѣ съ кушаньемъ? что, если бъ въ эту ночь воображеніе Магданы не было ничѣмъ встревожено? что, если бъ Давидъ ни слова на этотъ разъ не сказалъ Магданѣ о томъ, что Михака обманулъ ее? Не черезъ это ли онъ лишилъ себя возможности продолжать начатый разговоръ, ибо внутренно, безсознательно понялъ, что уже признаніе не кстати, что надо идти за водовозомъ—и только.

Сама судьба Магданы повела бы ее совсѣмъ другимъ путемъ, и я бы долженъ былъ вамъ разсказывать дру-

гую повѣсть или вовсе ничего не вышло бы для нашего разсказа, если бъ, напримѣръ, Арютюнъ не уѣзжалъ въ Кахетію, а тетка Шушана не повстрѣчалась съ Сусанной, да не начала бранить ее. Боже мой! отъ какихъ маленькихъ случаевъ зависитъ иногда судьба всей жизни!

Давидъ Егорычъ разсчитывалъ навѣрное увидаться съ Магданой вечеромъ, даже далъ себѣ слово безъ приглашенія зайти къ ней въ саклю, если только Магдана сама не выйдетъ на кровлю или не сядетъ въ закоулкѣ на камешекъ. Весь день онъ былъ какъ будто самъ не свой, обѣдалъ у сестры и только что всталъ изъ-за стола, хотѣлъ сейчасъ уйти, но, ради приличія, выпилъ стаканчикъ кофе и выкурилъ трубочку. Все время онъ сидѣлъ какъ на иголкахъ и ушелъ не простясь. Въ душѣ его былъ какой-то хаосъ; то хотѣлъ онъ напиться, чтобъ быть смѣлымъ до дерзости, то боялся выпить лишній стаканъ вина. Глаза его были влажны, смуглое лицо горѣло; походка была какъ-то медленна и нерѣшительна. То онъ думалъ о Магданѣ, то сбирался сходить къ казначею и, преодолѣвъ свою совѣстливость, выпросить у него въ счетъ жалованья рублей десять серебромъ: ему были нужны деньги для расплаты съ пурщикомъ за тѣ блюда, которыя онъ посылалъ къ Магданѣ.

Отъ сестры Давидъ Егорычъ пошелъ на базаръ, потомъ къ Московской заставѣ, потомъ въ Сололаки. Тамъ постоялъ онъ около сакли, гдѣ живетъ Шушана, и никого не видѣлъ; только съ сосѣдней кровли собачонка на него полаяла.

«Эхъ, я, дуракъ! вѣрно, она давно воротилась домой; станетъ она теперь у родныхъ сидѣть!» подумалъ Давидъ и пошелъ на Авлабаръ.

Увы! на дверяхъ завѣтной сакли висѣлъ замокъ.

Ожиданіе вечера слилось въ душѣ его съ ожиданіемъ Магданы.

«Не можетъ же быть, чтобъ она не воротилась! Неужели же она ночуетъ у родныхъ своихъ?»....

Пришелъ вечеръ — не пришла Магдана, пришла ночь—не пришла Магдана.

Въ головѣ Давида Егорыча въ первый разъ мелькнуло подозрѣніе. Младшій братъ его истинно по-братски раздѣлялъ его безпокойство: часовъ до одиннадцати ночи нѣсколько разъ бѣгалъ онъ посмотрѣть, не отперта ли наконецъ сакля Магданы, и даже щупалъ желѣзный висячій замокъ, пробуя, дѣйствительно ли онъ запертъ или такъ виситъ, для одного только виду, какъ это часто случается въ Грузіи.

Въ комнатѣ Давида на столѣ стоялъ подносъ съ покрытыми тарелками и двѣ бутылки вина; это былъ ужинъ, приготовленный для Магданы. Неизвѣстно, гдѣ онъ вдругъ добылъ денегъ; но на этотъ разъ Давидъ былъ перетянутъ простымъ ременнымъ, а ужь не серебрянымъ поясомъ. Наконецъ, усталый братъ его прилегъ подъ балкончикомъ на разостланный войлокъ и только что успѣлъ прилечь, захрапѣлъ самымъ завиднымъ образомъ. Давидъ Егорычъ, напротивъ, не спалъ всю ночь: то надѣвалъ онъ сапоги и, постоявъ на балкончикѣ, уходилъ куда-то изъ дому, то возвращался домой, выколачивалъ и продувалъ свою трубочку, или неподвижно лежалъ на своемъ жесткомъ диванчикѣ, закрывъ глаза и разстегнувъ грудь, для которой въ эту ночь, казалось, мало было воздуха.

XXIX.

Прошло уже около трехъ недѣль. Магдана не возвращалась: она исчезла; на дверяхъ ея сакли день и ночь попрежнему висѣлъ все тотъ же ржавый замокъ, и никто изъ сосѣдей не зналъ, куда ушла она. Говорили, будто какой-то человѣкъ въ сѣрой шинели и въ фуражкѣ съ козырькомъ заходилъ за ней. Давидъ, повидимому, пересталъ о ней думать; такъ по крайней мѣрѣ ему казалось. Мимо ея сакли проходилъ онъ мрачный и гордый, заломя набекрень свою черную баранью шапку, одну руку держа за пазухой, а другую заложа за спину. Давидъ пересталъ уже сомнѣваться: въ его глазахъ, для него, Магдана была уже навсегда потерянной женщиной. Разъ, какъ-то случайно, увидалъ онъ ее въ нижнемъ окошкѣ какого-то двухъэтажнаго дома. Это было въ майскій полдень. Давидъ шелъ изъ конторы поздравить своего начальника съ новорожденнымъ сыномъ и на улицѣ остановился послушать шарманщика. Подъ звуки шарманки, дѣвочка лѣтъ семи, маленькая жидовка, въ коротенькомъ платьицѣ, пѣла въ носъ: «ты не повѣришь, ты не повѣришь...» Чья-то рука выбросила изъ окошка двугривенный. Давидъ оглянулся — и остолбенѣлъ... Тѣнь Магданы отошла отъ окна и скрылась.

Ярко-пунцовая бархатная катиба была на плечахъ ея; въ ушахъ сверкали дорогія серьги; головной уборъ ея былъ вышитъ блестками.

Давидъ замѣтилъ домъ и поздно вечеромъ раза три прошелъ подъ незнакомыми окнами. Окна были закрыты спущенными сторами. За сторами былъ свѣтъ; въ одномъ окнѣ, изъ-за края сторы, видна была зажженная стѣнная лампа. Домъ былъ съ подъѣздомъ и кры-

лечкомъ на улицу. Изъ сѣней вышелъ какой-то низенькій старичекъ, въ сюртукѣ, но безъ картуза, раскрылъ табакерку и, поглядывая вверхъ, сталъ съ обѣихъ сторонъ табакомъ набивать носъ свой. Давидъ принялъ его за слугу.

— Сдѣлайте милость, позвольте узнать,—спросилъ онъ старичка:—не здѣсь ли живетъ Магдана?

Человѣкъ чихнулъ и скомканнымъ платкомъ осторожно поводилъ себѣ по носу.

— Что? А! Какая Магдана! Что тебѣ тутъ надоть? А? заговорилъ онъ проворно и опять чихнулъ.

Давидъ махнулъ рукой и пошелъ, самъ не зная куда, вдоль по широкой улицѣ...

* *
*

Проходите толпою трусливо блуждающей!
Тощій умъ тощій плодъ принесетъ;
Роскошь праздныхъ затѣй—пустоцвѣтъ, взоръ ласкающій,
Безъ плода на вѣтру опадетъ.
Бѣдной правдѣ не вѣрите вы—да и кстати ли,
Если сытая ложь тѣшитъ васъ!
И безмолвствуемъ мы, не затѣмъ, что утратили
Нашей честности скудный запасъ,
Не затѣмъ, что спѣшимъ подъ покровъ лицемѣрія,
Или манны съ небесъ молча ждемъ,
А затѣмъ, что кругомъ все полно недовѣрія
И довольства грошовымъ умомъ.
Проходите! отъ васъ ничего не останется—
Ни рѣшенныхъ задачъ, ни побѣдъ,
И потомство съ любовью на васъ не оглянется,
Затеряетъ въ потемкахъ вашъ слѣдъ—
Пожелаетъ простора для мысли и генія,
И тогда—о, тогда, можетъ быть,
Все проснется съ зарей обновленія,
Чтобъ не даромъ бороться и жить...

1884 года.

У ХРАМА.

Душный день догоралъ,
Дальній звонъ меня звалъ,
И какъ въ рай, въ Божій храмъ
Запросилась душа.
И спѣша, и дыша
Тяжело, по пескамъ,
По лѣсистымъ буграмъ
Шелъ я, блѣденъ и хилъ,
Точно крестъ волочилъ,
И дошелъ до воротъ,
Гдѣ тѣснился народъ.

Жаждалъ видѣть я рядъ
Посребренныхъ лампадъ,
Запрестольныхъ свѣчей
Седмь горящихъ огней;
Созерцать въ золотыхъ
Ризахъ лики святыхъ,
Пѣвчимъ хорамъ внимать,
И блаженно вздыхать,
Въ тепломъ дымѣ кадилъ
Чуя Господа силъ.

Но я, хилъ и убогъ,
Въ храмъ пробраться не могъ:
Суетливой толпой,
Тѣснотой, толкотней,
Я—безжалостно смятъ,
Я—отброшенъ назадъ,
И, какъ нищій-старикъ,
У рѣшотки поникъ.

Тамъ всенощная шла;
Я жь досады и зла
Въ сердцѣ сѣмя таилъ:
Я молиться забылъ,
И сгорая стыдомъ,
Озирался кругомъ.
Вдругъ, я поднялъ глаза...
....Навернулась слеза.

Крестъ на храмѣ сіялъ,
Онъ одинъ затмевалъ
Сотни нашихъ свѣчей,
Весь въ багрянцѣ лучей
Онъ сіялъ отъ зари...
Что твои алтари!
Тамъ стрижи вверхъ и внизъ
Чуть мелькая вились,
И забывчиво-тихъ—
Я заслушался ихъ.

Какъ надъ быліемъ лѣсъ,
Надъ землей, надо мной,
Надъ церковной главой
Вѣковѣчныхъ небесъ
Разстилалася высь.

«Маловѣрный, молись!»
Какъ журчанье волны
Пронеслось съ вышины.
И ужь я сознавалъ,
Что я въ храмѣ стоялъ,—
Въ храмѣ, полномъ огней,
Перелетныхъ лучей,
И невидимыхъ крылъ,
И невѣдомыхъ силъ.

1886 года.

ОГЛАВЛЕНІЕ III ТОМА.

	Стр.
Келіотъ	1
Мими.	123
Собаки	255
Лѣсныя чары	311
«Вложи свой мечъ»	345
Делибаштала	351
Квартира въ татарскомъ кварталѣ	369
Тифлисскія сакли.	410
«Проходите толпою»	487
У храма	488

Stanford University Libraries
3 6105 006 079 748